

М. ГЯРОШЕВСКИЙ

ПСИХОЛОГИЯ
В XX СТОЛЕТИИ

Я77 Ярошевский М. Г.
Психология в XX столетии. Теоретические проблемы развития психологической науки. Изд. 2-е, доп. М., Политиздат, 1974.

447 с.

Психология занимает ныне одно из ведущих мест в системе наук о человеке. Познать человека — такова задача этой науки. Второе, расширенное издание книги содержит критический анализ основных направлений зарубежной психологии: бихевиоризма, гештальтизма, фрейдизма, экзистенциальной психологии и др. В монографии реализуется научно-исследовательский подход применительно к конкретной области знания — психологии. Показывая роль марксистской философии в прогрессе психологической мысли, доктор психологических наук, профессор М. Г. Ярошевский характеризует особенности развития психологии в период научно-технической революции, ее вклад и изучение психических процессов и путей управления ими.

Я 10508—074 БЗ—48—12—72
079(02)—74

15

© ПОЛИТИЗДАТ, 1974 г.

В кругу наук, от которых зависит направление облика современного мира, психология становится все более прочной и ответственной. Современный психолог работает в клинике и на производстве, в школе и на космодроме, в военной лаборатории и органах управления. В нем нуждаются всюду, где речь идет о научной организации человеческой деятельности, об эффективном использовании интеллектуальных и эмоциональных ресурсов личности.

Научно-техническая революция придала психологическому исследованию особое значение. Напомним, что в середине прошлого столетия, когда под психологией понималось учение об особой бестелесной сущности — душе, ее свойствах и явлениях, Маркс выдвинул принципиально новый взгляд на сознание, его детерминацию и природу. «...История промышленности, — писал он, — и возникшее предметное бытие промышленности являются раскрытой книгой человеческих сущностных сил, чувственно представленной перед нами человеческой психологией...»¹ Поэтому «такая психология, для которой эта книга... закрыта, не может стать действительно содержательной и реальной наукой»².

В нашу эпоху психологии приходится не только вчитаться в эту «раскрытую книгу» человеческих сущностных сил. Она становится одним из ее «соавторов».

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956, стр. 504.

² Там же, стр. 595.

Сам технический прогресс оказывается в известном отношении обусловленным уровнем психологических знаний.

Чем сложнее становятся машины и информационные системы, тем больше приходится учитывать психологические возможности включенного в них человека. Теперь для их проектирования требуется не только техническая, но и психологическая информация, информация о свойствах личности — ее способности адекватно оценивать ситуацию, своевременно принимать решение, выдерживать эмоциональные нагрузки и т. д.

Оптимизация деятельности на всех уровнях общественного производства и потребления оказывается невозможной без данных, установленных и проверенных психологическим анализом, экспериментом и моделированием. Психология становится, таким образом, непосредственной участницей научно-технической революции, фактором развития промышленности. Благодаря своему воздействию на производственную деятельность людей психологические исследования начинают играть роль творческого агента и в историческом развитии самой человеческой психики (поскольку она обусловлена этой деятельностью).

В период научно-технической революции наука, т. е. духовная деятельность, сама, по марксову определению, приобретает характер «непосредственной производительной силы». Такой силой среди других направлений исследования становится также психология.

Обширный спектр запросов обращает к этой науке социальная практика. Здесь и проблемы межличностных отношений, общения личности с коллективом, изменения индивидуального поведения под непосредственным воздействием других людей. Здесь и проблемы интенсификации умственной деятельности в условиях «информационного взрыва», когда, говоря словами Джона Бернала, становится легче самому сделать открытие, чем узнать, что кто-то его уже совершил. Быстрое «старение» знаний, их «моральный износ» (сходный с «моральным старением» машин) требует по-новому подойти к решению задач психологии обучения и профессиональной подготовки. Все более острыми становятся также запросы со стороны медицины, нуждающейся в методах диагностики и восстановления перво-психических функций, в психологических средствах воздействия на пациента, нервная система которого не

справляется с нагрузкой, неведомой прежним эпохам. Нет такого аспекта человеческой жизни, который не был бы захвачен стремительным ходом научно-технического прогресса.

Этот прогресс выражает общую закономерность исторического развития. Но в условиях антагонистического классового общества он деформирует человеческую личность, опустошает ее сознание, порождает патологические изменения в ее душевном строе, тогда как при социализме «научное устройство жизни общества впервые открыло возможности научного устройства также и внутренней жизни человека»¹.

Психология развивается не в идейном вакууме, а в мире, пронизанном борьбой социально-политических и идеологических сил. Отсюда и коренные различия в ее методологической и социальной направленности в странах с различным общественным строем.

В нашей стране психологическая наука видит и разрабатывает свои проблемы в широкой исторической перспективе строительства коммунистического общества. Непосредственно участвуя в решении задач, связанных с созданием материально-технической базы этого общества, с дальнейшим совершенствованием социальных отношений и формированием нового человека, советские психологи опираются в своих исследованиях на марксистско-ленинское учение о сознании. Это и определяет идейные позиции нашей психологической науки.

Советской психологии чужды притязания на объяснение всех систем отношений человека с действительностью. Напротив, в капиталистических странах доминируют течения, стремящиеся утвердить за собой монопольное право на глобальное объяснение человеческой деятельности. Психологические схемы выдаются за инструмент преобразования общества, а социальные закономерности подменяются психологическими. Классовый смысл такой подмены очевиден. Он выражен идеей о том, что изменять и обновлять нужно не строй общественной жизни, а реакции личности, ее комплексы и влечения. Из этой идеи исходят бихевиоризм, гештальтизм и другие ведущие направления психологической мысли капиталистического Запада.

¹ А. Леонтьев. Насущные задачи психологической науки. «Коммунист», 1968, № 2, стр. 69.

Первый лидер американского бихевиоризма Джон Уотсон утверждал: «Бихевиоризм полагает стать лабораторией общества». Факты и закономерности, установленные при изучении поведения животных в экспериментальных ящиках и лабиринтах, интерпретировались как научное основание планов управления людьми в социальных ситуациях. Этот замысел вдохновил нынешнего лидера американского бихевиоризма Б. Скиннера на проектирование «поведенческой технологии», с помощью которой может быть создано «хорошее общество». По Скиннеру, чтобы научить людей «хорошей жизни», следует применить те приемы постепенного подкрепления желательных реакций и устранения нежелательных, эффективность которых доказана лабораторными опытами по выработке навыков у крыс и голубей. Свою концепцию он открыто противопоставляет марксистскому учению о передаче средств производства в общественную собственность как предпосылке создания общества будущего.

Такая же социально-политическая тенденция свойственна неофрейдизму, экзистенциальной психологии, американским исследованиям межличностных отношений.

Неофрейдист Э. Фромм в трактате «Здоровое общество» полагает, что преодолеть «болезнь XX века» — ощущение «человеком западного мира» бессмысленности своего существования среди потока материальных благ — можно только путем обновленного психоанализа, с помощью которого пациент, сосредоточившись на скрытых силах души, освободится из-под гнета патологических механизмов. В кабинете психотерапевта, а не в классовых битвах произойдет, согласно этой программе, «излечение» обреченного социального «организма», каковым является капиталистическое общество.

Экспериментальное изучение в США психологии «малых групп» не ограничивается выводами, касающимися динамики отношений внутри этих групп, роли лидера, психологической совместимости, конфликтных ситуаций и т. д. Модели «групповой динамики» распространяются на макросоциальные отношения, на жизнь общества в целом, где, однако, конфликты и столкновения, барьеры и связи имеют совершенно иную — классово-экономическую природу.

Реально возрастающая способность психологии воздействовать в определенных пределах на формирование пове-

дения, управлять им, предсказывать его возможные продолжения абсолютизируется и связывается с претензией на превращение ее в рычаг управления общественными процессами.

Утопически и реакционные по своей идеологической направленности проекты бихевиористов, гештальтистов, неофрейдистов обнажают коренной порок любых попыток возложить на психологию миссию преобразования того уровня человеческой деятельности, который определяется не психологическими, а социальными законами.

На этом стоит ложный взгляд не только на человеческую природу, но и на функцию науки. Активно вторгаясь в жизнь, изменяя ее формы, наука отнюдь не является стоящей над обществом силой. Напротив, будучи его порождением, она отражает его нужды и тенденции развития.

Это не означает, что у науки нет собственных закономерностей. Ленинская теория отражения рассматривает познание как сложный и противоречивый процесс добытия истины — объективной истины, которая, в меру своей адекватности реальному миру, не зависит ни от человека, ни от человечества.

Славянов относится и к психологическому познанию. Оно также имеет своим объектом реальность, своеобразие которой в том, что она укоренена в различных системах биологических и социальных отношений. Психическая регуляция поведения неотделима от физиологической. Поэтому каждый крупный успех в исследовании мозга, нервной системы, органов чувств стимулирует продвижение психологической мысли к новым рубежам.

Столь же органична и связь психического с социальным.

Мы уже отметили ложность свойственного зарубежным исследователям стремления «поглотить» социальное, подменить его связью и динамикой индивидуальных актов или межличностных отношений. Из этого, однако, вовсе не следует, что акты, о которых идет речь, не имеют у человека своей структуры в детерминации, отличной от детерминации макросоциального плана.

Марксисты исходят из принципа общественно-исторической обусловленности сознания. Но развитие психики и ее структура по представляются им в виде простой проекции производственных отношений или их идеологиче-

ской надстройки, как утверждают критики марксистской концепции человека.

Одним из таких критиков был, например, Фрейд, по мнению которого Маркс якобы «не обратил внимания» на роль культурных и психологических факторов. Подоплекой рассуждений о том, что для марксизма психологический фактор будто бы не имеет существенного значения и представляет лишь тень, избыточный продукт экономической истории, служит отрицание самой возможности научно-психологических исследований, опирающихся на принципы марксизма. Но весь опыт развития психологии в нашей стране говорит о плодотворности этих принципов, о том, что лишь на их основе может быть разработана научная теория сознания.

Марксизму чуждо вигилистическое отношение к психологическому фактору и, соответственно, к позитивному знанию о нем, накопленному научной мыслью человечества.

Развиваясь с древнейших времен в недрах естествознания и философии, психология стала самостоятельной дисциплиной лишь несколько десятилетий назад. Она отстояла свое «место под солнцем», широко используя достижения биологических и социальных наук, но вместе с тем преодолевая барьеры редукционизма и эпифеноменализма. Редукционизм полагает, будто психическое не имеет самостоятельного причинного значения и потому может быть сведено (отсюда и термин «редукционизм», от латинского «reductio» — сведение) к явлениям другого порядка — молекулярным процессам в мозгу, рефлексам и т. д. — либо же к «коллективным представлениям» и социальным стереотипам. Эта точка зрения означает трактовку психики и как эпифеномена, т. е. феномена, реальная ценность которого ничтожна. Поскольку серьезное причинное знание о физических и физиологических процессах укрепилось гораздо раньше, чем о психических, стремление к физиологической редукции казалось вполне созвучным естественнонаучным идеалам.

Но как раз строго научная ориентация, эксперимент, наблюдение побудили признать за психическими явлениями самостоятельную ценность. Объективный анализ говорил не только о неотделимости психического процесса от нервного, но и об их различии, требующем для своего объяснения новых, нефизиологических понятий и схем.

Сходная ситуация складывалась также на уровне связей психологии с социальными науками. И здесь единственно плодотворными были отношения содружества, а не диктата и подчинения.

Своеобразие природы психического обуславливает особое место науки о нем в общей системе современных знаний о человеке и мире.

В разработанной Б. М. Кедровым нелинейной классификации наук¹ психология локализуется внутри треугольника, углами которого служат естественные, общественные и философские науки. Если выделить технические науки в самостоятельный комплекс дисциплин, то можно говорить о четырехугольнике. Развитие взаимосвязей психологии со множеством наук, представляющих различные «углы» этого четырехугольника, обусловило бурную дифференциацию знаний о поведении и личности — знаний, которые в силу своей «междисциплинарности» являются интегральными. Ведь такие направления в современной науке, как психофизиология, психосоциология, психокибернетика, говорят столько же о дифференциации знаний, сколько об их интеграции.

В 1966 г. на Международном психологическом конгрессе в Москве швейцарский психолог Пиаже выступил с лекцией о месте психологии в системе наук. Его главная мысль состояла в том, что будущее психологии зависит от ее связей с математикой, физикой, биологией, социологией, лингвистикой, политической экономией, логикой — огромным созвездием наук, образующим мир современного знания. Психология, согласно Пиаже, находится в центре этого мира. «...Я хотел выразить чувство некоторой гордости по поводу того, что психология занимает ключевую позицию в системе наук»².

Казалось бы, идея о ключевой позиции психологии созвучна классификационной схеме Кедрова. Однако между двумя схемами имелось важное различие, о котором Пиаже сказал в той же лекции: «Несколько лет назад, во время одной дружеской беседы в Академии наук в Москве, Кедров сделал глубокое замечание, над которым я очень много размышлял: «У вас есть тенденция психологизиро-

¹ См. Б. М. Кедров. Классификация наук, т. II. М., 1965.

² «XVIII Международный психологический конгресс». М., 1969, стр. 152.

вать эпистемологию, тогда как мы склонны, наоборот, эпистемологизировать психологию»¹.

Центральную позицию психологии Пиаже объяснял тем, что все науки предполагают построение определенных познавательных (прежде всего логико-математических) структур. И так как исследованное происхождение интеллекта, где бы он ни проявлялся — в математике или в политике, занимается психология, то именно она ставилась в представлении Пиаже осью «галактики» наук. Именно в этом смысле, по словам Кедрова, Пиаже «психологизировал эпистемологию». Однако правильно понять место психологических исследований можно, лишь двигаясь в противоположном направлении — от гносеологии к психологии, взяв за исходный пункт не индивида, стоящего один на один с реальностью, а саму реальность, преобразуемую общественно-исторической практикой и отражаемую благодаря этому в познавательных формах и структурах.

В марксистско-ленинской теории познания теснейшим образом связаны между собой принцип отражения и принцип историзма.

Отражение означает воспроизведение объективного мира в форме субъективного образа. Оно носит активный характер, ибо является деятельностью, а не механическим запечатлением. Его моделью служит не воздействие лучей на фотопластинку, а трудовой акт.

Отражение по своей сути диалектично. Оно предполагает движение от менее адекватного воспроизведения объекта к более адекватному. Это движение совершается на почве реального развития общества, а не в сфере «чистого» мышления. Здесь марксистский подход противостоит идеалистическому историзму.

Таким образом, общая философская трактовка отношений между бытием и сознанием определяет воззрения на роль и место психологии среди других наук, на ее социальное назначение и тенденции развития. Когда психолог дает детям экспериментальные задания с целью пропикнуть в великую тайну рождения абстрактной мысли из чувственного опыта, он, созывая это или нет, руководствуется определенной философией человека, предполагающей решение вопроса о том, что принять за первичное:

поведение организма или историю общества, познавательные способности отдельного индивида или закономерности эволюции логико-математических, физических, биологических и других систем знания, укорененных в системах деятельности общественного субъекта. А с этим, в свою очередь, теснейшим образом связано научно-психологическое обоснование такой важнейшей области воздействия на человека, как воспитание и обучение. Работа в этой области приобретает различную направленность в зависимости от того, как трактуется формирование детского ума. Считается ли его рост подобным росту организма, где по законам созревания одна стадия сменяет другую, или определяющей признается организация деятельности ребенка по усвоению общественного опыта? Советская психология, не отрицая органических предпосылок умственного развития, отстаивает второе решение, из которого следует ряд важнейших выводов для практики.

Из «стратосферы» общих методологических рассуждений идут прямые нити к повседневному труду воспитателя детского сада и школьного учителя. Воспитатель и учитель ежедневно сталкиваются со множеством феноменов и процессов, объединяемых общим термином «психическое развитие». Постоянно им приходится выбирать и применять различные средства практического воздействия. Эффективность избранной ими тактики зависит от теоретических воззрений, характер разработок которых, в свою очередь, определяется исходной методологической точкой зрения на соотношение индивидуального и социального, органического и исторического и т. д.

Перед нами цепочка: практика зависит от конкретных научно-психологических представлений, а эти представления — от философских позиций. Каким бы специальным и далеким от философских контуров ни казалось психологическое исследование поведения голубей или эмоций невротика, реакций глаза или детских игр, этим исследованием незримо правит сложная методологическая система, неразрывно связанная со специфичкой эпохой, с ее запросами и конфликтами.

Мы специально остановились на этом вопросе, поскольку многим психологам в капиталистических странах свойственно нигилистическое отношение к философии, внушенное позитивизмом. Американский психолог Г. Олпорт рассказывает, что однажды он спросил у молодого

¹ «XVIII Международный психологический конгресс», стр. 154.

научного работника, изучавшего связь физиологических и психологических факторов при стрессе, какое отношение имеют его тезисы к психофизиологической проблеме. «Я никогда не слышал об этой проблеме», — последовал ответ. Навьюно полагать, что экспериментальные манипуляции и вычерчивание кривых избавляют от необходимости теоретически мыслить.

Советская психология последовательно руководствуется методологией диалектического материализма. Она исходит из ленинской теории отражения не только при объяснении процессов ощущения, памяти, мышления у испытуемых, выполняющих экспериментальное задание, но и при анализе и оценке самих научно-психологических идей, теорий, моделей.

Картина развития современной психологии крайне пестра и противоречива. Диапазон психологических исследований невероятно широк и простирается от двигательных реакций у инфузорий и крыс до эмоциональных состояний человека в аварийной ситуации и процессов мышления у Эйнштейна.

Современную психологию можно рассматривать под различными углами зрения. Можно «инвентаризовать» твердо установленные ею факты и положения, касающиеся различных психических процессов и свойств (ощущений, аффектов, темперамента и т. д.). Такой «инвентарный список» в определенном плане полезен, и известны попытки его составить.

Однако специфический интерес представляет и сам путь науки, путь поисков и открытий, противоречий и заблуждений, страшных просчетов и дерзких прорывов в непознанное.

Эта книга не учебник.

Ее автор стремился решить другого рода задачу — проследить «драму идей», разыгравшуюся в нашем столетии вокруг проблем психологии. Автор исходил из предположения, что исследование того, каким образом, под действием каких факторов добываются и преобразуются научные выводы и идеи, имеет существенное значение для понимания их смысла и ценности.

Каждый такой вывод не есть раз и навсегда сотворенная «вещь» или записанная на перфокарте «единица информации»; научный вывод — это непрерывно творимое живое воспроизведение действительности.

В научном мышлении не существует «чистых» фактов, перечень которых мог бы быть представлен в виде некоего списка, независимого от теоретических представлений. К «чистым» ли фактам относятся, например, такие явления, как двигательная реакция на условный сигнал, аффект как защитная реакция организма, эгоцентрическая речь ребенка, пробы и ошибки, которые мы делаем, обучаясь повому действию?

До всякой науки люди замечали, что при виде пищи «текут слюнки», что «у страха глаза велики», что ребенок, играя, разговаривает сам с собой, что новичок по сравнению с мастером делает множество лишних движений, что при сильном волнении учащается сердцебиение и т. д. С развитием научного знания об этих явлениях стали появляться связывающие друг друга различные их интерпретации, благодаря которым указанные феномены вошли в систему причинного и обобщающего объяснения, раскрывшего их внутренний смысл.

Научный факт и его интерпретация нераздельны. Мы можем отвергнуть одну интерпретацию, лишь опираясь на другую. Из этого не следует, что факты «кочуют» по теоретическим системам, сохраняя в неприкосновенности свой состав. При подобном позитивистском подходе задача воссоздания картины развития научного мышления свелась бы к тому, чтобы вычеркнуть все теоретические представления, поскольку они оказались заблуждением, и получить «чистый» эмпирический остаток как единственно имеющий ценность.

Но в силу отмеченной внутренней связи между эмпирическим и теоретическим такая операция невозможна. Тот, кто решился бы на нее, должен был бы сперва найти критерии отбора значимого от несущественного в неисчерпаемом море фактов. Теоретический характер этих критериев очевиден. В итоге искомый эмпирический остаток оказался бы ни чем иным, как совокупностью сведений, отобранных опять-таки исходя из заранее принятой теоретической схемы. Однако разве не отражает сама эта схема конкретные, переходящие обстоятельства в развитии познания? Разве со следующим его шагом она не будет заменена другой, более адекватной?

Прогресс науки не может рассматриваться как процесс аккумуляции позитивных фактов в соединении с автентичней ложных теорий. Он немислим вне эволюционного

и революционного преобразования интеллектуального аппарата науки, который и обеспечивает нарастающее по степени адекватности, но не прямолинейное отражение реальности.

Революционные сдвиги в психологическом познании произвели учения Декарта, Дарвина, Сеченова, Маркса. Однако рождение каждого нового великого учения, будучи обусловлено предшествующими научными исканиями, не обесмысливает их, а передает энергию их позитивного ядра по эстафете последующим поколениям. Это происходит не в вакууме «чистого» мышления, а в конкретном социально-историческом «поле» и определяется его силовыми линиями — экономическими, политическими, идеологическими.

Исходной точкой и регулятором умственного процесса является вопрос, с которым мы обращаемся к отражаемой реальности. Пока нет вопроса — нет работы мысли. Чтобы понять, что делает ученый, необходимо уяснить, над какими проблемами он бьется. В противном случае его труд будет читаться как раздел учебника, где приводятся решения неизвестных нам задач.

Приступая к этой книге, читателю следует иметь в виду, что вопросы, на которые она пытается дать ответ, несколько иные, чем вопросы, направляющие работу психолога в лаборатории, клинике или школе. Психолог выясняет, например, изменяется ли память человека с возрастом или в условиях длительной изоляции, почему школьник становится неуспевающим, влияет ли мнение группы на оценку событий отдельными ее членами и т. п.

Все эти вопросы вытекают из предварительных соображений (гипотез) по поводу психических процессов и их закономерного хода. Эти вопросы (заложенные в схеме эксперимента или наблюдения) адресованы к испытуемому, реакции которого составляют исходный эмпирический материал обобщений, представленных в научных публикациях и учебниках.

Что же касается вопросов этой книги, то они относятся не к испытуемым и их реакциям самим по себе, а к развитию интеллектуального аппарата, посредством которого добывается и строится научное знание об этих реакциях, к истории деятельности по познанию фактов, механизмов и законов психической жизни.

Ответы на подобные вопросы дают наблюдения и анализ особого рода — наблюдения за процессом развития научно-психологической мысли и анализ ее основных компонентов и форм. Эти формы (категории, принципы) не извне накладываются на содержание науки (факты и их обобщения), но организуют его изнутри соответственно природе психической реальности. Поэтому, выявляя эти формы (проникая в глубинные слои исследовательского поиска), мы не только не удаляемся от интересующей нас в первую очередь конкретной полноты психической жизни и сторону изучения «технологии» лабораторной или полевой работы психолога (отдельных процедур, операций, методических приемов), но, напротив, постигаем наиболее устойчивое и закономерное в самой психической реальности.

Обыденное сознание отражает эту реальность в виде житейских представлений, которые впитываются индивидом через разговорный язык и психологический фольклор, где наряду со следами народной мудрости оседают и различные предрассудки.

Эта реальность представлена также в художественном мышлении, создающем в высших своих проявлениях психологические типы потрясающей силы и достоверности. Наконец, психическая реальность представлена и в научном сознании.

Что же создает специфику научного познания сравнительно с художественным и житейским?

Мышление испытуемого, изучаемого психологом-экспериментатором, и мышление самого этого экспериментатора существенно различаются прежде всего потому, что в распоряжении последнего имеются особые средства — не только приборы, фиксирующие быстроту реакций, но и незримый аппарат категорий, понятий, прототипов. Назовем его категориальным аппаратом. Он складывается и усложняется с прогрессом научной психологии. От его разработанности зависит качество добываемой информации и, соответственно, возможность использовать эту информацию для управления психическими процессами.

Изучение надежности и результативности средств научно-психологического познания служит непременной предпосылкой теоретической работы, без которой немислимы существенные достижения в области практики.

«Совпадение мысли с объектом есть процесс...»¹ — отмечал В. И. Ленин. Этот процесс развертывается как в микромасштабах работы индивидуального ума, так и в макромасштабах исторического развития знания. Он развертывается в атмосфере столкновения социальных сил. Он получает равличную философскую проекцию, которая может придать его отдельным моментам и аспектам неадекватный, иллюзорный образ. Здесь, указывал Ленин, скрыты гносеологические корни идеалистических теорий.

Эти ленинские выводы дают путеводную нить для объяснения путей развития психологии и ее современного состояния.

Чтобы раскрыть структуру научного мышления, необходимо прежде всего определить ее главные, наиболее прочные узлы.

В философии такими инвариантами признаются категории — наиболее общие основные понятия, схватывающие в реальном мире, его предметах, явлениях, отношениях наиболее существенное и устойчивое. Ими оперирует каждый исследователь в конкретной области знания. Вместе с тем каждая отдельная наука имеет свои наиболее общие формы познания собственного предмета, свои специфические категории. Анализ развития системы таких психологических категорий, как образ, действие, мотив, общение, личность, — являющихся основными, внутренне связанными, но не сводимыми друг к другу формами отображения психической реальности — и составляет главное содержание этой книги.

Наука означает познание причин и законов. Но так же как от эмпирического знания о вещах («наивной физики») к физике научной протянулся долгий путь, еще более долгий и извилистый было движение к научной психологии. Она укреплялась в борьбе с мифологией и анимизмом — предостережением о том, что движущей силой и конечной причиной явлений служит скрытая в них сила (душа).

Сперва душа была устранена из физического мира, затем — из живой природы. В психологии же она оставалась дольше всего. Никто уже не объяснял свойств магнита или биение сердца вмешательством души, а поступки человека, его память или внимание, принятие решения или ход мыслей все еще относились за счет загадочной сущности, живущего в мозгу бесплотного «маленького человечка»

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 29, стр. 178.

(души, сознания), деятельность которого все объясняет, сама не нуждаясь в объяснении¹.

В конце прошлого века мифологические представления были подорваны развитием научной психологии. О крупных сдвигах, происшедших в трактовке душевных явлений под влиянием естествознания, писал В. И. Ленин, противопоставляя «психолога-метафизика», для которого исходным служат теории о душе, научному психологу.

Развитие научной психологии — это история борьбы за детерминизм. Разработка категорий нераздельно связана с утверждением в психологии объяснительных принципов научного познания, таких, как причинность, системность и др. Завоевания каждой эпохи — предпосылка нового прорыва в непознанное. За этим стояла огромная работа — тысячи опытов, наблюдений, измерений в физиологических лабораториях, детских комнатах и нервных клиниках. Итогом же работы явилось формирование категориальной «сетки» психологического знания как знания объективного, причинного, систематизированного, доступного эмпирическому контролю.

Именно это — возникновение и развитие категорий, запечатлевших особенности психической регуляции поведения, — обусловило превращение психологии в самостоятельную науку. Ее рост стимулировали социальные запросы, связанные, в частности, с отбором и подготовкой кадров для промышленности, с рационализацией и организацией труда с целью эффективного использования «человеческого фактора» и др.

Сложное взаимодействие социально-экономических, философско-идеологических и логико-научных факторов и определило ход развития психологического знания.

Мы уже предупредили, что объектом анализа в этой книге служат не психологические процессы и свойства как таковые, а деятельность по их исследованию.

Конечно, деятельность и ее продукт нераздельны, ибо весь смысл первой — в производстве второго. Но не различать их было бы так же ошибочно, как противопоставлять.

¹ Несостоятельность мифологизации сознания, когда «исходят из сознания, как если бы оно было живым видом...» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 25). Впервые показал марксизм, который противопоставил мифам учение о том, что реальная жизнь действительных индивидов определяет их сознание и что поэтому сознание должно рассматриваться «только как из сознания» (там же).

Различение непременно ведет к противопоставлению, если под деятельностью понимать лишь ее «операционную» часть, т. е. методы добывания или построения продукта (нового знания). В этом случае игнорируется предметная предопределенность метода, т. е. его подчиненность исследуемому предмету.

Но если деятельность в ее истинном составе и строении не сводить к манипуляциям (внешним и внутренним) с объектом, то очевидно, что предметное содержание деятельности должно быть каким-то образом представлено в ней самой.

Оно представлено, конечно, в сознании субъекта этой деятельности (в нашем случае — ученого), ищущего ответ на конкретный вопрос, решение которого пока неизвестно. Но и сам этот вопрос, и возможные варианты его решения возникают не по «наитию», поскольку ученый — это не замкнутая в себе «монада», из глубин которой вырываются «вспышки гения». Ученый живет в системе социальных отношений и вне ее творить бессилён. Что же касается «наития», то в самоотчетах ученых иногда, действительно, встречаются указания на то, что новая идея внезапно озарила их сознание. И это не самообман, а фиксация некоторых реальных особенностей творческого процесса. Даже те, кто придает «озарению» роль главного звена в этом процессе, сходятся на том, что оно подготавливается огромной предварительной работой мысли, преимущественно подсознательной. Попытки абсолютизации роли подсознательного в данном случае выступают как симптом незнания действительных механизмов творческого процесса.

Скрытый и прямой полемикой, доказательствами и опровержениями, критикой и интеллектуальными конфликтами пронизан повседневный исследовательский труд. Лишь на страницах школьного учебника в мире науки царит всеобщее согласие. Но очевидно, что споры были бы пустыми, доказательства и опровержения не имели силы, а критика не могла двигать мысль, если бы не действовали некоторые молчаливо принятые научным сообществом принципы, притом принципы, касающиеся не только правил полемики, доказательства, обоснования, но и ее предмета.

При всех расхождениях между исследователями их объединяют некоторые инварианты интеллектуального аппарата науки.

С точки зрения идеалистической философии эти инварианты трактуются либо как изначальные свойства или формы ума, либо как результат соглашения между учеными относительно «правил игры», подобно тому как договариваются между собой участники спортивных состязаний. И в одном и в другом случае отрицается отражательная природа мышления. С точки зрения теории отражения в указанных инвариантах представлено нечто свойственное самой реальности, какой она существует независимо ни от разума индивида, ни от «социального интеллекта». Они обусловлены закономерным ходом развития познания, его объективной, предметно-исторической логикой. Отдельные ученые могут и не осознавать связь своих поисков и творческого беспокойства с этой логикой. Однако в конечном счете они следуют ей — прямо или косвенно — подобно тому как жизнедеятельность организма подчиняется определенным физиологическим законам безотносительно к знанию о них.

У каждого ученого есть собственная программа деятельности, ибо наука — это непрерывный поиск нового знания, и каждый ее работник претендует на неповторимость своего вклада. Запрет на повторение пройденного и тем более на плагиат — одно из непререкаемых положений кодекса науки.

Рассчитывая на уникальность своего результата, исследователь может его добыть лишь потому, что в его программе присутствует устойчивое, относительно инвариантное содержание, сконцентрированное благодаря усилиям всего научного сообщества. Осознает отдельный исследователь или нет, но эффект его занятий, пусть связанных с самым частным, сугубо специальным вопросом, зависит от качества той категориально-теоретической схемы, которая «работает» в его голове и управляет его исследовательскими действиями.

Схема же эта не продукт индивидуального произвола. Перефразируя Герцена, можно сказать, что за ней плещется океан всемирно-исторического развития науки.

Где бы ни работал психолог и какие бы объекты он изучал, во всех случаях он является психологом (а не физиологом, социологом, зоологом, кибернетиком) лишь постольку, поскольку, решая свои проблемы, оперирует исторически сложившимися принципами и категориями этой науки.

Принципы и категории, о которых идет речь, создают остов каждой конкретной исследовательской программы. Их стабильность определяется тем, что они выдержали испытание на прочность в горниле исследовательской практики многих поколений ученых, соответствуя наиболее значимому в самой реальности.

Именно поэтому, «препарируя» научную деятельность психолога и обнаруживая в ее составе инвариантные структуры, мы раскрываем одновременно и организующие начала этой деятельности (ее внутренние регуляторы, являющиеся формами по отношению ко множеству частных задач и решений), и существенные фрагменты общей картины психической реальности, сложившиеся в итоге попыток коллективного «научного разума» проникнуть в тайлы душевной жизни.

Итак, через анализ инвариантного состава деятельности по исследованию психической реальности мы реконструируем в наиболее резких контурах образ ее самой, каким он выступает на данном уровне познания человеческой природы.

Общий облик психологии в XX в., как уже говорилось, лишен единства. И не удивительно, что ученым, работающим на различных участках этой науки, зачастую трудно понять, занимаются ли они одной и той же наукой. Ускорение процесса исследований отражается в стремительном росте публикаций. Вряд ли сейчас найдется человек, способный перечислить все журналы, представляющие интерес для психолога: по данным американской психологической ассоциации, число этих журналов перешло за тысячу. Поток фактов, стекающихся из различных отраслей, преломляются сквозь призмы теорий, противоборство которых усиливает впечатление расщепленности и анархии. Невозможно сориентироваться в этом круговороте, не выделяя из множества фактов и теоретических конструктов магистральные линии развития научно-психологического познания, его главные вехи. Нужен определенный принцип отбора.

Наше восприятие по необходимости избирательно. Применительно к теоретическому восприятию это так же верно, как и к чувственному. Нельзя упорядочить многообразие, не построив предварительной схемы, не решив, какую информацию и по каким рядам распределять.

Для решения нашей задачи подобная схема должна быть извлечена из деятельности, из общественно-исторической практики науки.

Главная тема книги, таким образом, определяется как анализ форм психологического познания, логики их развития, логики разработки в конкретных общественно-исторических условиях основных проблем, объяснительных принципов и категорий психологии. Назовем его категориальным анализом.

Предпринимая опыт исследования борьбы идей, которая разыгралась в нынешнем столетии вокруг коренных проблем психологии, автор руководствовался предположением, что категориальный подход даст возможность высветить глубинные слои закономерного движения научной мысли, которое иначе трудно различимо сквозь необозримое многообразие гипотез, моделей, научных мифов и теоретических конструктов.

Категориальный аппарат психологии (становление которого и занимало автора главным образом) и есть тот, выращиваемый за счет усилий поколений исследователей психической реальности, «магический кристалл», благодаря которому эта реальность становится все более зримой для научного видения и все более доступной для научно-практического освоения.

Исторически сложилось так, что различные «узлы» категориального аппарата психологии сделались — каждый — центрами работы различных направлений и школ: категория действия — функционализма и бихевиоризма, категория образа — структурализма и гештальтпсихологии, категория мотивации — психоанализа и т. д. В силу сложившихся социально-идеологических и классово-политических обстоятельств школы не смогли адекватно реализовать вопросы логики развития науки. Ложность их методологии, их теоретическая ограниченность и — как следствие — их поражение вызвали потребность в принципиально новых решениях.

Стремясь реализовать категориальный подход, автор книги во втором ее издании несколько расширил круг анализируемых психологических категорий, включив категорию психосоциального отношения (в контексте теории ролевого поведения) и категорию личности (в контексте экзистенциальной психологии).

О ФОРМАХ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

Научное познание устремлено к объектам реального мира. Оно воспроизводит их в своих фактах, гипотезах, теориях, моделях, развертывая научно осмысленную картину действительности и ее отдельных фрагментов.

Чем точнее знание о реальности (в нашем случае — реальности психической жизни), тем успешнее ориентировка в ней, надежнее практические рекомендации психолога. Обоснована ли теория, точна ли формула, достоверен ли факт — эти и подобные им вопросы постоянно решает человеческий ум, сталкиваясь с результатами научного труда. Конечно, построение теории, выведение формулы, установление и проверка факта — все это операции, производимые людьми науки в непрерывном общении между собой (как прямо, так и опосредованном текстами). Но особенности деятельности и отношений этих людей, так же как и особенности реального мира, раскрываемые в ходе их исследовательской работы и благодаря ей, представляют два различных плана развития системы науки. Речь идет о «предметном» и «деятельностном» планах. Общество интересуется прежде всего «предметный» план, т. е. выводимые сведения о действительности самой по себе, о связях и отношениях реальных вещей¹. Погружаясь в предмет,

¹ В нашу эпоху «деятельностный» план также начинает влиять на общество, что обусловлено определенными социально-историческими причинами. Интерес к механизмам и факторам производства научного знания (и его отдельным продуктам — людям науки) обостряется в силу того, что в обществе возникает специальная потребность в повышении эффективности научных исследова-

научная мысль воспроизводит присущие ему свойства и отношения ценой «забвения» собственных свойств, механизмов и структур. Она прикована к «предметному полю».

Используем аналогию.

Пространственные отношения и величины существуют независимо от функций рецепторов, позволяющих их осознать. Но для их восприятия нужно произвести тысячекратно повторяющиеся операции. За образом воспринимаемого пространства стоит работа глаза и руки. Однако из анализа пространственных отношений, объема и величины внешних предметов нельзя извлечь данных о том, как устроен и работает глаз. Равным образом в научных выводах закреплена информация об изучаемых объектах, а не о той сложной, полной противоречий, дискуссий, революционных преобразований жизни научного сообщества, которая позволила добыть эту информацию.

Потребность ориентировки в окружающем мире стимулировала выработку пространственных схем задолго до того, как накопились первые сведения о физиологических механизмах их восприятия. Равным образом предметно-научное знание о природе и месте человека в ней, о психических функциях и свойствах личности сложилось задолго до первых представлений о самой науке как особом способе деятельности. Поэтому и средства изучения «предметного» поля науки неизмеримо богаче, разветвленнее, чем «деятельностного».

Различие закономерностей, которым подчинены а) психические процессы и свойства (т. е. «предметное» поле) и б) их научное познание («деятельностное» поле),

допавший. Именно такова ситуация, созданная научно-технической революцией. Важное государственное значение приобретает множество проблем, связанных с организацией и планированием исследований и разработок. Поскольку все эти проблемы захватывают «деятельностное» поле науки, оно становится объектом специального теоретико-экспериментального изучения. Зарождается наука о самой науке (науковедение); главная задача этой новой комплексной области знания состоит в том, чтобы раскрыть закономерности развития науки как особой социально-исторической формы деятельности. Общее науковедение стимулирует исследование «деятельностного» поля отдельных конкретных наук, в том числе и психологии. От науковедческого анализа психологии следует отличать одно из науковедческих направлений — психологию науки, изучающую психологические факторы исследовательского труда — как индивидуального, так и коллективного — и особенности личности ученого.

подразумевают, что для описания каждого из аспектов требуется свой язык.

Психическая жизнь имеет длительную предысторию в животном мире, служащую биологической предпосылкой зарождения человеческой психики, которая, в свою очередь, претерпевает сложнейшие трансформации в родовом (филогенетическом) и индивидуальном (онтогенетическом) развитии. Эти трансформации постигаются в понятиях психологической науки, оснащенной эмпирическими, количественными и структурными методами.

В свою очередь, психологические понятия и методы возникают и развиваются не хаотически и беспричинно, но в силу действия определенных законов и факторов. Чтобы выявить эти факторы, проследить их влияние на производство научных знаний о человеке, нужны иные средства, чем те, которые используются при изучении механизмов поведения и структуры личности.

Язык, на котором говорится о событиях, подготовивших научное открытие, изменение взгляда на знакомые факты, подтверждение или опровержение какой-либо концепции и т. д. — это не тот язык, который принят для характеристики предметного содержания психологии (например, зависимости темперамента от свойств нервной системы, различий между психикой ребенка и взрослого, мужчины и женщины, человека и животных и т. д.). Трудности дифференцировки этих двух языков связаны с тем, что зарождение и эволюция научных проблем, вдейная борьба вокруг них (т. е. события, о которых мы говорим на действительностно-историческом языке) непременно носят предметный характер.

Когда мы пытаемся выяснить, например, в чем смысл расхождений в понимании природы психического между Демокритом и Платоном, Локком и Лейбницем, Сеченовым и Вундтом, Торндайком и Келером, Выготским и Пиаже, то во всех случаях мы исходим из того, что их мысль была направлена на определенное предметное содержание. Нельзя объяснить, почему они расходились, не зная, по поводу чего они расходились¹, какую именно реальность изучали участники этой борьбы.

¹ Поэтому характеристика развития науки, с одной стороны, не может ограничиться изложением сменяющих друг друга взглядов на предметное содержание, с другой — не может быть добыта без такого изложения.

Вундт, например, направил экспериментальную работу на вычленение исходных «элементов сознания», понимаемых им как нечто непосредственно испытываемое. Сеченов же относил к предметному содержанию психологии не «элементы сознания», а «элементы мысли», под которыми понимались сочетания сенсомоторных актов (рефлексов), т. е. форма двигательной активности организма.

Торндайк описывал поведение как слепой отбор реакций, случайно оказавшихся удачными, тогда как Келер демонстрировал зависимость адаптивного поведения от понимания организмом смысловой структуры ситуации. Пиаже изучал эгоцентрическую (не адресованную другим людям) речь ребенка, видя в ней отражение «мечты и логики сновидения», а Выготский экспериментально доказал, что эта речь способна выполнять функцию организации действия ребенка соответственно «логике действительности».

Каждый из исследователей превращал определенный пласт явлений в предмет научного знания, включающего как описание фактов, так и их объяснение. И одно и другое (и эмпирическое описание, и его теоретическое объяснение), отражая реальность психической жизни, представляют «предметное поле». Именно к нему относятся также, например, явления, как двигательная активность глаза, обтекающего контуры предметов, сопоставляющего их между собой и тем самым производящего операцию сравнения (Сеченов), беспорядочные движения кошек и низших обезьян в экспериментальном (проблемном) ящике, из которого животным удается выбраться только после множества неудачных попыток (Торндайк), осмысленные, целенаправленные реакции высших обезьян, способных выполнять сложные экспериментальные задания (например, построить пирамиду, чтобы достать высоко висящую приманку) (Келер), устные рассуждения детей наедине с собой (Пиаже), увеличение у ребенка количества таких рассуждений, когда он испытывает трудности в своей деятельности (Выготский). Эти феномены нельзя рассматривать как «фотографирование» посредством аппарата науки отдельных эпизодов неисчерпаемого многообразия психической реальности. Они явились своего рода моделями, на которых объяснялись механизмы человеческого сознания и поведения — регуляции, мотивации, научения и др.

Предметный характер носят также (и, стало быть, выражаются в терминах «предметного» языка) теории,

интерпретирующие указанные феномены (сеченовская рефлекторная теория психического, торндайковская теория «проб, ошибок и случайного успеха», келеровская теория «инсайта», пиажистская теория детского эгоцентризма, преодолеваемого в процессе социализации сознания, культурно-историческая теория Выготского). Эти теории выступают как отчужденные от деятельности, приведшей к их построению, поскольку они призваны объяснить не эту деятельность, а независимую от нее связь явлений, реальное, фактическое положение вещей.

Научный вывод, факт, гипотеза соотносятся с объективными ситуациями, существующими на собственных основаниях, независимо от познавательных усилий человека, его интеллектуальной экипировки, способов его деятельности — теоретической и экспериментальной. Между тем объективные и достоверные результаты достигаются субъектами, деятельность которых полна пристрастий и субъективных предпочтений. Так, эксперимент, в котором справедливо видят могучее орудие постижения природы вещей, может строиться исходя из гипотез, имеющих преходящую ценность. Известно, например, что внедрение эксперимента в психологию сыграло решающую роль в ее преобразовании по образу точных наук. Между тем и одна из гипотез, вдохновлявших создателей экспериментальной психологии — Вебера, Фехнера, Вундта, не выдержала испытания временем¹. Из взаимодействия ненадежных компонентов рождаются надежные результаты типа закона Вебера — Фехнера — первого настоящего психологического закона, который получил математическое выражение и показал, что таблица логарифмов приложима к феноменам душевной жизни.

Чтобы пользоваться плодами, нет необходимости знать, по каким законам развивается дерево. Однако современ-

¹ Фехнер исходил из того, что материальное и духовное представляют «темную» и «светлую» стороны мироздания (включая космос), между которыми должно быть строгое математическое соотношение. Вебер считал, что различная чувствительность различных участков кожной поверхности объясняется ее разделенностью на «круги», каждый из которых снабжен одним нервным окончанием. Вундт выдвигал целую вереницу оказавшихся ложными гипотез — начиная от предположения о «первичных элементах» сознания и кончая учением об апперцепции как локально-разной в лобных долях особой психической силе, внутри управляющей как внутренним, так и внешним поведением.

ная ситуация обостряет интерес к «дереву», в нашем случае — к законам развития психологической мысли, к теории формирования представлений о психике. Как и любая другая теория, она дает обобщенное знание о реальности, в качестве которой выступают не психические явления сами по себе («предметное поле»), а психические явления, представленные в исторически изменчивых формах деятельности по их исследованию («деятельностное» поле). «Предметное поле» существует само по себе, независимо от наших средств его исследования. Закономерная зависимость ощущений от интенсивности раздражителей, выработки новых реакций — от их подкрепления, ошибок памяти — от мотивации личности, умственных процессов — от структуры реального поведения и т. д. не придумана Вебером, Павловым, Выготским и другими учеными. Вместе с тем «предметное поле», будучи независимым от «деятельностного поля» науки, только проецируясь на нем, становится для нас видимым, подобно тому как пространственные конфигурации и отношения предметов, существующие независимо от глаза, раскрываются перед нами только благодаря его устройству и работе.

Эта аналогия верна лишь отчасти. Ведь адекватность нашего сенсорного образа пространства реальному пространству — это результат усилий сперва миллионов поколений предчеловеческих существ (дорого расплачивавшихся за каждую ошибку), а затем — исторического человека, деятельность которого придала образу пространства его адекватность и детализованность благодаря общественной практике.

Разрабатываемый же наукой умственный образ реальности (и особенно реальности психической) несравненно менее стабилен. За ним не стоят, как в случае сенсорных продуктов, длительный и могучий опыт, имеющий непосредственное отношение к биологическому существованию живых существ. Время жизни науки пока еще ничтожно мало сравнительно с человеческой историей, не говоря уже о биологической эволюции. Количество участников производства научных идей также пока еще ничтожно мало сравнительно с основным массивом человеческих умов.

Однако умственный образ при всем его несовершенстве, при всех трудностях преодоления иллюзорного в нем обладает огромным преимуществом сравнительно с сенсорным. В нем прозреваются за чувственным обликом вещей

их существенные, закономерные связи и зависимости. Эти «прозрения» относятся к «предметному полю», но еще раз подчеркнем, что они становятся возможны только благодаря процессам и структурам, представляющим «деятельностное поле».

Итак, поиск закономерностей развития психологического познания приводит к выводу, что речь должна идти о развитии форм деятельности по научному исследованию его объектов.

Прежде чем перейти к рассмотрению этих форм, отметим, что термин «деятельность» употребляется в различных идейно-философских контекстах. Поэтому с ним могут соединяться самые различные воззрения — от феноменологических и экзистенциалистских до бихевиористских и информационных «моделей человека». Особую осторожность следует проявлять в отношении термина «деятельность», вступая в область психологии. Здесь принято говорить и о деятельности как целостном процессе взаимодействия организма со средой, и об аналитико-синтетической деятельности мозга, и о деятельности памяти, и о деятельности «малой группы» (коллектива) и т. д.

В научной деятельности, поскольку она реализуется конкретными индивидами, различающимися по мотивации, творческому почерку, особенностям характера и др., конечно, имеется психологическая «ипостась». Но было бы заблуждением психологизировать научную деятельность, т. е. мыслить ее в «чисто» психологических категориях.

Общие формы психологического познания, направляющие конкретный исследовательский поиск и ведущие к открытию фактов и законов психологии, невыводимы из этих законов, ибо имеют иное основание. Деятельность исследователя-психолога и ее объект — психическая деятельность — не идентичны. В первой имеется психический компонент, но и он, учитывая природу научного труда, не может быть объяснен средствами одной только психологии.

В начале 30-х годов Карл Марчиссон организовал популярное издание «История психологии в автобиографиях». Среди авторов были представлены ученые, с именами которых связаны крупные достижения в разработке проблем мотивации (Торндайк, Толмен, Халл, Юнг и др.). Они, однако, не смогли удовлетворить пожелание Марчиссона и сообщить о методах и мотивах своего творчества. Их

знания относительно механизмов поведения не дали им никаких преимуществ по сравнению с теми, кто этими знаниями не обладал. «Вероятно, — писал, например, Э. Толмен, — на мои интересы и понятия оказала влияние структура моей личности, но какого рода здесь взаимосвязи — лежит за пределами моих способностей их обнаружить»¹.

Из личностных свойств Толмена невозможно вывести понятия, которыми он оперировал и которые регулировали его экспериментальную работу, поскольку эти понятия в действительности отражали не структуру его личности, а объективную потребность в разработке теории поведения в 20-х годах нашего века, когда дала первые трещины исходная схема американского бихевиоризма².

Марксизм, раскрыв предметно-историческую сущность деятельности и ее субъекта, утвердил принципиально новый подход к научному творчеству. Наука, с точки зрения марксизма, не автономная система, отрешенная от социальных потребностей и классовых бурь. Ее развитие теснейшим образом связано с общественно-исторической практикой, и особенно с отражающей запросы этой практики идеологической борьбой.

С позиций марксистского учения отчетливо выступают методологические изъяны доминирующих в капиталистических странах концепций, которые трактуют эволюцию психологических идей по типу спонтанной развертки интеллектуальных структур.

Остановимся на этом подробнее, поскольку в современный период, когда увеличилась потребность науки в самопознании, в прогнозировании собственного развития, предпринимаются попытки рассмотреть ее исторический опыт под новым углом зрения.

¹ C. Murcheson (ed.). History of Psychology in Autobiography, vol. 3. N. Y., 1952, p. 293.

² Подробнее об этом см. ниже. Из этого не следует, что личность Толмена, как таковая, не имела значения для событий, происходивших в ту эпоху на психологической сцене. Но личный вклад Толмена определялся не абстрактно взятыми психическими свойствами этого исследователя, а свойствами (мотивационными, интеллектуальными и др.), которые «завязались» и приобрели именно такой, а не другой смысл в системе его, Толмена (а не какого-либо другого психолога), взаимоотношений с научным социумом, решавшим конкретные предметно-логические задачи данного исторического периода.

Смысл этих попыток сводится к выявлению стабильных регуляторов психологического познания. Если прежний стиль изучения летописи науки отличался описательностью, то теперь заметно стремление понять общее и закономерное в «кинематографической» смене событий.

Такая устремленность к закономерному, к переходу от описания к объяснению, обусловлена социально-историческими обстоятельствами, в особенности — запросами научно-технической революции.

Первые пробы поиска общих форм или наиболее стабильных структурных характеристик движения психологических идей отражали представление о его полярности. Другими словами, если воспользоваться термином американского историка Роберта Уотсона, структура этого движения мыслилась как цепочка «диад» или «контрастирующих пар».

Предлагались различные списки «диад». Американский историк Мерфи, например, характеризует различие между общим обликом психологических исследований в 10-е и в 20-е годы нашего столетия по четырем контрастирующим парам — «структура — функция», «часть — целое», «качественное — количественное», «экспериментальное — генетико-статистическое», утверждая, что в 10-е годы доминировал первый член антитезы, в 20-е — второй¹. Проанализировав американские психологические журналы за 50 лет, Брунер и Олпорт обобщили свой материал в диадах: «рациональное — эмпирическое», «телеологическое — механическое», «качественное — количественное» и др., сделав вывод, что главная тенденция состоит в возрастающем удельном весе второго термина каждой пары².

¹ G. Murphy. Historical Introduction to modern Psychology. New York — London, 1932.

² J. S. Bruner and G. W. Allport. Fifty years of change in American Psychology. Psychological Bulletin, 1940, vol. 37. В дальнейшем Г. Олпорт предложил считать все психологические теории тяготеющими к одной из двух полярных концепций — либо лондонской (господствующей в англо-американской психологии), либо лейпцигской (характерной для континентальной Европы). «Лондонская точка зрения все еще доминирует в англо-американской психологии. Ее представителей можно найти в ассоциационизме всех видов, включая бихевиоризм, в позитивизме и операционализме, в математических моделях — короче говоря, в большей части того,

В других работах прогресс научного познания рассматривается как серия тез и антитез, ведущих к синтезу. Отмечается, что одни и те же проблемы вновь и вновь появляются на научной сцене, но каждый раз в модифицированной, более сложной форме. Кречфилд и Креч полагают, например, что общей закономерностью в данном случае является развитие по спирали. Они указывают в качестве примера на факторный анализ интеллекта, возвращающий нас к древнему, казалось бы, давно уже дискредитированному себя понятию о психических способностях, но на новой, более высокой ступени. Интроспекция, некогда отвергнутая бихевиоризмом, в современной психологии вернула себе права гражданства. В динамике представлений о локализации функций в головном мозгу также наблюдаются постоянные колебания между двумя крайностями — от признания специфических центров к их отрицанию. Фиксация «маятниковобразного» движения теоретической мысли, по мнению Кречфилда и Креча, может быть использована в прогностических целях: если в какой-то момент маятник приблизился к одному полюсу, можно ожидать, что вскоре он начнет перемещаться в противоположном направлении.

Оценивая все эти представления как умозрительные, американский психолог Коен решил использовать факторный анализ с целью выяснить основные «измерения» психологических теорий. Он обратился к 232 специалистам, читающим лекции в американских университетах,

что мы сегодня заботливо лелеем в наших лабораториях как «истинно научную психологию» (G. Allport. Becoming. New Haven, 1955, p. 8). Несколько позже, вновь обсуждая вопрос о «психологических антиномиях», Г. Олпорт разделил все теории на две группы: а) следующие принципу детерминизма (бихевиоризм, учение об условных рефлексах, кибернетика, ортодоксальный психоанализ и др.) и б) акцентирующие ориентацию личности по отношению к своему будущему (персонализм, экзистенциализм, феноменология, учение об уровне притязаний, самоактуализации и др.). Смыслизируя второй группе теорий, Олпорт полагает, что создающий теоретическую анархию антагонизм между двумя направлениями может быть преодолен, или по крайней мере смягчен, на основе «теории систем» и «системного эклектизма» (G. Allport. Fruits of Eclecticism. In: «Proceeding XVII International Congress of Psychology». Amsterdam, 1964, p. 34). В данном случае очевидны попытки использовать так называемую «общую теорию систем» с целью спастись от теоретического разброда, характерного для психологии в капиталистических странах.

с просьбой дать оценку 54 наиболее крупным психологам-теоретикам по 34 показателям (касающимся содержательной и методологической стороны воззрений этих теоретиков). В результате обработки данных было выявлено шесть факторов, которые Коен представил в виде следующих пар:

1. Субъективное против объективного.
2. Холизм против элементаризма.
3. Трансперсональное против персонального.
4. Качественное против количественного.
5. Динамическое против статистического.
6. Эндогенное против экзогенного¹.

Коен попытался также выяснить, какой из факторов в какое из десятилетий развития психологии как науки становился доминирующим. Составленная им таблица показала падение значимости шестого фактора (преобладание эндогенного над экзогенным). Выводы оказались довольно скудными, а главное, бесполезными для изучения истории психологического познания и общей картины идейной борьбы в психологии. Очевидно, невозможно приблизиться к этой задаче, игнорируя основные проблемы и позитивные результаты науки.

Попытка выработать методологическую схему, включающую эти проблемы и результаты, принадлежит историку физики Томасу Куру², предложившему исходить в историко-научном анализе из концепции парадигмы.

Парадигма — модель, принимаемая всеми исследователями в данный исторический период. Она управляет их мышлением, указывая, какие именно постулаты, методы и факты являются существенными, какие вопросы следует «задавать природе» и т. п. Когда нарастающий поток фактов, несовместимых с принятой парадигмой (фактов «аномалий»), достигает критической массы, в науке наступает кризис, а затем происходит научная революция: старая парадигма сменяется новой. Так, в астрономии коперниканская революция покоячила с птолемеевской моделью вселенной, в физике на смену аристотелевской парадигме пришла ньютоновская, в свою очередь вытесненная пара-

дигмой Эйнштейна — Бора. Такова ситуация в зрелых «парадигмальных» науках. Но иной она является, когда область знания еще не консолидировалась на основе общепринятой парадигмы, когда между исследователями нет согласия по поводу принципов и основных понятий («фундаментальной») своей науки. Такова психология, находящаяся, согласно Куру, на «пре—парадигмальной» стадии развития.

Не имея твердых начал, подобных атомной теории в физике или теории эволюции в биологии, психология тем не менее должна располагать некоторыми «темами», позволяющими определять, хотя бы приблизительно, ее собственную область, основную проблематику, ее установки, приемлемые для большинства исследователей в этой области.

Понятие о парадигме широко используется ныне в историко-научной литературе. Оно повлияло и на историко-психологическую работу.

Руководствуясь им, Д. Палермо выдвинул — вопреки Куру — положение о том, что психология — парадигмальная наука. Она выработала по крайней мере две парадигмы — интроспекционистскую (Вундта — Тиченора) и бихевиористскую. Переход же от интроспекционизма к бихевиоризму явился научной революцией.

В настоящее время бихевиористская парадигма находится в состоянии кризиса и, стало быть, на очереди ее замена другой¹.

Возражая против такой интерпретации, Л. Брискман в статье «Приложим ли куновский анализ к психологии?» отвечает на этот вопрос отрицательно: интроспекционизм не был «общепризнанным научным достижением», каковой, по Куру, является парадигма². Ведь он не служил общепринятой моделью, по образцу которой строились исследования в конце XIX — начале XX в. Не стал такой моделью и бихевиоризм, среди сторонников которого издавна обнаружались расхождения по самым фундаментальным вопросам, что немаломо среди ученых, сплоченных общей парадигмой.

¹ D. S. Palermo. Is a scientific Revolution Taking Place in Psychology? «Science Studies», 1971, N 1.

² L. B. Briskman. Is a Kuhnian Analysis applicable to Psychology? «Science Studies», 1972, N 2.

¹ R. W. Coan. Dimensions of Psychological Theories. «American Psychologists», 1968, N 10.

² T. S. Kuhn. Structure of scientific Revolutions, Chicago, 1962.

Р. Уотсон¹, приняв оценку Куном психологии как «пре-парадигмальной» науки, попытался все же найти эквивалент парадигмы в структуре и динамике психологического познания. Таким эквивалентом — согласно Р. Уотсону — является система «предписаний» (predictions), диктующих психологу выбор проблем, установку по отношению к ним и способ их исследования. «Предписания» действуют в течение длительного времени, ослабевая по силе и вновь приобретая влияние. Поэтому выявление их сочетаний и «веса» позволяет получить своего рода «сетку», которая формализованно описывает определенное психологическое учение или даже целую конкретную историческую ситуацию в развитии научно-психологических исследований в ее отличии от другой.

Уотсон трактует «предписание» по типу «установки» (attitude) — одного из основных понятий современной социальной психологии. Тем самым историко-психологическое исследование сближается с социально-психологическим. В этом — один из позитивных моментов концепции «предписаний», которая позволяет определить систему методологических установок ученого по отношению к исследуемому им предметному содержанию. Поскольку же «предписание», определяющее в данный исторический период, направляет мысль не только отдельного работника, но и научной среды в целом, оно выступает как структурный компонент всего социоинтеллектуального контекста, в котором действует ученый.

Подобно установке, «предписание» может быть как осознанным, так и неосознанным. Оно выполняет свою функцию объективно.

Изучение его объективной роли в построении знания позволяет выйти за пределы представлений ученого о самом себе к реальным регуляторам движения исследовательской мысли.

Вместе с тем трактовка Р. Уотсоном психологии как «предписывающей», а не «парадигмальной» науки страдает тем же общим недостатком, что и все другие рассмотренные выше концепции «контрастирующих пар». Все «предписания» сводятся Уотсоном к следующим 18 «диадмам», или «парам»:

¹ R. J. Watson. Psychology: a Prescriptive Science. «American Psychologist», 1967, vol. 22.

Сознательное — бессознательное
(упор либо на осознаваемых психических структурах или актах, либо на неосознаваемых).

Объективизм — субъективизм
(психологические данные рассматриваются либо как поведение индивида, либо как психическая (ментальная) структура или активность индивида).

Детерминизм — индетерминизм
(явления либо полностью объяснимы в терминах предшествующих событий, либо не объяснимы полностью в этих терминах).

Эмпиризм — рационализм
(главный, если не единственный, источник знания — либо опыт, либо разум).

Функционализм — структурализм
(психологическими категориями являются либо типы деятельности, либо различные содержания).

Индуктивизм — дедуктивизм
(исследования начинаются либо с фактов и наблюдений, либо с истины, принимаемых за установленные).

Механицизм — витализм
(деятельность живых существ либо полностью объяснима в физико-химических понятиях — либо необъяснима).

Методологический объективизм — методологический субъективизм
(использование методов, которые либо доступны для проверки со стороны другого компетентного наблюдателя, либо недоступны).

Молекуляризм — моляризм
(психологические данные лучше описывать либо в отношении малых единицах, либо в относительно больших).

Монизм — дуализм
(во вселенной имеется либо одна сущность, либо две — дух и материя).

Натурализм — супернатурализм
(для объяснения природы берется либо имманентное, либо трансцендентное начало).

Номотетизм — идеографизм
(упор либо на открытии всеобщих законов, либо на объяснении индивидуальных событий).

Периферизм — централизм
(упор на психических явлениях, которые происходят либо на периферии организма, либо внутри его).

Пуризм — утилитаризм
(поиск знания либо ради него самого, либо с целью использовать его в конкретных видах деятельности).

Квантитативизм — качественизм
(упор на знание, которое либо исчислимо и измеримо, либо различается по роду и сущности).

Радиопализм — иррационализм
(упор на данные, которые либо вытекают из указаний здравого смысла и разума, либо предполагают доминирование эмотивно-волевых факторов над интеллектуальными процессами).

Статика — развитие
(акцент либо на изучение срезов, либо на изменение во времени).

Статика — динамика
(упор либо на устойчивых во времени аспектах, либо на изменениях и на факторах, которые вызывают изменения)¹.

Детализация в работах Роберта Уотсона и его сотрудников списка «диад» по сравнению с другими авторами не спасает исходную концепцию от ее слабых сторон, обусловленных тем, что пары рассматриваются как внеисторические по содержанию и внеположные предметному развитию психологии.

Это развитие описывается по разрозненным и аморфным параметрам, отправляясь от которых невозможно понять его закономерный ход, его структурные преобразования и внутренние детерминанты. Что, например, могут дать для понимания действительной динамики психологического познания такие диады, как «часть — целое», «количество — качество», «механизм — телеология» и т. п.? Под «частью» может пониматься и рефлекс, и элемент бессубстратного сознания, под «целым» — и диффузное переживание субъекта, и системный характер поведения. Категория количества может относиться как к «статике и динамике представлений» (Герbart), так и к измерению времени реакции или единиц запоминаемого материала.

Любая из пар может быть полита только в конкретно-историческом контексте. Такие, например, «предписания», как «детерминизм» и «объективизм», «функционализм»

¹ R. I. Watson. Psychology: a Prescriptive Science. «American Psychologists», 1967, vol. 22.

и «структурализм», приобретали совершенно различный смысл в системе идей французских материалистов или Сеченова, Леба или современной кибернетики. Поэтому подобные диады ни сами по себе, ни в сочетаниях друг с другом не образуют «матрицу», которая позволяла бы упорядочить исторический материал соответственно особенностям его действительной динамики, его подлинной внутренней логики.

До тех пор, пока не будет разработан аппарат этой логики (требующей особого языка, отличного как от философского языка, так и от предметного языка самой науки), исследователь науки обречен на своеобразную рядоположность мышления. С одной стороны, он описывает фактические данные о развитии науки¹, с другой — лишенные предметно-исторического смысла формальные, инвариантные свойства («параметры») познания.

Попытки американских историков науки выявить в динамике психологического познания закономерное, инвариантное не привели к успеху из-за несоответствия их исходных методологических установок действительной природе этого познания. «Установки», «парадигмы», «диады» и другие рассмотренные нами описания общего строения науки не могут дать ее адекватный образ, поскольку игнорируют ее реальные движущие силы, социально-историческую сущность, отражательный характер понятий, категорий и форм науки.

¹ Эти сведения можно считать «фактическим» материалом исторического исследования лишь условно, поскольку факт возводится в степень научного факта в строгом смысле слова (а не только остается на уровне исходного материала для него) лишь после того, как становится ответом на предварительно заданный (теоретический) вопрос. Хорошо известно, что различия между житейскими наблюдениями (которые, в свою очередь, также регулируются определенными вопросами и понятиями, названными Л. С. Выготским житейскими) и научными состоят в том, что во втором случае регулирующим началом служит предварительная теоретическая схема, коррелирующая с системой проблем и понятий науки. Наблюдения детские игры, поведение оператора в состоянии стресса или утомления и т. д., психолог, в отличие от специалиста, ищет ответ на значимые вопросы, и только поэтому собираемая им информация относится к разряду научной. Точно так же «наблюдения» историческим процессом поднимаются над житейским уровнем по-иначе, как опираясь на предварительную теоретическую схему, без которой факты не могут приобрести статус научных.

Марксистский принцип имманентной включенности науки в социально-экономическую «ткань» исторического процесса не отрицает своеобразия научной деятельности как одной из подсистем в системе общественной жизни.

В качестве подсистемы наука характеризуется трехаспектностью — единством предметно-логического, социального¹ и личностно-психологического «измерений». По существу, ни одно из них не может быть понято изолированно от других. Лишь в аналитических целях мы расчленяем целостный «организм» науки, стремясь выяснить своеобразие компонентов, на взаимоотношениях которых состоит его жизнь. Наша главная задача — рассмотреть предметно-логические компоненты деятельности по исследованию человеческого поведения и человеческой личности, точнее, формы психологического познания и их развитие.

Мы уже отмечали важность этой задачи в современных условиях, когда резко возросшая социальная роль и ответственность науки, в том числе психологической, обострили внимание к механизмам исследовательской деятельности.

Мы коснулись также причин, по которым выдвинутые современными американскими психологами представления об этих формах и регуляторах («диадах», «установках», «предписаниях» и др.) не дают удовлетворительного решения вопроса.

Значит ли это, что единственной альтернативой рассмотренным нами попыткам вычленив наиболее общие установки и принципы научного познания является возвращение к традиционному способу реконструкции исторических событий, при котором вклад отдельного исследователя или целого периода исследовавший рассматривается

¹ Социальное здесь понимается как «научно-социальное», в смысле структуры и динамики жизни научного сообщества (социума) с присущими ему формами общения ученых (коммуникациями), их объединениями (например, научными школами) и т. п. Научно-социальное не следует смешивать с социальным в широком смысле слова. Если первое — лишь один из аспектов науки как подсистемы, то второе означает общую социально-историческую детерминацию всех аспектов развития этой подсистемы, стало быть, не только научно-социального (форм и процессов общения ученых, характера научных организаций и т. д.), но и — не в меньшей степени — предметно-логического и личностно-психологического.

только с точки зрения изменений, происходящих в «предметном поле» (например, Гельмгольд измерил скорость первого процесса, Павлов открыл условный рефлекс, в XVIII в. мышление трактовалось как ассоциативный, а в середине XX в. — как информационный процесс и т. д.).

Нет ли способа преодолеть противоложное «формального» подхода (выраженного в концепциях «диад», «предписаний» и др.) «содержательному», выраженному в традиционных историко-научных описаниях?

Вне «содержательного» подхода исторические схемы утрачивают рабочий смысл. Вне «формального» — невозможны обобщения, которые позволяют увидеть связующие нити исторических событий. Лишь отыскав в потоке исторических фактов некоторые константы («формальные» в смысле относительной независимости от непрерывно изменяющегося содержания знаний), можно реконструировать общую схему научного прогресса, способную как-то ориентировать современного психолога в понимании перспектив и возможностей своих исследовательских действий. Очевидно, что, чем более длительный, более полный содержанием период становится объектом анализа, тем явственней выступает устойчивое, типичное (закономерное) для процесса в целом, а не только для его преходящих фаз и ступеней.

Современные требования к историко-научному исследованию стимулируют дальнейший поиск инвариант психологического познания. Исходя из теории отражения, их следует трактовать как «концентраты» работы мысли по постижению наиболее стабильного и типичного в самой психической реальности, как содержательные формы, которые не извне накладываются на изменчивое множество фактов, но «сгущаются» существенное в них самих.

Диалектика познания такова, что эти формы представляют единство инвариантного и вариантного.

Инвариантное обуславливает их действительность для длительного исторического периода не только применительно к прошлому, но также в настоящем и будущем. Тем самым исторические занятия приобретают — взамен «аиткварного» — актуальный смысл, давая возможность психологу увидеть внутреннее родство своей мысли с мыслью прежних и грядущих эпох, и вместе с тем предохраняют его от соблазна сделать современные представления эталоном оценки всего, что было и что будет,

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что организация и регуляция психологического познания имеет иные основания, чем те, которые выделяются концепциями «предписаний», «контрастирующих пар» и др. Эти основания коренятся в том, что в практике научного исследования мысленно воспроизводит в форме исторически развивающихся категорий, принципов и проблем существовавшее и устойчивое в неисчерпаемом мире психологических фактов¹.

Мы уже отмечали, что это отражение реализуется под воздействием актуальных социальных запросов и методологических доминант данной эпохи.

Поэтому логика разработки научных проблем и категорий может быть экстрагирована только из реального процесса познания в его сложной обусловленности общественно-экономическими отношениями людей.

Подлинный историзм предполагает выявление диалектики эволюционного и революционного, инвариантного и вариабельного в развитии научного познания.

Каждое новое достижение строится на уроках предшествующих. Материалистическая мысль древней Греции выработала, например, гипотезу о том, что от вещей истекают тонкие атомарные оболочки, которые, пропигая в органы чувств, воспринимаются как образы внешних предметов. Это учение держалось вплоть до начала XIX в., когда оно пало в результате открытия И. Мюллером и Ч. Беллом специфичности реакции нервной ткани². Но при всей его исторической ограниченности оно запечатлело верную идею о независимом от организма объективном источнике ощущений, о материальном и причинном характере воздействия этого источника на органы чувств, о подобии между чувственным впечатлением и реальным предметом. И какие бы изменения в дальнейшем ни пре-

¹ Мы видим, таким образом, что «парадигма» Куна и других историков имеет своим аналогом категориальную «сетку». Однако понятие о категориальной «сетке» (в отличие от парадигмы) позволяет понять преемственность в развитии науки, тогда как, по Куна, при смене одной парадигмы другой происходит нечто подобное переключению восприятия с одного изображения на другое при «единозначных изображениях», т. е. структура предшествующей парадигмы не имеет никакого значения для структуры последующей.

² Это открытие стало эмбриологической предпосылкой «физиологического идеализма», о критике которого В. И. Ленинским см. выше.

терпевали научные представления о механизме чувственного познания, в их составе продолжает жить идея, сложившаяся у Демокрита около 25 веков тому назад.

Более 300 лет назад Декарт создал механическую модель рефлекса, на смену которой в прошлом веке пришла биологическая, впервые разработанная Сеченовым. Вскоре логика изучения перво-психических явлений потребовала ответить не только на вопрос о механизмах саморегуляции (побудивший перейти к биологической концепции рефлекса), но и на вопрос о механизмах научения, т. е. приобретения организмом нового бессомоторного и интеллектуального опыта. На передний план выступают процессы образования новых связей между внешними сигналами и двигательными ответами, а также факторы мотивации (подкрепления). На различной идейной основе решается эта задача, выдвигая логикой развития науки, в учении И. П. Павлова — с одной стороны, и американской психологии поведения — с другой. Дальнейший прогресс состоял в обогащении рефлекторного принципа понятиями, которые объясняли такие важнейшие особенности поведения, как его программируемость, планомерность и преднамеренность, регуляцию текущих реакций «моделью потребного будущего», иерархическую организацию различных уровней сенсорной и двигательной активности и т. д. Если держать в фокусе научного видения только те теоретические схемы, которыми оперирует современный исследователь, то в них на первый взгляд ничего не осталось ни от древнего Демокрита, ни от Декарта, ни от других типов. Однако это — на первый взгляд. Каждая психологическая категория, подобно другим развивающимся формам, содержит в свернутом, «снятом» виде достижения и учитывает просчеты прежних эпох. Она, естественно, и сегодня находится в движении, преобразуясь с каждым новым успехом позитивного знания в более адекватные своему объекту интеллектуальные структуры.

Итак, инвариантное ядро психологии (условно вазом его «категориальным») образуют:

- 1) категории,
- 2) принципы,
- 3) проблемы.

Будучи внутренне связаны между собой, категории образуют не простой конгломерат, а систему, «сетку» — категориальный строй. Вопрос о том, какие именно категории лежат в основе системы конкретной науки и как соотносятся ее различные компоненты, подлежит детальной сравнительно-исторической разработке.

Теоретический состав науки (т. е. гипотезы и теории, выдвигаемые отдельными исследователями и научными школами) выдвигается на категориальном строе, но не является его однозначной проекцией.

Различая два уровня в движении исследовательской мысли (условно обозначаемые как теоретический и категориальный), мы тем самым получаем возможность расчленивать притязания и программные установки различных школ и их реальный вклад в развитие категориального строя науки. Этот вклад сохраняет ценность безотносительно к теоретической рефлексии как сторонников, так и противников той программы, в русле которой он был добыт.

Категории — это инвариантное в научном мышлении, но вместе с тем и эволюционирующее. Особенность логики развития науки (в отличие от формальной или математической логики) в том, что здесь переход от одних выводов к другим совершается в процессе столкновения различных гипотез и представлений с данными опыта, эксперимента, наблюдения, а не путем движения понятий соответственно алгоритмам логической программы. В этом динамическом взаимодействии и происходит «вычерпывание» из объектов все новых и новых содержания, осмысливаемых посредством смешивающих друг друга научно-логических схем.

Однако научному развитию свойственна не только постепенность. В нем происходят революционные сдвиги. На поворотных пунктах истории научного познания особенно ясно обнажается его объективная зависимость от социально-идеологических стимуляторов. Революционный характер носил, например, переход от аристотелевской схемы душевных функций к декартовской. Менее всего он подошел на внутреннюю «мутацию» мысли. Его реальной исторической основой было развитие капиталистического производства, которое стимулировало научную революцию в естествознании и изменило положение видения в социуме.

Крупный революционный шаг на пути преобразования субъективной психологии в объективную принадлежат Н. М. Сеченову. За этим шагом стояли острейшие идеологические схватки в русском обществе, которые отражали противоборство классовых сил.

В середине прошлого века принципиально новый взгляд на человека и саму науку психологию утвердил марксизм. Победа пролетарской революции в нашей стране обусловила перестройку на основе марксистской философии всего когнитивного строя психологических исследований, преобразования в отдельных «блоках» категориального аппарата.

Революционные преобразования в науке совершаются не по типу «катастроф», в которых гибнут все прежние достижения. Раскрытая левинской теорией отражения диалектика абсолютного и относительного в познавательной деятельности дает руководящую нить для категориального анализа, позволяющего дифференцировать качественно различные уровни научного прогресса. Между эмпедокло-демокритовским взглядом на чувственные образы как эманацию материальных частиц, учением средневекового арабского естествоиспытателя Ибн-Хайсама, согласно которому ощущение возникает по законам движения светового луча (оптические эффекты света в глазу упорядочиваются благодаря способности суждения), ассоциативной трактовкой чувственного образа как продукта «психической химии», сеченовской концепцией бессознательных умозаключений — между всеми смешивавшимися друг друга научными представлениями и современными взглядами на механизмы переработки сенсорной информации есть не только существенные различия, но и глубокое родство. Оно прослеживается на категориальном уровне, где за внешней пестротой всевозможных теоретических построений выступают стадии разработки одной и той же категории. То, что на категориальном языке обозначается как образ¹, в различных психологических концепциях выступает под именами: «ощущения», «восприятия», «значения», «представления», «идея», «информа-

¹ Научная психология не имеет возможности строить свой собственный язык иначе, как используя термины из других смысловых контекстов, которые приобретают поэтому однозначно-психологическое содержание лишь в результате аккумуляции признаков, накапливаемых благодаря успехам конкретного исследования соб-

ция» и др. То, что в категориальном плане трактуется как «мотивация», охватывает феномены, которые выражаются через понятия «стремление», «влечение», «волевой импульс», «потребность», «инстинкт», «аффект» и др. С каждым из этих терминов соединяется как инвариантное (категориальное), так и вариативное содержание, что в равной мере относится и к конкретной психологической теории, гипотезе, методической установке, возникшей в определенную историческую эпоху. Чтобы расчленив инвариантное и вариативное, нужен, как уже отмечалось, специальный категориальный анализ, подразумевающий особые методы и язык, на который должно быть переведено содержание той или иной теории с целью выявить ее функцию в общей логике развития науки.

Категориальный подход, т. е. анализ развития познания с точки зрения становления его основных форм, позволяя определить своеобразие изучаемой области явлений, ее отличие от других, т. е. раскрыть развивающийся предмет психологии и пути его разработки.

Категории образуют остоу науки. Но не только они являются стабильными регуляторами и интегрирующими центрами ее «организма». Важную регуляторную роль играют также объяснительные принципы — детерминизма, развития, системности и др. Подход к этим принципам, так же как и к категориям, должен быть сугубо истори-

стически психологических закономерностей. Это же относится и к термину «образ».

Существует мнение, будто образ является не психологической, а философской категорией. Аналогичное мнение высказывается и в отношении категории личности, которая квалифицируется в качестве социально-исторической. Конечно, всякому термину присущ момент условности, конвенциональности. Однако признание за термином психологического (или любого иного статуса) должно базироваться не на умозрительных, а на реально-научных основаниях, вытекать из действительных успехов позитивного изучения психической реальности. Чем значительнее эти успехи, тем резче демаркационная линия между конкретно-научным (в частности, психологическим) и любым иным значением терминов. Термины «образ», «действие», «чувство», «личность» и др. возникли и употребляются и во внешнепсихологических контекстах. Научно-психологическими они стали с тех пор, как благодаря построению соответствующих конкретно-научных гипотез и концептуальных схем, разработке и применению соответствующих экспериментальных, наблюдательных, математических методов определенными сферами психической деятельности из объекта стали предметом научного знания.

Если категория отображает мир психических явлений в его неповторимом строении и развитии, то принципы являются организующими началами познания не только психологии, но и всех наук. Зависимость категориального строя от принципов состоит в том, что их развитие преобразовывает и обогащает категории. Так, с переходом от античного детерминизма к механистическому детерминизму нового времени возникли рефлексивная и ассоциативная теории, вызвавшие коренное изменение таких категорий, как образ и действие. Новые крупные сдвиги в структуре этих категорий (как и в объяснении поведения в целом) связаны с переходом от механистического детерминизма к биологическому, а от него — к социально-историческому.

Каждый такой переход постепенно подготавливается на различных участках естественнонаучного фронта, где в практике работы нарастает неудовлетворенность господствующими объяснительными схемами, которые все менее согласуются с реальным порядком вещей, перестают быть надежным аппаратом исследователя в решении конкретных научных проблем.

В иерархии проблем выделяются наиболее общие, которые мы вправе отнести — наряду с категориями и принципами — к инвариантному ядру науки.

К «вечным» психологическим проблемам относятся прежде всего такие, которые связаны со своеобразной природой психических процессов. Поскольку нет психики вне отражения, вне объективного внешнего источника, психики без познавательного отношения, необходимость объяснить это отношение порождает психогностическую проблему (от греч. «гнозис» — познание). Психическое неотделимо от нервных и гуморальных процессов. Вопрос о характере его связи с этими процессами ведет к психофизиологической проблеме, веками находящейся в центре дискуссий о соотношении души и тела, сознания и мозга. Каким образом внутрипсихические процессы (ощущения, мысли, чувства, волевые импульсы) стимулируют и регулируют работу «машинны» тела и каков влияние в свою очередь оказывает сама эта работа на их динамику? — еще одна проблема, проблема психо-практическая (от греч. «пракисис» — действие).

Зависимость психики от биологических, а на уровне человека — и от социальных закономерностей сталкивает

научную мысль еще с двумя глобальными проблемами — психобиологической (роль психики в биологической эволюции, генетическая детерминация психических свойств и др.) и психосоциальной (в свою очередь распадающейся на вопросы, связанные с поведением индивида в «малых группах», по отношению к ближайшей социальной среде и обществу в целом, а также на вопросы, касающиеся взаимодействия личности с исторически развивающимся миром культуры).

Историзм, конкретность и системность анализа являются предпосылками адекватного воспроизведения эволюции научных идей, ключом для понимания корней тех представлений, которыми оперирует современный психолог. Глобальная, висконтекстная оценка различных гипотез, концепций, методологических установок препятствует пониманию их действительного смысла и функции в научном прогрессе.

Рассмотрим, например, психофизическую проблему. Одно из ее решений известно под именем «психофизического параллелизма»¹. Идею психофизического параллелизма ассимилировали и развивали самые различные учения — как материалистические, так и идеалистические. В XVII в. она получила сугубо идеалистическую трактовку у Мальбранша и Лейбница. В XVIII в. на ней базировалась материалистическая ассоциативная психология Гартли и его последователей. В середине XIX в. параллелизм стал господствующей доктриной², хотя и трактовался по-разному у Фехнера и Вундта, Бена и Спенсера, Эббингауза и Маха. В XX в. он преобразуется в гештальт-теоретическую модель изоморфизма, в тезис персонализма о различных аспектах единой сущности (Штерн, Гольдштейн), в объект интерпретации с точки зрения общей теории систем (Берталанфи) и т. д.

Можно ли, исходя из этой краткой ретроспективы, говорить о психофизическом параллелизме «вообще», как

¹ Концепция, согласно которой психический и первый процессы нераздельны, но оказывают причинное воздействие друг на друга не могут.

² Важную роль в его утверждении сыграло открытие закона сохранения энергии, из которого следовало, что живое тело может черпать энергию только извне и что поэтому психическое, будучи неотделимо от телесных процессов, вместе с тем неспособно влиять на их ход. (В противном случае закон сохранения энергии не выполняется.)

о чем-то глобальном, вневременном, инвариантном по отношению к конкретным историческим ситуациям, к борьбе материализма и идеализма?

Очевидно, что категориальный анализ призван дать не только поэтапные «срезы» в развитии психологии, но и выявить соотношения идейных сил, определяющее своеобразие каждого конкретного этапа, трактовать этот этап как своего рода интеллектуальную формацию, требующую системного подхода.

Возвращаясь к «вечным» проблемам психологии, выделим в первую очередь две из них: проблему объективного (интерсубъективного) изучения внутреннего мира человека и проблему отображения в общих понятиях неповторимости человеческой личности.

Каким образом наука, для которой неизбежным является постулат объективной проверяемости любого факта, способна исследовать переживания субъекта, внутренние акты его сознания, о которых никто, кроме самого субъекта, сообщить не может? Существуют ли объективные средства изучения субъективного?

Американская психология поведения (бихевиоризм) попыталась разорвать сложный методологический узел одним ударом: все предстало объективным, внутренним плаце человеческой жизни были объявлены пережитком времени схоластики и алхимии. Однако своеобразная реальность психического от подобных заклинаний не исчезла. И это в конце концов стало очевидным для тех, кто воспитывался на бихевиористской программе превращения науки о сознании в точную дисциплину, выбросившую сознание за борт науки.

Прогресс в психологии выразился в разработке объективных методов изучения внутренних, неотчуждаемых от субъекта явлений. Но поскольку сам субъект не «вместилще» этих явлений, расщепляемых с помощью психологического анализа на элементы или акты, а интегральная система, которая отличается неповторимой «персональностью», то психология неизбежно сталкивается с вопросом о перспективах познания человеческой личности в ее реальной целостности. Неокантианская философия в свое время выдвинула версию о том, что естественнонаучным может быть только «помететическое» познание (от греч. «помос» — закон), которое рассматривает индивидуальное (например, молекулу или планету) как простую часть

общего класса явлений, подчиненных общему закону (например, законам термодинамики или движения планет). «Номотетическому» противопоставляется «идеографическое» познание, описывающее феномен в его уникальном своеобразии.

Предложивший эту дихотомию немецкий философ-идеалист В. Виндельбанд полагал, что психология является «номотетической», т. е. истинно научной (подобной естествознанию) дисциплиной до тех пор, пока она изучает «атомы» душевной жизни (ощущения) и их движение по всеобщим законам ассоциации. За пределами этой картины, там, где появляется необходимость понять человека как нечто целостное и неповторимое, возможно только его «идеографическое» постижение. Оно — по Виндельбанду — и не является научным, а должно рассматриваться как особый дар интуитивного проникновения в души людей, которым обладают не психологи, работающие в лабораториях, а поэты, государственные деятели — все те, кого считают большими психологами в житейском смысле слова.

Очевидно, что при таком подходе область психологии расщепляется, причем самое существенное для теории и практики человекопознания объявляется лежащим вне сферы науки.

Между тем, вопреки философским барьерам, позитивное исследование личностных свойств человека, стимулируемое запросами практики, продолжало успешно развиваться. И в настоящее время даже в капиталистических странах слышны требования вычеркнуть термины «номотетический» и «идеографический» из психологического словаря, поскольку они являют собой карикатуру на смысл и цели научного исследования.

Конкретно-психологическое исследование личности повсеместно наталкивается на социальные и биологические детерминанты ее развития. Тем самым проблема выходит за рамки психологии, требуя решений, касающихся обширной сферы взаимоотношений индивида с социальными и природными процессами. Из этого следует, во-первых, необходимость надежной философской ориентации, во-вторых, неизбежность перехода в междисциплинарный план.

Сегодня мы являемся свидетелями стремительного развития междисциплинарных исследований. В этом иногда

видят чуть ли не уникальный признак современного научного прогресса. Между тем пересечение различных областей знания в фокусе конкретной проблемы имело место уже во времена Декарта (XVII в.), Гартли (XVIII в.), Гельмгольца (XIX в.) и давало не менее поразительный эффект, чем в наши дни¹.

Причинное объяснение психики предполагает выявление ее обусловленности природными и общественно-историческими факторами, которые исследуются не самой психологией, а соответствующими «сестринскими» науками. От успехов этих наук она неизменно зависит, но и они в свою очередь зависят от психологии, поскольку изучаемые ею явления и закономерности — вопреки эпифеноменализму² — играют важную роль в биологических и социальных процессах.

Логика развития психологии реализуется в конкретных исторических ситуациях под постоянным — прямым или опосредованным — воздействием общественных запросов. Так, развитие капиталистического производства преобразовало весь строй представлений человека о самом себе, своем поведении и сознании.

В новой идейной атмосфере зародился и укрепился принцип машинообразности поведения, который стал основой учений о рефлексе и об ассоциациях, сложилось исходное для последующих теорий мотивации представление о том, что главной побудительной силой человека служит стремление к самосохранению и т. д. В конце XIX в. общественные запросы стимулировали быстрое распространение психологических лабораторий соответствующего интересу к тем методам или проблемам, которые

¹ На перекрестке физики Декарта с открытием Гарвеем кровообращения возникло учение о рефлексе, ставшее компасом для нервно-мышечной физиологии последующих столетий. На этой же основе формировались уже не чисто физиологические, а психологические учения об аффектах и ассоциациях, перешедшие в новую психологию. Под влиянием физики Ньютона и достижений педиатрии XVIII в. родилась ассоциативная доктрина английского врача Гартли, ставшая вершиной материалистической ассоциативной психологии. Сплетением идей физики, физиологии, психологии и логики были открыты Гельмгольца, имеющие непреходящее значение для физиологии органов чувств, медицины и психологии познавательных процессов. О вкладе Гельмгольца см. ниже.

² Эпифеноменализм — учение о том, что психические акты не имеют самостоятельной ценности и не являются причинным фактором поведения.

представлялись перспективными с точки зрения практики. В начале нашего века стремительно разрабатываются методы изучения индивидуальных различий (тестология), что было связано с потребностью производства в оптимизации отбора кадров. В дальнейшем тестологическое движение распространилось с диагностики умственных способностей на диагностику творческого потенциала личности, ее мотивации, организаторских способностей и т. д., что опять-таки определялось общими сдвигами в содержании физического и умственного труда, его нарастающей «компьютеризацией», с возрастанием роли коллективов («малых групп») во всех сферах общественного производства и проблемой эффективного руководства ими.

Развитие в современную эпоху психологии творчества, психологии организаторской деятельности, информационной психологии и других направлений также не может быть объяснено только из внутренней логики разработки психологических проблем. Конечно, успешное решение той или иной научной задачи невозможно, если для этого нет предпосылок в логике развития познания, в научно-категориальном аппарате. Но сам этот аппарат движим не имманентно заложенными в нем импульсами, а потребностями людей в решении их жизненных проблем.

Логика развития науки носит индивидуальный характер. Реализуется же она благодаря исследовательской деятельности конкретных исторических лиц, биография которых не совпадает с «биографией» науки.

Для обозначения того, как научно-логическое, инкорпорируясь в психику отдельных лиц, творится благодаря им, целесообразно выделить в регуляции поведения исследователя особую форму интеллектуально-мотивационной активности, которую условно обозначим термином «надсознательное». В нем нет ничего мистического, выходящего психически процессы за пределы материального субстрата, в котором они совершаются. Подсознательное — сознательное — надсознательное — все это различные уровни жизнедеятельности целостной творческой личности, изначально исторической по своей природе.

Подобно психической деятельности в целом, надсознательное носит активно-отражательный характер. Но отражение субъектом реальности на этом уровне своеобразно. Оно совершается посредством научно-категориального аппарата, который, обуславливая консолидацию индивидов

в научное сообщество, не служит предметом их сознательной рефлексии до тех пор, пока не возникает потребность объяснить природу науки и законы ее развития. Поэтому он и функционирует в отдельных умах в качестве надсознательного.

Глубоким заблуждением было бы мыслить надсознательное как внешнеположенное индивидуально-научному сознанию. Напротив, оно включено в его внутреннюю ткань и не отторжимо от нее.

Надсознательное движение научной мысли меньше всего напоминает общение индивида «один на один» с «госпожой» Логикой науки. В каждом новом решении, зреющем на уровне подсознательного, присутствует в качестве союзников и противников множество кошмарных исследователей. Поэтому лишь в абстракции категориальный аппарат науки, в нашем случае — психологии, выступает как нечто однозначное для всего научного сообщества. В действительности же он приобретает различную, обусловленную социально-идеологическими факторами проекцию в деятельности отдельных исследователей и их объединений («школ»). Требуется поэтому специальное изучение «категориальный профиль» как отдельного ученого; так и направления, им представляемого.

Переход Сеченова от взгляда на мысль как на «усеченный рефлекс» (2/3 рефлекса) к учению об «элементах мысли» как рефлекторных единицах интеллектуального поведения, переход Фрейда от объяснения неврозов соотношением процессов возбуждения и торможения в мозгу к концепции бессознательных влечений, переход Пиаже к учению о преобразовании внешних операций ребенка во внутренние умственные действия (принцип интериоризации) и т. д. — все эти этапы в идейном становлении отдельных исследователей отражали сдвиги общего научно-логического характера. Пересмотр Сеченовым своей первоначальной трактовки мышления был обусловлен потребностью охарактеризовать мысль не только отрицательно (как внешнее воздействие, дошедшее до мозга, но оставшееся без двигательного завершения), но и положительно — как акт, при котором соотносятся два «полных» рефлекса, в результате чего образуется особая сенсорная структура: аналог умозаключения. Этот новый подход был шагом вперед и отвечал стремлению познать роль действия в формировании предметной мысли.

Отказ Фрейда от своих первоначальных попыток объяснить психические конфликты балансом между возбуждением и торможением в центральной нервной системе имел в качестве негативного последствия расщепление связи физиологии с психологией. Однако в этом был и рациональный момент: ставился вопрос о роли психологического фактора (мотивации) в невротическом поведении.

Поворот Пиаже от изучения высказывавший ребенка (на анализе которых первоначально строилось пиажевское учение о стадильности умственного развития) к внешним и внутренним действиям детей также был симптомом прогресса, поскольку первоначально у Пиаже игнорировалось практическое общение ребенка с внешним миром, тогда как логика разработки проблем формирования детской психики подводила именно к этому важнейшему фактору становления мышления.

Ученый работает в вероятностном мире. Верная дорога к цели — говоря сочевновскими словами — открывается перед ним лишь после того, как цель достигнута.

Открытие не происходит по готовому алгоритму или правилам логического вывода. Оптимальный вариант не может быть заранее рассчитан. Между тем задача оптимизации исследовательского поиска в условиях нарастающей массовости производства научных идей приобретает все большую остроту.

О важности организации научного труда говорят повсеместно. При этом имеют в виду прежде всего «внешние» формы организации — принципы построения коллектива, характер коммуникаций внутри его, роль лидера и т. д.

При всей актуальности разработки этих вопросов мы хотим обратить внимание на их производный характер по отношению к «внутренней» организации научной деятельности. Ведь именно «внутренние» формы представляют собой регуляцию живых и неповторимых творческих процессов конкретных индивидов соответственно структурам и векторам развития науки.

Исследование категориального развития науки позволяет понять не только присущие ей предметно-логические, надиндивидуальные формы, но и своеобразие установок, движущих людьми науки. Оно дает также возможность выявить многие из факторов, которые ведут к консолидации научных школ и их распаду. Во введении уже гово-

рилось, что исторически различные «узлы» категориального аппарата разрабатывались отдельными школами, что привнесло гносеологической предпосылкой распада психологии на направления, каждое из которых отставало «своей» предмет.

Односторонность подхода, неспособность объяснить, исходя из одной категории, другие грани психического порождала острые контрверзы, создавала тупиковые ситуации, вели к распаду школ, появлению новых направлений и т. д.

Естественно, что в данном случае речь идет о «категориальном профиле» школы в отличие от общей структуры категориального аппарата науки, который, накапливая «ратифицированное» общественно-исторической практикой знание о психической реальности, не может распадаться.

Вместе с тем гносеологические факторы определяют «категориальный профиль» научной школы соответствующим особенностям конкретного социально-идеологического контекста, в котором она зарождается и живет. Здесь и прямые общественные запросы (сделавшие, например, проблемы приобретения нового опыта научения и проблемы управления поведением центральными для бихевиоризма), и философские влияния (феноменологии — на гештальтизм, прагматизма и неореализма — на бихевиоризм), и научно-социальные предпосылки, т. е. особенности взаимодействия отдельных психологов и их групп внутри научного сообщества.

История школ и их взаимоотношений, влияние дискуссий между сторонниками различных школ на последующую эволюцию научных идей — эти и многие другие аспекты коммуникативно-информационной деятельности ученых не могут быть расшифрованы без категориального ключа, без представления об основных формах, структурах, категориальных схемах закономерно развивающегося психологического познания.

КАК БЫЛА ОТКРЫТА
ПСИХИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Психология стала самостоятельной наукой в конце прошлого столетия. У ее колыбели стояли естествоиспытатели-физиологи.

Быстро развивавшаяся экспериментальная физиология натолкнулась на явления, которые хотя и производятся телесными органами, но уже относятся к разряду «душевных». Так, изучение органов чувств не могло ограничиться анализом ни их анатомической конструкции (микроскоп позволил к тому времени проникнуть в ее тончайшие детали), ни процессов возбуждения в нервных волокнах. Оно побуждало рассмотреть и производимые ими психические продукты — ощущения и восприятия.

Как работал физиолог? Используя свои привычные методы, он воздействовал на орган чувств (рецептор) различными механическими и электрическими раздражителями, испытывал его с помощью специально изобретенных приборов. Но эти манипуляции вызывали изменения не только в нервной системе, но и в сфере зрительных, кожных, слуховых ощущений, т. е. в психической сфере. Логика исследования вынуждала натуралиста шагнуть в новую область, где отказывали привычные понятия. Для него объяснять явления — значило выводить их из причинного взаимодействия материальных факторов, в данном случае из взаимодействия внешних раздражителей и устройства телесного органа. Однако опыт говорил о том, что применительно к органам чувств благополучно решить эту задачу невозможно. Повсюду обнаруживался «остаток», требовавший признать действие еще одного фак-

тора — психического. Поэтому здесь приходилось использовать представления совершенно иного порядка, чем принятые естествознанием. Пока речь шла о внешних раздражителях — оптических, термических, механических и других, — естествоиспытатель оставался в пределах точного, доступного опыту знания. Он не выходил за эти пределы и тогда, когда рассматривал, как устроен глаз, как распределены нервные волокна в органах слуха или осязания и т. п. Его экспериментальная задача состояла в том, чтобы в искусственных условиях воспроизвести обычный для нервной системы процесс, в котором, как представлялось, жесткой причинной цепью последовательно соединены три звена: физико-химическое воздействие (раздражение), изменение в нерве (возбуждение) и факт сознания (ощущение). Но как раз последнее и оказывалось главным камнем преткновения. О нем никто не мог сообщить, кроме самого испытуемого, способного дать отчет о своих ощущениях. Физиологу приходилось, таким образом, оперировать с явлениями, несходными с его обычными объектами. Их нельзя было рассмотреть под микроскопом и расчленив скальпелем. Идеалистическая философия утверждала, что они — незримые пришельцы внутреннего мира, для анализа которого у субъекта нет другого инструмента, кроме собственного сознания, кроме умения взглянуть внутрь души, так называемой интроспекции (от латинского *introspicere* — смотреть внутрь).

Откуда появилось это воззрение? Оно не могло бы держаться в течение многих веков, если бы в нем не преломились некоторые реальные особенности психической деятельности. Умение человека наблюдать за собственными психическими состояниями вовсе не является фикцией, человек способен сосредоточиться на своих мыслях, он может посредством речевых сигналов дать отчет о переживаниях, стремлениях и т. д. Иллюзия начинается там, где способность, о которой идет речь, принимается за определяющее начало душевной жизни и единственный источник информации о ней. На этой иллюзии строится интроспекционизм — учение, согласно которому реальность психических явлений определяется их непосредственной данностью сознанию субъекта: с непогрешимой достоверностью я различаю свои ощущения, свои чувства и мысли; ни о чем другом я не имею такого отчетливого знания, как о порождениях собственной души — незри-

мых для другого психических продуктах. Менялись мнения о свойствах этих продуктов, но удивительно прочным оставалось убеждение в том, что психическое — это непосредственно переживаемое. Многим казалось, что верела об уникальности психического, его несопоставимости с явлениями физического мира — самоочевидный факт и потому не нуждается в доказательствах.

Но история науки показывает, что зачастую принимаемое за факт является в действительности скрытой теорией. Психическое противопоставлялось физическому, материальному потому, что наделялось определенными свойствами, такими, как непосредственная данность сознанию, переживаемость субъектом, непрострацвенность, бестелесность, недоступность внешнему наблюдению, произвольность и др. Если со словом «психика» соединить перечисленные признаки, то пропасть между жизнью духовной и телесной представится не только огромной, но и непреодолимой в принципе. Два мира и соответственно две области знания окажутся совершенно разъятыми.

В XIX в. перед лицом поразительных успехов естествознания, учение о том, что душа представляет обособленную от тела сущность, находило все меньше поклонников. Теперь популярной становится идея о том, что психология должна изучать не душу, а «душевные явления», что их источником служит деятельность органов чувств, что порождения этих органов — ощущения суть первичные элементы сознания, которые соединяются не по произволу, но соответственно законам образования психической связи (ассоциации), напоминающим по своей неотвратимости законы механики или химии.

Хотя требование перейти от «метафизики души» к эмпирическому изучению психических явлений и сыграло свою роль в расчистке почвы для новых идей и методов, само по себе оно было недостаточно, чтобы освободить психологическую мысль из тенет интроспекционизма. Ведь общий взгляд на сознание как непосредственно данное субъекту оставался прежним.

На натуралистов, вступивших в прошлом веке в новую для них область психических явлений, большое влияние оказал позитивизм. Их привлекала его критика философских спекуляций, требование сосредоточиться на точных фактах, полученных научными методами. Казалось, что тем самым удастся покончить с учением о душе как само-

стоятельным началом. Нет оснований сомневаться в искренности их убеждений. Но всегда следует различать два уровня движения мысли ученого: уровень его представлений о своих задачах, об отношении к другим теориям, о факторах, которые препятствуют и способствуют успеху, — словом, уровень рефлексии о собственной деятельности и другой, «глубинный» уровень, где идет реальная «категориальная» работа. На уровне рефлексии позитивизм воспринимался многими натуралистами как доктрина, соответствующая духу естественных наук. Изучение процессов сознания в их «чистой культуре» считалось достаточным, чтобы превратить психологию из «придатка» философии в строгую науку. Между тем позитивизм, по сути дела, ничего не изменил в идеалистической трактовке психического, поэтому его призывы к опыту не могли разрушить препятствовавшую научному прогрессу интроспективную концепцию сознания.

Совершенно иные события развертывались на уровне реальной работы исследовательской мысли. Именно здесь совершался тот сдвиг в категориях, который привел к преобразованию психологии в самостоятельную дисциплину. Именно здесь рушилось позитивистское представление о том, что психология приобретает достоинство опытной науки, когда сделает своим объектом факты сознания как таковые. Поскольку не существует «чистой культуры» психических явлений, по их изучение всегда преломляется сквозь определенную категориальную «сетку», то очевидно, что накопление информации о конкретных психических проявлениях, к которому призывал позитивизм, могло принести успех лишь при радикальной реконструкции этой «сетки». Достижения новой психологии были обусловлены не тем, что она погрузилась в «чистую» эмпирию, а тем, что на место прежних теоретических конструкций были воздвигнуты новые, более совершенные, сопряженные с опытными и количественными методами.

Конечно, эта перестройка происходила в гуще лабораторной исследовательской работы, а не в сфере умозрения. Но ее смысл, вопреки позитивизму, отнюдь не сводился к изучению фактов сознания, взятых в их мимолетной незатронутости теоретическими воззрениями. «Самоочевидность» этих фактов подобна «самоочевидности» такого, например, феномена, как неподвижность Земли, фиксируемая нашим непосредственным опытом. Коренные пре-

образования в самом строе мышления, а не позитивистские декларации обусловили переход от донаучного знания к научному, от «геоцентрического» взгляда, представлявшего весь круг психических явлений вращающимся вокруг сознания субъекта, к «гелиоцентрическому», согласно которому субъективное, создаваемое определяется системой отношений между человеком и миром. Этот переход совершался в острых идейно-научных коллизиях. Он потребовал упорного труда множества исследователей, определивших в конечном счете особенности нашего современного знания о психической деятельности.

Предпринимая первые попытки добыть экспериментальные данные о человеческой душе, естествоиспытатели (физиологи) сталкивались здесь с ощущением, чувствованиями — «материей», в реальности которой сомневаться было невозможно и которая вместе с тем требовала для своего описания собственного психологического языка. Непонятной оставалась возможность перевода с этого языка на привычный язык естествознания. Действительно, как соотносятся субъективные, нейтрострастные, бестелесные порождения внутреннего мира с внешними явлениями, которые можно объективно наблюдать, варьировать путем применения экспериментальных приборов, измерять и т. д.?

Эта проблема — центральная для понимания путей развития психологии как науки. Прошли десятилетия напряженных исканий, острых дискуссий, возвышения и гибели множества теорий, прежде чем ученые поняли, что она является псевдопроблемой, что ее источником послужила ложная в самой своей основе совокупность представлений о природе психического. Что считалось предметом психологии при ее зарождении? Это — наука о непосредственном опыте, провозгласил, например, немецкий психолог Вундт. Иначе говоря, о том, что непосредственно испытывает субъект, о явлениях, которые он открывает в самом себе с помощью самонаблюдения (интроспекции). Действительно, ни одна наука не занимается такого рода феноменами. Чтобы познать, что они не могут быть также предметом и для психологии, понадобилось немало времени.

Нельзя судить о человеке, исходя лишь из его собственных представлений о самом себе. Нельзя также судить и о действительном процессе движения научных идей,

ограничиваясь представлениями о нем современников. В те времена очень многие полагали, что демаркационная линия между психологией и другими науками (прежде всего — физиологией) проведена достаточно резко. По одну сторону известные каждому из непосредственного опыта процессы сознания, по другую — мир вещей, которые познаются не прямо, а косвенно — путем переработки впечатлений. Казалось, что право психологии на самостоятельность достаточно обосновано уже самим по себе различием между сознанием и телесным миром.

Но если признаки, которыми наделялось сознание с позиций интроспективной концепции, превратили его в научную фикцию, то какова та реальность, из которой в действительности черпали свои идеи пионеры экспериментального изучения душевных явлений? Если представления, которые сложились в предшествующий период, не могли использоваться для организации научно-психологического исследования, то каковы новые категории, сумевшие выполнить эту функцию? Перед нами встает задача реконструкции исторической действительности, объяснения того, «как это было?». И сразу же обнаруживается трудность задачи. С одной стороны, развитие науки не сводится к накоплению отдельных фактов, с другой — оно не сводится и к смене теоретических воззрений (представляющих уровень рефлексии).

Оно, очевидно, не может быть понято и как простое объединение одного и другого. И факты и теории должны быть рассмотрены в едином контексте, включающем в качестве опорных пунктов категории, работающие в мышлении исследователя и выражающие объективную логику развития познания. Превращаясь в самостоятельную область знания, психология вырабатывала собственные категории, улавливающие реальность, переводимую никакой другой науке.

Научное познание коллективно по своей сути. И психология создавалась великим множеством умов и рук. Хотя среди участников этой коллективной работы имелись умы огромной обобщающей силы (достаточно назвать имена Дарвина, Гельмгольца, Сеченова), они не оставили единой системы, которая запечатлела бы хотя бы в самых общих чертах облик рождающейся новой науки, обретшей независимость от философии и физиологии. Объясняется это, в ряду прочих причин, и тем, что каждый

из исследователей ориентировался на «собственные» проблемы, открывая определенные «границы» и «сгибы» предмета психологии, но не ставя задачу (ибо для этого время еще не созрело) постичь его в целом. Лишь на известном расстоянии становятся приметны нарождавшиеся в ту эпоху главные линии развития научной мысли, переkreцивание которых и помогло раскрыть искомую психическую реальность.

Обозначим эти линии. Первая из них, представленная прежде всего именами немецких естествоиспытателей Гельмгольца, Вебера, Фехнера и голландца Дондерса (за которыми, в свою очередь, стоят многие другие имена), была связана с экспериментальным и математическим анализом ощущений и двигательных актов — чувствительности и реактивности организма. Достижения этого направления и стали основой для первой экспериментально-психологической программы, выдвинутой Вундтом. Второе направление выросло из эволюционного учения Дарвина, прозвевшего, как известно, глубокие преобразования в науках не только о жизни, но и о человеке. Лидером третьего направления был другой англичанин — Гальтон. Ему психология обязана введением и разработкой статистических методов в связи с исследованием проблемы индивидуальных различий между людьми. Четвертая линия уходит корнями в изучение психоневрозов и гипнозизма. Оно велось преимущественно французскими неврологами. И, наконец, пятое направление было создано «отцом русской физиологии» Сеченовым, который выдвинул новую систему психологических идей, опираясь на преобразованное им рефлекторное учение. Каждое из этих направлений внесло свою лепту в разработку тех категорий, которые, превратив психическую реальность в предмет научного познания, определяют и мышление современного исследователя.

Начнем с физиологии органов чувств, вскрывшей неотвратимую причинную зависимость субъективных феноменов (ощущений) от объективных условий их появления в сознании — условий физических и органических. Большая роль в исследовании этой зависимости принадлежала Герману Гельмгольцу (1821—1894).

В 1847 г. двадцатипятилетний военный хирург Гельмгольц зачитал в берлинском Физическом обществе статью, содержащую математическую формулировку закона со-

хранения энергии. Закон приводил в единую причинную связь все многообразные процессы не только в неорганической, но и в живой природе. По витализму — идеалистическому учению, согласно которому живым телом движут особые, неуловимые для физики внутренние силы, был нанесен удар. Доказывалось, что организм черпает энергию извне и в нем самом ничего нет, кроме превращений различных видов энергии. Значение закона, сформулированного Гельмгольцем (и почти одновременно с ним Майером и Джоулем), для физиологии было огромно. Если организм — энергетическая машина, то единственный путь его научного изучения — приложение физико-химических методов и понятий. Вдохновленный верой во всемогущество физико-математических методов, Гельмгольц применил их и к таким тонким органам, как органы зрения и слуха.

Исходя из того, что ощущение представляет собой результат причинного воздействия раздражителя на орган чувств, Гельмгольц был поставлен перед необходимостью объяснить, каким образом оно способно что-либо сообщить о свойствах вызвавшего его предмета.

Вслед за своим учителем Мюллером Гельмгольц считал каждый орган чувств своеобразной системой, заряженной «специфической энергией». Учение о «специфической энергии» утверждало, что ощущение цвета, звука и т. д. по своему содержанию не что иное, как разряд энергии, дремлющей в первом волокне, а не отражение объективных свойств предмета. Ложное теоретическое истолкование фактов привело в конечном счете к так называемому «физиологическому» идеализму, согласно которому чувственный мир — это мираж, созданный нашей перво-психической организацией.

Пытаясь связать ощущение с внешними условиями и не отказываясь от мысли, будто оно заложено в независимой от этих условий структуре органа, Гельмгольц выдвигает теорию символов, или знаков. Ощущение, согласно этой теории, указывает на предмет, подобно тому как имя — на человека. Имена не похожи на обозначаемые вещи, но позволяют их различать.

Вместе с тем в противовес теории нативизма, полагавшей, будто образ, например, пространства, пространственных отношений, в которых воспринимаются вещи, изначально «запрограммирован» в органе чувств, Гельмгольц,

апеллируя к фактам, доказывал его опытное происхождение. Эта концепция ввела в обиход две гипотезы, ставшие предметом длительных споров среди физиологов и философов: гипотезу о «бессознательном выводе» и гипотезу об «ощущениях иннервации». Первая возникла из необходимости объяснить такие, например, факты, как постоянство воспринимаемой величины предметов на различных расстояниях. Требовалось истолковать эти факты с позиций натуралиста, не обращаясь к гипотезе об уме или сознании, а исходя из действий телесного механизма как такового. Когда изменяется расстояние, на котором расположен предмет, меняется по законам оптики и его изображение на сетчатке. Но одновременно изменяется и напряжение глазных мышц, приспособляющих глаз к ясному видению. Зрительный аппарат каждый раз как бы делает вывод: «если..., то» — а это уже настоящая логическая операция. Производится же она не умом как беспричинной сущностью, а зрительной системой, притом в отличие от абстрактного человеческого мышления — бессознательно. Для ее производства необходим опыт, предполагающий мышечную двигательную активность. Поскольку же человек может управлять работой своих мышц произвольно, то должны, по Гельмгольцу, существовать особые ощущения, которые сопровождают усилие, создающее мышечное напряжение. Он назвал эти ощущения иннервационными.

Таким образом, точные эксперименты, а не умозрительные соображения вынудили его признать важность психического фактора и недостаточность чисто физиологических объяснений. Роль этого фактора выступила в положении о знаковой природе чувственных образов, в гипотезах об иннервационных ощущениях, регулирующих работу мышц, о бессознательных умозаключениях. В этих положениях по-своему отразились реальные особенности психической деятельности, требующей для своего описания собственных категорий, которых нет в составе физиологического мышления. Мы имеем в виду две категории — чувственного образа и действия. Если бы внешний объект был представлен в организме только в виде потока импульсов, возникших в результате его воздействия на нервную систему, то можно было бы ограничиться физиологической схемой. Если бы ответная реакция свелась к сокращению мышцы, то опять-таки выходить за пределы

физиологии не было бы необходимости. Однако опыт принудил Гельмгольца покинуть эти пределы и выработать представление о том, что внешний стимул порождает в нервной системе не только молекулярные процессы, но и чувственные знаки, позволяющие различать объекты окружающей среды. Опыт же привел и к выводу о том, что работой мышцы может управлять не только внешнее раздражение, но и внутреннее стремление. Оба вывода свидетельствовали, что физиолог столкнулся с новой действительностью, для познания которой нужны новые средства. Однако категория образа выступила у Гельмгольца не в виде отображения, а в виде знака, категория же действия — в виде спонтанного импульса, исходящего от субъекта, а не детерминированной условиями жизни активности. И то и другое говорило о том, что психическая реальность преломилась в теоретически неадекватной форме. В. И. Ленин в работе «Материализм и эмпириокритицизм» указал на противоречивый характер гельмгольцевской теории символов. С одной стороны, она рассматривает цвета, звуки, запахи как результат воздействия на нервные приборы внешнего материального источника. С другой стороны, она утверждает, что подобное воздействие производит знак, а не образ, что между источником в его психическом эффекте подобия нет. А это неизбежно ведет к агностицизму. Что касается выводов Гельмгольца о способности субъекта к имманентной чувственной регуляции, то они были подсказаны «голосом интроспекции», субъективным впечатлением, а не объективным анализом.

Дальнейшее развитие науки отчленило продуктивное в гельмгольцевском учении от невыдержавшего испытания временем. Представления, согласно которым орган ощущений не только воспринимает внешние импульсы, но и обучается построению чувственных образов, что мышца играет в этом огромную роль, что она совершает операции, сходные с мыслительными, — все это вошло в фонд современных психологических идей.

К работам Гельмгольца, способствовавшим становлению психологии, относится также изучение скорости проведения нервного импульса. Среди физиологов в ту пору было принято считать, что скорость эта чрезвычайно велика. И. Мюллер, например, полагал ее близкой к скорости света.

Гельмгольц в 1850 г. взялся за экспериментальное изучение этого вопроса. Он раздражал слабым электрическим током двигательный нерв лягушки на различном расстоянии от мышцы, сокращения которой записывались на изобретенном им приборе — вращающемся цилиндре (кимографе). Зная расстояние между раздражаемыми пунктами, он определил, исходя из различий во времени мышечной реакции, скорость прохождения процесса возбуждения. Она составила около 25 метров в секунду, т. е. была несравненно меньше указанной в «Учебнике физиологии» Мюллера. От лягушки Гельмгольц перешел к человеку. Испытуемый, по его инструкции, должен был отвечать на электрический удар каким-нибудь условленным движением, которое опять-таки записывалось на кимографе.

Гельмгольц ставил сугубо физиологическую цель. Он имел в виду нервный, а не психический процесс,хождение импульса по проводнику, а не возможно более быстрый ответ на раздражитель. Но переходя от нервно-мышечного препарата лягушки к человеку, он уже оказывался на почве психологии. Ведь скорость проведения первого импульса человека определялась исходя из того, с какой быстротой он производит по указанию экспериментатора (а стало быть, руководствуясь осознанной целью) двигательную реакцию, т. е. совершает действие, а действие это уже категория психологическая. Не удивительно, что результаты измерений сильно варьировали. Здесь сказались влияние множества уже не только физиологических, но и психологических факторов.

Изобретенная Гельмгольцем экспериментальная схема, не пригодная для определения скорости сложных процессов нервной системы человека, оказалась, однако, средством измерения времени реакции человека на внешний раздражитель. Исследования в этом направлении были продолжены голландским физиологом Францем Дондерсом (1818—1889). Дондерс полагал, что на пути от внешнего сигнала к двигательному ответу на него совершается работа нервных узлов (ганглиев), служащих органами представления и воли. Время же этой работы (образующей психическое звено) может быть измерено путем усложнения заданий испытуемому. Варьируя их (например, требуя от испытуемого, чтобы он при предъявлении нескольких раздражителей реагировал только на один из них или

чтобы на разные стимулы он давал различные двигательные ответы), можно, предположил Дондерс, измерить время, поглощаемое такими актами, как различение (раздражителей) и выбор. Получаемая разность во времени показывала скорость различных психических процессов. Главная публикация Дондерса об этих опытах так и называлась — «Скорость психических процессов» (1868), именно психических, а не физиологических.

Опыты по определению времени реакции проводились в различных вариантах многими физиологами, взявшимися тем самым за психологическую тему. Значение этих опытов для психологии было двойное — методологическое и конкретно-научное.

В методологическом плане они разрушали представления о мгновенно действующей душе. Они показывали, что психическое есть процесс, который, подобно материальным процессам, совершается во времени и может быть измерен. Поскольку же его течение предполагает целостность нервной ткани, он должен также трактоваться как совершающийся в пространстве. Стало быть, удар нанесился и по учению о непространственности души¹.

В конкретно-научном плане опыты по определению времени реакции дали сильный толчок развитию экспериментальной психологии. В дальнейшем выяснилось, что скорость реакции (наряду с двигательной реакцией в качестве индикатора была использована речевая) зависит от множества переменных — внимания, установки и т. д. Эксперимент вскрывал все новые и новые моменты. Но канва, на которой появлялись эти новые психологические узоры, была выработана в основном в лаборатории Дондерса. Он воспринимался всеми как физиолог, сам считал себя таковым и публиковал свои исследования о времени реакции в физиологическом журнале. Однако объективно он внес вклад в формирование психологии, среди методов которой определение времени реакции стало одним из основных. Интерес к этой проблеме и соответственно

¹ На это указывал И. М. Сеченов. Сопоставив измерение времени реакции, писал он, с положением о том, что для нормальной психической работы требуется целостность головного мозга, неизбежно следует сделать вывод: «...психическая деятельность, как всякое земное явление, происходит во времени и пространстве» (И. М. Сеченов. Избранные философские и психологические произведения. М., 1947 стр. 228).

кривая исследований резко возросли в эпоху современной научно-технической революции, предъявившей новые требования к чувствительности и реактивности человека-оператора. Приступая к изучению скорости и надежности его реакций, инженерная психология стала, по сути дела, преемницей схемы Дюндерса.

Подобно Гельмгольцу, Дюндерс строил свои выводы на эксперименте и измерении. Таким же путем шел еще один из естествоиспытателей, работы которого оказали большое влияние на развитие экспериментального знания о психическом, — Г. Фехнер (1801—1887). Он опирался на исследования физиолога Э. Вебера (1795—1878), предпринявшего попытку определить, какова должна быть минимальная разница между величинами двух раздражителей (оптических, акустических, механических и т. д.), с тем чтобы человек мог ее ощутить.

Субъект ощущает различие в изменении двух линий, весов или звуков, если это изменение находится в определенном отношении к раздражителю (для зрения — около 1/100, веса — 1/30, высоты тона — 1/160). Это отношение Вебер выяснил, разработав метод «едва заметных различий». Величина стимула постепенно менялась, пока испытуемый не сообщал, что почувствовал разницу между весом предметов, длиной линий и т. п.

Так определялся порог различения — разница между двумя раздражителями, дающая едва заметную разницу в ощущении. Понятие о порогах касалось изменений в сознании. Установленная же закономерность говорила о строгом соответствии между субъективным и объективным, психическим и физическим. Сами по себе ощущения как факты сознания не могли быть измерены, но косвенно, путем их соотнесения с внешними раздражителями, они становились объектом измерительных процедур. Обобщив выводы Вебера, Фехнер вывел формулу, согласно которой интенсивность ощущения равна логарифму силы раздражителя.

Психофизические методы измерения чувствительности стали важным инструментом лабораторной работы. Благодаря им складывались и новые критерии достоверности психологического знания, поскольку таблица логарифмов оказалась приложимой и к феноменам душевной жизни.

Фехнера вдохновляли философские мотивы: доказать, в противовес материалистам, что душевные явления ре-

альны и их реальные величины могут быть определены с такой же точностью, как и физические. Материализм, с которым дискутировал Фехнер, считал психику эпифеноменом — не имеющим собственной ценности остаточным продуктом мозговой деятельности. Это был материализм в его ограниченной, вульгарной форме. Фехнер считал сражать его средствами точной науки. Но в действительности, как заметил современный американский психолог Дж. Миллер, «вместо того чтобы эмпирически доказать, что ощущения реальны, так как они могут быть измерены в физических единицах, он (Фехнер) подготовил такой путь рассуждения о них, который является совершенно материалистическим»¹.

Фехнер полагал, что он измеряет ощущения как таковые, как самостоятельные единицы сознания. Фактически же исследовалась способность органов чувств различать раздражители, поскольку от этой способности зависит эффективность поведения организма в окружающем мире (в том числе при взаимодействии человека с техническими системами). Ее изучение остается важной задачей психологии — как общей, так и прикладной (в частности, инженерной).

Вместе с тем в дальнейшем зародилась идея о том, что посредством психофизических методов определяются не только пороги ощущений. Спрашивая у испытуемого не о том, какой из двух цилиндров тяжелее, а, например, о том, кого из двух кандидатов на какую-либо должность (среди ряда возможных) он предпочел бы, можно построить шкалу, позволяющую измерить установки субъекта по отношению к различным социальным явлениям. Такой подход получил широкое применение в социальной психологии.

Итак, с развитием науки эксперимент, число и мера утвердились в области, которую идеалистам считал в принципе закрытой для естественнонаучного исследования. В силу строго опытной ориентации, а не под влиянием представлений об уникальной, не с чем не сопоставимой природе психического, у ученых зрела мысль о том, что постижение этой природы невозможно исходя из методов одной только физиологии. Неудовлетворенность этими методами ощущалась повсюду, где натуралист наталкивался

¹ G. A. Miller. Psychology. The Science of Mental Life. N. Y., 1962, p. 94.

на своеобразную психическую реальность. В мышлении физиолога зарождались новые, уже не физиологически категории, прежде всего категории образа и действия. Но, начав оперировать ими, физиолог становился психологом — не по должности или званию, а по характеру работы, по изучаемым объектам. Если бы наблюдаемые явления укладывались в категориальную сетку физиологии, потребность обратиться к неопределенным, отягченным умоарительными философскими спорами представлениям о психических актах вообще не возникла бы. Она появилась именно из-за несводимости этих актов к физиологическим причинам и законам.

Появившиеся в трудах по физиологии термины «порог ощущения», «бессознательные умозаключения», «реакция различения» и т. п. отразили сдвиги, совершившиеся в мышлении физиолога. Читатель уже знает направление этих сдвигов — оно привело к расчленению психологического и физиологического знания.

Закономерности, установленные Гельмгольцем, Фехнером, Дондерсом, касались отношений явления сознания к внешним раздражителям, а не к нервным элементам или процессам. В качестве объяснительного фактора эти элементы выступали, пока речь шла об ощущениях. Так, выдвигнутая Гельмгольцем гипотеза цветного зрения, по которой вся гамма цветов представляет продукт возбуждения трех основных компонентов сетчатки (соответствующих цветам: красному, зеленому, фиолетовому), исходила из определенных представлений об устройстве органа зрения. Но его учение о пространственном восприятии строилось уже на совершенно другой основе — на гипотезе о «бессознательных умозаключениях», об анатомио-физиологической структуре которых ничего не было известно.

Вебер в своих опытах по изучению осязательных ощущений полагал, что, чем больше нервных окончаний содержит данный участок кожи, тем острее его чувствительность. Но формула, полученная им для порога различения, не предполагала никаких данных о нервных волокнах.

Собственно физиологические факторы при изучении указанных закономерностей никакой объяснительной нагрузки не несли. Участие этих факторов предполагалось, но в выводах, касающихся порогов ощущений, построения чувственных образов, времени реакции (выбора или различения), никакого значения о нервных процессах как

таковых не содержалось. Фехнер, например, предполагал, что наряду с внешней психофизикой должна существовать внутренняя. Первая изучает корреляции между внешними, физическими стимулами и душевными явлениями — ощущениями, вторая — между ощущениями и процессами в нервном веществе. Однако выведенные им законы касались только соотношения психического и физического, а не психического и нервного.

Вводя понятие о «бессознательных умозаключениях», Гельмгольц писал: «Если бы кто захотел отнести эти процессы ассоциации и естественного течения представлений не к душевным деятельности, а к проявлениям нервного вещества, я не стал бы спорить из-за названия»¹.

В методологическом плане Гельмгольц глубоко заблуждался, полагая, что спор о том, к чему отнести ассоциации представлений — к душе или мозгу, — носит чисто словесный характер.

Но реальная ситуация в физиологии была такова, что сведения, которыми она располагала о работе мозга, несколько не расширяли возможность причинного объяснения механизмов, порождающих чувственное восприятие. Практика исследования психологических фактов и закономерных связей между ними говорила о том, что эти связи могут быть выявлены, измерены, вычислены и до того, как удастся раскрыть их физиологический субстрат. Таким образом, хотя психологическое знание превращалось в научное под влиянием успехов физиологии, волекшей в орбиту экспериментального изучения органы чувств человека, оно приобретало уже собственное достоинство и указывало на реальность, отличную от физиологической, хотя и неотделимую от нее.

В работах Гельмгольца, Дондерса и других психофизиологов исследуемый объект (организм и его рецепторы) не только подвергался воздействию со стороны внешних раздражителей, но и отвечал на эти воздействия различными двигательными, мышечными реакциями. Процессы, происходившие внутри мышц, так же как и процессы в нервной системе, давно уже описывались в физиологических, вернее, физико-химических понятиях. Деятельность мышц относилась к области физиологии, а не психологии.

¹ Н. Helmholtz. Handbuch der physiologischen Optik. Leipzig, 1867, S. 804.

Да и могло ли быть иначе, когда под психическим понималось то, что происходит в сознании и доступно лишь «внутреннему зрению». Мышечные же реакции совершаются в реальных пространственно-временных координатах, наблюдаются и измеряются с помощью объективных средств.

Главным понятием, указывающим на двигательные механизмы поведения, с давних пор служило понятие о рефлексе. Оно предполагало, что вызванное внешним толчком возбуждение чувствительного (афферентного) нерва перебрасывается через нервный центр на двигательный (эфферентный) нерв, производя рабочую реакцию мышцы. Это была предельно четкая анатомическая схема, встречаемая с огромным энтузиазмом в медицинских кругах, поскольку врачи получали надежное средство диагностики рефлексов. Ее преимущество состояло и в том, что она обходилась без всякой апелляции к неопределенному представлению о психике, сознании. Рефлекс совершается с машинообразной правильностью и может быть исчерпывающе охарактеризован в анатомо-физиологических категориях, подтверждаемых опытом и объективным наблюдением. Казалось, что, если удастся приложить этот принцип ко всем двигательным проявлениям, в том числе и тем, которые было принято объяснять вмешательством сознания и воли, научный подход к поведению восторжествует.

Именно в таком ключе размышляли в середине прошлого века многие натуралисты, питавшие надежду, что загадочные душевные явления удастся свести без остатка к механике или энергетике организма. Между тем точные опыты показали несбыточность этой надежды. Выяснилось, что даже реакции обезглавленной лягушки невозможно объяснить одним только механизмом «чистого» рефлекса, что и здесь участвует какой-то дополнительный фактор, напоминающий о психике. Рефлекс или сознание? Большинство склонилось к тому, что оба фактора регулируют нормальное поведение. Но понятие о рефлексе было кристально ясным, проверяемым объективными средствами, чего нельзя было сказать о сознании.

В итоге один и тот же предмет приходилось представлять с двух несовместимых точек зрения, видеть в нем две сущности — материальную и духовную. Человек оказывался существом, принадлежащим двум мирам. Естест-

веннонаучная мысль не могла примириться с таким подходом. Она искала способ объяснить механизмы поведения, исходя из единого начала. Слабость классической схемы рефлекса побуждала не к отказу от нее, а к ее преобразованию. Эта историческая миссия пала на долю И. М. Сеченова (1829—1905).

Профессор Медико-хирургической академии Сеченов начал с исследования проблемы газообмена и других процессов в организме, которые носили тогда название «растворительных актов». Изучение последних сталкивало физиолога с удивительным механизмом саморегуляции. Как объяснить устойчивость живого тела по отношению к неустойчивой среде? Зарождается идея о том, что удержание физико-химических реакций в организме на некотором стабильном уровне и в определенной системе возможно только потому, что он снабжен специальными регуляторами, автоматически поддерживающими постоянство внутренней среды, равновесие между приходом и расходом. С усилением притока вещества регуляторы усиливают и процесс разрушения, с недостатком вещества стимулируют его поиски.

Это учение, названное через много лет учением о гомеостазе — постоянстве внутренней среды организма, было выдвинуто французским физиологом Клодом Бернаром (1813—1878).

Сходные мысли высказывал и Сеченов. Представления о гомеостазе изменяли, как мы увидим, характер не только биологического, но и психологического мышления. Они означали, что организм по своей природе является таким устройством, которое способно с целью сохранения своих констант автоматически варьировать действия соответственно изменяющимся условиям. Другими словами, в отличие от простых физико-химических, энергетических машин, которые не могут сами по себе (без дополнительных приделков) ни различать изменившиеся условия, ни согласовывать свои действия с ними, организм оказывался способным к саморегуляции. Саморегуляция же невозможна без обратной связи¹, когда по ходу реакции осуществляется коррекция, пока не достигнут пугный

¹ Термин «обратная связь» возник значительно позже, когда появились кибернетические машины. В истории науки нередко новый принцип зарождается раньше нового термина.

эффект. Новые представления, которые сложились у Сеченова при изучении «газов крови», стали компасом, указавшим путь к пониманию саморегуляции поведения целостного организма во внешней среде.

Горячие дебаты вызвала тогда, как отмечалось, целесообразность поведения обезглавленной лягушки. Осмыслив саморегуляцию как общее начало жизнедеятельности (базирующееся на различении, управлении и обратных связях), Сеченов прилагает этот принцип и к реакциям обезглавленной лягушки. Каким же образом она различает изменяющиеся внешние условия? Благодаря фактору, который Сеченов называл «чувствованием», «бессознательным ощущением», а затем «сигналом». Но тут мы уже оказываемся в области психических явлений, которые, однако, характеризуются не исходя из их представленности в сознании, а под углом зрения того, какую жизнедеятельную функцию они выполняют, как различают свойства среды и обеспечивают целесообразную регуляцию. Дополнительным, но очень важным для Сеченова моментом в развитии этой линии исследований явилось изучение расстройств координации движений у больных, страдающих атаксией (атактиков). Наблюдая этих больных в клинике своего друга, знаменитого врача С. П. Боткина, Сеченов так описывал их поведение: «Главнейший и общий характер страдания выражается в том, что при остающейся возможности очень сильных произвольных мышечных сокращений больной терлет в более или менее сильной степени способность регулировать эти движения как по направлению, так и по силе. Например; он может очень крепко сжать в своей руке руку другого; но акт схватывания рукою посторонних предметов, при всей его простоте для здорового человека, больному стоит, очевидно, больших усилий, потому что он делает это очень медленно и очень неловко. То же самое и с ногами: — согнуть такому больному ногу, если он будет произвольно возбуждать разгибателей, т. е. станет противиться сгибанию, столь же трудно, как здоровому человеку; а между тем ходить, т. е. сочетать мышечные движения ног в определенном порядке по направлению и времени, больной может лишь с трудом и всегда очень медленно и неловко»¹.

¹ И. М. Сеченов Физиология первой системы. Спб., 1866, стр. 241. Следует отметить, что изучение двигательных расстройств

Опираясь на принцип саморегуляции поведения живой системы, каким он выступил в поддержании постоянства «газов крови», в целесообразных реакциях обезглавленной лягушки и двигательных расстройствах у атактиков, Сеченов по-новому воспринял в исследовании Гельмгольца о роли мышц глаза в пространственном видении. Напомним, что Гельмгольд связывал деятельность мышц с особыми «ощущениями иннервации». Возникая будто бы как эффект волевого усилия субъекта, они позволяют, по Гельмгольцу, произвольно передвигать зрительные оси по контурам предмета. Отклоняя гипотезу об «ощущениях иннервации», Сеченов противопоставляет им «темное мышечное чувство» как совокупность чувственных моментов, включенных в деятельность различных мышечных систем. Идущие из мышц сигналы регулируют целесообразное поведение обезглавленной лягушки. Расстройство мышечного чувства нарушает координацию движений у атактиков. Мышечные реакции этих больных лишаются чувственной регуляции со стороны ощущений, возникающих в самой двигательной системе. Но о чем сообщают эти ощущения? Какую информацию они несут? Английский физиолог следующего поколения Ч. Шеррингтон, изучая мышечную чувствительность, назвал ее органы проприорецепторами («проприорецептивный» значит «ощущающий самого себя»). Проприорецептивные ощущения, согласно Шеррингтону, сигнализируют о состоянии мышц, сухожилий и других элементов двигательного аппарата организма. По Сеченову же, мышечные ощущения следует соотносить не с организмом, а с внешней ситуацией, к которой приспосабливается организм. Сигналы, посылаемые мышцей — органом активного и непосредственного взаимодействия живых существ с окружающим миром, — производят отношения, связанные с основными формами существования этого мира: пространством, временем и движением. Мышца выступила не только как орган действия, но и как орган познания, притом, по Сеченову, самого достоверного, какое только может быть. Благодаря этому действие и образ стали рассматриваться в виде компонентов нераздельного целого: образ (сигнал) регулирует

у атактиков было использовано в дальнейшем при разработке понятия об обратной связи в кибернетике.

действия, действие — непреходящий участник построения образа.

Здесь Сеченов искал ключ к строго причинному объяснению целесообразности поведения, с одной стороны, предметной отнесенности образа, с другой. Не душа (сознание) прилаживается к среде тела, а механизм, подобный гомеостатическому. Он «засекает» изменения в среде посредством чувствующих спарядов, посылая сигналы об этом органам, которые автоматически заводят мышцы на цель. Загадка, над которой философы веками ломали головы: в силу каких причин чувственный образ локализуется не внутри мозга, где он возникает, а относится к внешнему предмету, решается, по Сеченову, исходя из особенностей мышечного чувства, которому присуща «способность объективировать впечатления»¹.

Таким образом, в двигательной активности организма коренятся и «элементы мысли». Мысль зарождается во внешних практических действиях, во встречах организма со средой и лишь затем «уходит вовнутрь» (интериоризируется). Такая, например, фундаментальная умственная операция, как сравнение, становится возможной в силу того, что глаза, подобно своеобразному «щупалу», непрерывно сопоставляют воспринимаемые предметы. В дальнейшем происходит сопоставление уже не реальных мышечных актов, а их следов в центральной нервной системе. Стало быть, внутренняя «психическая среда» складывается из внешних предметных действий. Можно ли в таком случае считать действие категорией, лежащей по ту сторону психического? Мы видим, как далеко продвинулась сеченовская мысль в разработке рефлекторной теории по сравнению с традиционной схемой «рефлекторной дуги». Перед нами не застывшее сцепление двух полудуг — центростремительной и центробежной, а непрерывное согласование движения с выполняющим сигнальную роль чувствованием.

¹ В современной психологии возникло понятие о перцептивном действии. Насколько прозорлив был Сеченов, видно из того, что лишь в наши дни исследователи начинают склоняться к мнению о том, что именно благодаря перцептивным действиям — открытой или скрытой двигательной активности — становится возможной «проецируемость» отражения, т. е. его отнесенность к некоторой реальности.

Заслугой Сеченова явилось также открытие тормозящей роли нервных центров. Им было экспериментально установлено, что двигательная реакция может быть угнетена путем раздражения определенных участков мозгового ствола. Это открыло новую страницу в нейрофизиологии. Вводилось представление о координационных отношениях между нервными центрами. Но значение этого открытия не ограничивалось физиологией. Ведь торможение — фактор, который организует действие, обеспечивая его пригнанность к внешним условиям. «Легко понять в самом деле, что без существования тормозов в теле и, с другой стороны, без возможности приходить этим тормозам в действительность путем возбуждения чувствующих спарядов (единственных возможных регуляторов движения!) было бы абсолютно невозможно выполнение плана той «самоподвижности», которую обладают в столь высокой степени животные»¹.

Торможение объясняет и механизм волевого действия, проявляющегося в способности организма противостоять внешним и внутренним стимулам — не реагировать на них. Сеченов, как никто другой до него, показал ложность взгляда, согласно которому психические процессы и начинаются, и кончаются в сознании. Он предложил трактовать психический акт по образцу рефлекторного, т. е. считать его трехкомпонентным², включающим в качестве постоянного звена наряду с чувственным воздействием и его центральной переработкой также и мышечную реакцию. Последняя, таким образом, в качестве компонента целостного акта выступала уже не как физиологическая, а как психологическая категория. Работы Сеченова «Рефлексы головного мозга» (1863), «Кому и как разрабатывать психологию» (1873), «Элементы мысли» (1-е изд., 1878)³ и др. озаменовали собой, по сути дела, переворот

¹ И. М. Сеченов. Избранные философские и психологические произведения, стр. 237.

² Фактически, как мы видели, понятие о рефлексе у Сеченова строилось по типу кольца, а не дуги. Рефлекс не обрывался на «чистом» мышечном движении, поскольку по ходу этого движения непрерывно в центры шли сигналы мышечного чувства (обратная связь).

³ В 1903 г. Сеченов публикует второе, коренным образом переработанное издание «Элементов мысли» (привлекшее внимание В. И. Ленина), в котором развивает новую трактовку важнейших психоневрологических вопросов, в частности именно в этом

во всей системе представлений не только о нервной, но и о психической деятельности. Субъективной, идеалистической психологии была противопоставлена объективная, материалистическая. Последовательно материалистический взгляд утверждался не цепой редукции (сведения) психических процессов к нервным (как в предшествующих материалистических концепциях), а исходя из трактовки психики как рефлекторного по своему типу и вместе с тем особого по уровню организации акта жизнедеятельности целостного организма. Нервная, психическая и автоматическая формы регуляции были объединены Сеченовым в понятие о сигнале, ставшем в дальнейшем ключевым в кибернетике. Это позволило понять такой компонент психической реальности, как образ, не с точки зрения его представленности в сознании, а как объективный регулятор поведения.

Взгляды Сеченова на психически регулируемое действие как инструмент приспособления организма к среде отразили общее изменение структуры биологической мысли, неуклонно совершавшееся в ту эпоху. До того организм хотя и представлялся непосредственно и неразрывно связанным со средой, но лишь на уровне физико-химических, молекулярных или энергетических процессов. С торжеством дарвиновского учения раскрылся новый уровень и тип этих связей — адаптивных, приспособительных. Поэтому не только в утверждении эволюционного подхода как такового состояла историческая заслуга дарвинизма, менялось представление о характере причинных отношений между организмом и средой. Они стали рассматриваться как отношения особого типа, не совпадающие с законами механического или энергетического взаимодействия.

Организм выступил как обусловленное историей вида образование, приспособленное к условиям его обитания благодаря естественному отбору. Поскольку же естественный отбор безжалостно уничтожает все, что не служит целям приспособления, психические функции также трактовались как орудие выживания, как важный фактор эволюции. Чарльз Дарвин (1809—1882) подготовил почву для

издания впервые высказывается отмеченная выше идея о способности мыслить «объективировать впечатления», т. е. участвовать в построении образа предмета,

их объяснения с новых позиций не только своей общей теоретической схемой, но и специальными исследованиями.

Принцип адаптации к среде объяснял особенности индивидуального приспособления. Среда вынуждает организм изменять свое поведение, приобретать новые формы реакций. Однако это не единственный фактор, побуждающий организм к действию. Наряду с ним отдельной особой властью правят особые силы — инстинкты. В важнейшем труде Дарвина «Происхождение видов» (1859) вопросу об инстинктах отводился специальный раздел.

Дарвин с фактами в руках подверг критике версию о разумности инстинктов, показал их слепой, бессознательный характер, их несовершенство. Вместе с тем без этих слепых побуждений, корни которых уходят в историю вида, организм не способен выжить.

О физиологическом механизме инстинктов в то время еще ничего нельзя было сказать. И несмотря на это, открывался путь к их опытному исследованию в качестве особого психологического (а не только чисто биологического) феномена, представлявшего побудительный аспект поведения.

Но здесь опять-таки, вопреки убеждению в том, что психическое построено из фактов сознания, оно выступало как бессознательное начало. «Бессознательные умозаключения» Гельмгольца, бессознательные ощущения Сеченова, бессознательные инстинкты Дарвина — все это были понятия одного порядка, подрывавшие общепринятую доктрину о предмете и области психологических исследований.

При этом как великий натуралист Дарвин шел путем опыта, объективного наблюдения. Он следовал им и в анализе важнейшей мировоззренческой проблемы происхождения человека. Его вывод о родстве между человеком и животным миром распространялся и на психическую жизнь. Этот вывод, как известно, нанес сокрушительный удар по религиозным догматам.

Подготавливая свой труд «Происхождение человека» (1871), Дарвин обратился к изучению выразительных движений, сопровождающих эмоциональные состояния у животных и человека. В какой субъективной форме выступают эти состояния, его не интересовало. Ему важно было решить другой вопрос — имеют ли внешние наблюдаемые

изменения мимики, пантомимики, голоса при аффектах какой-либо объективный приспособительный смысл, служат ли они целям выживания? В работе «Выражение эмоций у человека и животных» он выдвигает гипотезу о том, что выразительные движения имели первоначально практический смысл. Животное скалит зубы перед тем, как броситься на врага. Его выразительные движения являются частью оборонительной или агрессивной реакции. Рудиментами этих движений, в прежние времена целесообразных, являются те мимические или пантомимические акты, которые современный человек рассматривает в качестве выражения чувств. Сжатие кулаков или оскал зубов в состоянии гнева у современного человека — пережиток тех времен, когда они означали готовность к схватке. Так же как и инстинктам, человек, по Дарвину, не научается этим действиям и совершает их бессознательно. Эмоциональные состояния в этой дарвиновской концепции оценивались в связи с побуждением к действию, но не с традиционной точки зрения, согласно которой чувства классифицируются, исходя из того, как они переживаются и осознаются субъектом.

Считая наследственность важнейшим фактором эволюции, Дарвин не распространял его действие на умственные способности людей. Кроме психически больных, полагал он, все люди обладают приблизительно равным интеллектом, и различия между ними в этом плане зависят только от степени упорства, с которым они трудятся. Однако он был поколеблен в своем представлении о равенстве людей по их умственным способностям, после того как прочитал книгу Френсиса Гальтона (1822—1911) «Наследственный гений» (1869).

Различия между познавательными силами людей, утверждал Гальтон, образуют огромную шкалу. Ее градации он объяснял лишь наследственной детерминацией, игнорируя роль социальных факторов, воспитания, личной инициативы. Собрав большой биографический материал, касающийся родственных связей выдающихся личностей Англии, он утверждал, что высокая даровитость определяется степенью и характером родства. Наличие талантливых детей в талантливых семьях нельзя считать «игрой случая». Оно предопределено генетическим фактором. Очевидна реакционность идеи Гальтона о том, что избранные представители господствующих классов самой приро-

дой предопределены к тому, чтобы занять высшее место в шкале интеллектуальных способностей.

Вместе с тем Гальтон выдвинул новую для того времени проблему генетики поведения, разработав ряд приемов ее экспериментального и математического исследования. Он отправлялся от антропологов — определения и измерения различий в устройстве человеческого организма. От физических, телесных параметров Гальтон перешел к умственным, психическим, для измерения которых он изобрел ряд приборов.

Сопоставляя показатели, касающиеся соматических (телесных) и психологических свойств того или иного конкретного индивида, он получал «карту», рисующую его своеобразную телесно-духовную организацию, отличающую его от других людей. Эксперимент приобретал характер теста — краткосрочного испытания, результат которого оценивался в сопоставлении с показателями других индивидов. Подобно тому как можно определять рост или вес данного человека, сравнивая его с другими, точно так же сравнение проводилось в отношении уже психологических свойств: остроты зрения, быстроты реакции и др.

Мы видели, как Сеченов в угнетении рефлексов у лягушки видел древние истоки способности человека ставить барьер нежелательным импульсам, как Дарвин протягивал вить от выражения гнева у современного человека к агрессивной позе его далеких предков. Стиль мышления Гальтона был иной. Он, по существу, остался безразличен к принципу эволюции, идее перехода от одних форм к другим. Из положений эволюционной теории на него глубоко влияние оказала лишь одна идея: приспособление вида достигается за счет генетически детерминированных вариаций индивидуальных формы, образующих вид. Отсюда и его вывод о том, что индивидуальные различия психологического порядка, подобно различиям телесным, должны быть объяснены, исходя из учения о наследственности. Поскольку в центре интересов Гальтона оказался индивид как целое, как целокупное сочетание различных телесных и духовных переменных, тестируемых и сопоставимых между собой, в его исследованиях нашел отражение, хотя и неадекватное (в чем сказалось его безразличие к вопросу об эволюции психических свойств, их трансформации в процессе жизни), такой аспект психической

реальности, как индивидуально-личностное своеобразие психического склада людей.

Имелась еще одна область, где ярко выступило своеобразие индивида как особой психической реальности, состав и строение которой не исчерпываются ни показаниями самосознания, ни простой суммой отдельных психических проявлений.

Этой областью была психоневрология. Изучение психических и нервных расстройств сталкивалось с картинами нарушения поведения личности в целом. Для научной мысли того времени естественным было стремление искать корни этих расстройств в анатомии и гистологии нервной системы.

Убежденным сторонником именно такого способа объяснения был один из создателей современной неврологии, профессор медицины в Париже Жан Шарко (1825—1893). Изучая больших истерик, он заметил сходство между их поведением и поведением лиц, находящихся в состоянии гипноза. Поскольку же, с точки зрения Шарко, истерия — перво-соматическое заболевание, то и гипноз, полагал он, должен рассматриваться как патологическое явление, имеющее чисто физиологические причины. В противовес школе Шарко (она получила название «парижской»), другая медицинская школа, центром которой был город Нанси, а главными представителями — Льебо и Бернгейм, исходила из психологической природы гипнотических состояний. Гипноз трактовался как внушенный сон, при котором пациент некритически воспринимает новые установки и идеи и соответственно им бессознательно действует. Согласно этой концепции, гипноз не патологическое, а нормальное явление, и потому он может быть в принципе вызван у каждого человека. Сходную позицию занял и ученик Шарко, Пьер Жане (1859—1947), рассматривавший истерию с ее симптомами (параличом чувствительности и движений без органических поражений) как результат чрезмерной внушаемости. Они родственны, с его точки зрения, феноменам, наблюдаемым при гипнозе.

Одним из симптомов истерии является также нарушение интеграции личности. У нормального человека идеи и стремления образуют относительно стабильное целое. У больного истерией единство личности ослабевает вплоть до крайних случаев, когда происходит ее своеобразное расщепление на отдельные структуры. В одном человеке то-

гда оказывается несколько «Я», причем одно из них не помнит о жизни другого. Такой распад (диссоциация) вызывается потрясениями, острыми или длительными конфликтами индивида с окружающей средой. В результате — сознание резко сужается, психическая энергия ослабевает.

Какие же стороны психической реальности обнаружило изучение опыта психоневрологической клиники? Очевидно, что прежде всего силу мотивации. Руководящим принципом Жане было понятие о психической энергии индивида, обусловленной как наследственностью, так и внешними обстоятельствами. Неспособность мобилизовать эту энергию при столкновении с трудностями жизни становится источником заболеваний. Речь шла именно о психической энергии, т. е. о факторе, неизвестном ни физиологии, ни физике.

Не только внешние стимулы, чувственные образы или мысли выступали в качестве регуляторов поведения индивида, но и его внутренние психоэнергетические ресурсы. Ресурсы эти трактовались не как силы, замкнутые в системе организма; их истощение или нарастание соотносилось с характером взаимоотношений данного индивида с другими людьми.

В гипнозе, внушении содержится, хотя и в необычной форме, элемент социально-психологических связей. Эффект излечения, достигаемый благодаря внушению, также объясним лишь психологическим воздействием одного человека на другого, а не особым «магнетизмом», флюидами или другими непсихологическими агентами, как это казалось на заре изучения гипнотизма. Воздействие одного человека на другого (предполагающее готовность личности, испытывающей воздействие, принять его, т. е. соответствующую мотивацию) — это особый аспект психической реальности, не совпадающий с другими ее гранями. Перед нами выступает категория общения как еще одна важнейшая составляющая научно-психологического знания. Общение, будучи взаимодействием субъектов, совершается объективно, независимо от того, как оно ими субъективно осознается.

Поэтому и для понимания психологической природы общения сосредоточение на фактах сознания, какими они рисуются внутреннему взору индивида, оказывалось бесполезным. Но у психоневрологов были свои задачи. Они не могли бы достигнуть успеха в клинике, если бы остава-

лись на почве интроспекционистских представлений о структуре психической деятельности своих пациентов. В клинике же созрела мысль об интегральном характере человеческой личности, что, в свою очередь, является выражением индивидуально-личностных различий между людьми.

Пять направлений, которые мы рассмотрели, создали естественнонаучную основу, на которой воздвигнута современная психология. Нетрудно заметить, что ни одно из них не ограничивало себя «непосредственно данными фактами сознания», но все они выводили эти факты из объективной, независимой от сознания связи реальных явлений — физических и биологических. Стало быть, принцип уникальности психики, ее несостоятельности ни с чем телесным вовсе не служил тем критерием, по которому область психологии отграничивалась от сферы других наук.

Но если психическая реальность не сводится к феноменам сознания, выступающим в своей неповторимости и непосредственности перед обратившим на них свой внутренний взор субъектом, то чем же она является?

Какие грани этой реальности открылись благодаря введению объективного подхода, причинного анализа, экспериментальных и количественных методов? Преобразовательная работа рассмотренных выше направлений привела к вычленению по меньшей мере пяти категорий, каждая из которых характеризует одну из сторон предмета психологии.

Коснемся их здесь кратко с тем, чтобы в дальнейшем рассмотреть детальной.

1. Образ. Первоначальным объектом экспериментально-психологического изучения стал чувственный образ — ощущение. Оно производится органом чувств и мозгом, является их жизненной функцией.

Вместе с тем образ выражает познавательное (гносеологическое) отношение психики к объективному миру. Без этого отношения психической реальности не существует, хотя она к нему и не сводится. Образ функционирует независимо от того, направляет ли индивид на него аппарат самосознания или нет. Образ так же реален, как физические и нервные процессы, его порождающие. Он не идентичен этим процессам и потому как таковой не может быть объектом изучения ни физики, ни физиологии. Он

существует не в особом «психическом пространстве», а в системе реальных жизненных отношений между индивидом и миром. Его зависимость от воздействия физических раздражителей на рецепторное поле зафиксировал закон Вебера — Фехнера. Его зависимость от опыта контактов организма с реальными вещами, а также от мышечной активности раскрыли Гельмгольд и Сеченов. Последний доказал, что приспособление мышечных актов к пространственно-временным особенностям среды возможно только потому, что эти особенности воспроизводятся в форме мышечных ощущений. Тем самым была выявлена отражательная природа образа, его соответствие структуре внешней среды.

Отношение образа и вещи не ограничивается ощущением. Мир представлен в психике в виде сложной иерархии различных познавательных структур — до самих абстрактных понятий включительно. Впоследствии психологическая мысль приступила к экспериментальному изучению этих структур. На первых же порах был приподнят краешек завесы над чувственным образом и механизмам его построения. До того образ рассматривался только с точки зрения философской, гносеологической, для которой основное — это отношение между образом и познаваемым объектом. Теперь же был сделан решающий шаг по пути исследования образа как реального продукта, регулятора и координатора жизнедеятельности. Этот шаг предполагал проследивание теснейшей взаимосвязи между образом и телесным действием.

2. Действие. Эта категория складывалась под влиянием рефлексорной концепции. Но физиология не видела в эффекторном (двигательном) конце рефлекса ничего, кроме мышечной работы. Сеченов показал, что исполнительные эффекты в поведении организма имеют не только физиологический, но и психологический смысл и, стало быть, причастны психической реальности как таковой. Сеченовская идея превращения внешнего действия во внутреннее (интериоризация) открывала принципиально новые перспективы понимания мыслительных актов, представлявшихся прежде как чисто духовные. Существенно важным для трактовки действия как психологической категории явились также опыты по изучению времени реакции, показавшие, что психические процессы (различение и выбор) являются определяющими по отношению

к чисто телесным и тем самым имеющим собственное значение.

Идея приспособления организма к среде, разработанная Дарвиным, вела к причинному пониманию объективной целесообразности всех телесных функций, в том числе и работы мышечного аппарата. Если прежде целесообразная деятельность его относилась за счет сознания (человек руководствуется сознательно поставленными целями), то теперь она трактуется как регулируемая задачей приспособления организма к среде. Эта задача действует объективно, независимо от ее осознаваемости, придавая поведению приспособительный характер. В дарвиновском строе идей были, таким образом, ростки представления о поведении (системе действий) как психологической категории.

3. Мотивация. К этой категории относятся сферы импульсов — психодинамики, психоэнергетики — побуждений, придающих действию направленность, избирательность и стремительность.

В предшествующий «философский» период своего развития психологическая мысль связывала побуждения с волей как особой духовной силой, способной разрушить причинные связи материального мира (они считались пространяющимися только на тело). Сложившееся в эволюционной теории Дарвина представление об инстинктах — биологических силах, реализующих приспособление к среде, развивающихся в ходе филогенеза (история вида), создавало предпосылки для нового объективно-биологического понимания мотивационного «запала» поведения. Без этого «запала» невозможно преодоление организмом сопротивления среды и его выживание как целостной самостоятельной системы. Борьба за существование вырабатывает также особые приспособительные реакции, теснейшим образом связанные с инстинктами в виде выразительных движений, которые относятся человеком к разряду эмоций — радость, гнев, страх и др. Эти аффекты, безотносительно к тому, как они субъективно переживаются (тем более что переживания животных нам неизвестны), объективно выполняют важную биологическую службу, мотивируя животных к бегству, нападению или другим приспособительным двигательным актам. Они проявляются в столкновении индивида с другими особями. Тем самым мотивация (ее аффективный компонент)

включалась в контекст взаимоотношений между организмами.

4. Общение (психосоциальное отношение). Объективные связи индивида с социальной средой представлены в его психике в особых формах, не сводимых к другим. Основа общения — производственный процесс, трудовая деятельность. Преобразования, обусловленные этим процессом, на всех уровнях психической жизни человека — от элементарных ощущений и потребностей (образов и мотивов) до ее вершин — впервые получили подлинно научное, детерминистическое объяснение в марксистской философии. В дальнейшем развернулось конкретно-научное изучение социально-психологических особенностей человеческой деятельности. Но в рассматриваемый нами период общение вырисовывалось в качестве особой психологической категории, либо в связи с изучением его исходных биологических форм, либо в связи с изучением явлений гипноза и внушения. Непосредственное общение между индивидами образует своеобразную систему отношений, отличную от отношений этих индивидов как к миру природы, так и к миру культуры. В сфере непосредственного общения людей происходит непрерывный «обмен реакциями», в каждый из его участников воспринимает другого в качестве субъекта, способного изменить свое поведение в зависимости от внутренних психологических установок. Зависимость эффекта воздействия от этих установок выявилась, как уже отмечалось, при изучении гипноза и внушения. Но тогда же обнаружилось и большое многообразие индивидуальных реакций, имевшее своей причиной уже не динамику непосредственного общения, а некоторые устойчивые свойства, присущие его участникам.

5. Индивид — личность. Любая живая система обладает неповторимыми, одной только ей присущими особенностями. Они касаются и ее физиологических (телесных), и психологических параметров. Рост, вес, отпечатки пальцев, обмен и множество других признаков характеризуют первые. Но какие мы отнесем ко вторым? После того, что было сказано об основных психологических категориях, ответить на этот вопрос нетрудно. Индивидуальные различия в сфере образов (ощущений, восприятий, представлений), действий (время реакции), мотивации, общения (внушаемость) обнаруживались в исследованиях,

не ставивших своей задачей специальное изучение этих различий.

Имеется ли, однако, необходимость вводить в качестве первичного, к другим категориям несводимого понятие об индивидуе — личности? Такое понятие необходимо в системе психологического знания, ибо образ, действие, мотив, общение хотя и несводимы друг к другу, существуют реально только как «иностази» целостного человека — индивиду и личности.

Гальтон, как мы видели, начал с исследования индивидуальных различий. В дальнейшем все явственней выступает на передний план различие между индивидуальным и личностным. Стало очевидно, что эти понятия не совпадают, представляя вместе с тем одну категорию, обозначающую психическую реальность во всей ее полноте и неповторимости.

Пять категорий, в которых выступила психическая реальность, являлись категориями научного мышления. Это значит, что они вырабатывались благодаря специальным методам научной деятельности. Это значит также, что они прошли испытание специальными проверочными средствами науки как особой системы познания и общения. Выражая в концентрированном виде общие свойства познавательной активности человека, наука вместе с тем создает в ходе своего исторического развития специальные орудия исследования, контроля, критического анализа. До того как рассмотренные нами категории приобрели достоинство научных, они в силу представленности в них реальных особенностей психической жизни могли с различной степенью отчетливости намечаться в обыденном (зафиксированном языком), художественном, религиозном, философском сознании. На них могли наталкиваться и естествоиспытатели (физиологи) при изучении жизнедеятельности организма. Так, понятие о рефлексе сложилось задолго до того, как Сеченов пришел к выводу, что оно указывает на психическую регуляцию действия. Но в качестве научного (установленного и проверенного средствами науки) оно признавалось лишь для уровня физиологического знания. В сеченовском же учении это понятие преобразовалось, как было показано выше, в психологическую категорию действия. Очевидно, что за каждой из вычлеченных категорий стояла огромная по масштабам и трудностям работа, в ходе которой психологическое зна-

ние формировалось нераздельно с методами его добытия.

Перечислим эти методы:

1) Экспериментальный метод (в его различных вариантах), предполагающий целенаправленное варьирование факторов, от которых зависят наблюдаемые эффекты, широко применялся при изучении органов чувств, времени реакции и процессов памяти (ассоциаций).

2) Объективное наблюдение.

На нем базировалось дарвиновское учение. Им Дарвин пользовался и при исследовании выразительных движений. Их анализ в эволюционном плане проводился на основе большого количества наблюдений с применением средств, позволяющих фиксировать внешнее проявление аффектов и других эмоциональных состояний. Объективное наблюдение использовалось и в клинике с целью зафиксировать особенности поведения невротиков, пациентов в состоянии гипноза и др.

3) Психофизические методы.

Они предполагали экспериментальную проверку порогов чувствительности, однако должны быть ограничены от эксперимента, поскольку вводили принцип шкалирования, оказавший глубокое влияние на всю процедуру исследовательской работы в области психологии. Не случайно некоторые современные психологи трактуют психофизику очень широко как общую науку о количественных зависимостях между реакциями организма и стимулирующими структурами, воздействиями на него.

4) Тесты.

Это испытания, проводимые с целью диагностики психических свойств. Они предполагают наличие количественных мер, дающих возможность выявлять индивидуальные различия.

5) Моделирование.

Хотя этот метод получил широкое распространение лишь впоследствии, он фактически применялся (не выделяясь в качестве отличного от других) значительно раньше. Выдающимся мастером этого метода был Сеченов. Он представлял автоматическую регуляцию жизненных

процессов по образцу регулятора давления в паровой машине, раскрыл на основе аналогии между рефлекторным актом и психическим основные структурные особенности последнего, рассматривал работу глаза как модель интеллектуальной деятельности целостного организма («элементы мысли») и т. д.

Наряду с перечисленными методами зарождались и другие, такие, например, как анкетирование (несколько сот английских ученых получили анкету Гальтона с просьбой ответить на вопросы, касающиеся условий их деятельности и особенностей личности), «метод близнецов» (сравнение различий в поведении людей с общей генетической программой), клиническая беседа (применялась в психоневрологии с целью выявления характера переживаний пациентов) и др.

Важную роль в расширении перспектив зарождавшейся психологии играли также нейрофизиологические методы. Следует отметить, в частности, разработку новых методик для изучения строения и функций головного мозга. Проблема локализации (размещения) функций в его различных участках имела прямое отношение к психологии. Методы экстирпации (удаления) и электрического раздражения участков мозга позволили продвинуться в понимании субстрата психических явлений и нейромеханизмов поведения.

Итак, психологическая мысль «отливалась» в присутствии науки формы: факты, методы, теории, категории. Психическая реальность была открыта для научного исследования. Покинув недра философии и естествознания (физиологии), психология приобрела независимость. Этот процесс, имевший свою внутреннюю логику, совершался не в замкнутой сфере «чистого» движения идей, отрешенного от земных человеческих страстей, а на почве борьбы и столкновения социальных интересов. Любая наука, а тем более наука о таком объекте, как человеческое поведение и сознание, связана множеством видимых и невидимых путей с жизнью общества, его классовыми противоречиями, с идеологическими побуждениями и запретами.

Люди науки, выступая в качестве выразителей общей логики ее развития, стимулируются социально-политической атмосферой своего времени.

Когда Сеченов, например, раздражал мозговой стрел лягушки в поисках механизма торможения рефлексов, он

решал не только сугубо научную, но и острейшую идеологическую задачу. Перед его умственным взором стояли его противники — те, кто проповедовал, будто сознание и воля ставят человека вне земных законов. Когда Дарвин сравнивал выражение эмоций у человека и животных, Гельмгольц изучал работу глазных мышц, а Гальтон — родословную знаменитых людей Англии, во всех случаях научный поиск имел прямое отношение к идейным веяниям и борьбе мировоззрений в конкретный исторический период. Различные социальные мотивы направляли строителей новой психологии. Различными тропами продвигались они из физиологии, медицины, физики, антропологии к психической реальности.

ПСИХОЛОГИЯ СТАНОВИТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ НАУКОЙ

Итак, психическая реальность была открыта натуралистами-биологами, физиологами, физиками, врачами. Однако ни в собственных глазах, ни в глазах других они не выступали в качестве профессиональных исследователей психической деятельности. Таковыми в ту пору припаивались философы, древнейшим занятием которых считался анализ души и ее функций. Когда раскрылась возможность изучения этих функций естественнонаучными средствами, применения к ним эксперимента, клинических методов, математики, статистики, быстрыми темпами развернулся процесс эмансипации психологии. Обычно под этим понимают приобретение ею независимости от философии, к которой ее причисляли с незапамятных времен. Возникновение водораздела между умозрительным и конкретно-научным подходом к психическим явлениям справедливо расценивается как важнейшее событие в формировании новой науки.

Но, будучи создаема руками естествоиспытателей посредством физиологических методов, она нуждалась также в том, чтобы приобрести независимость и от физиологии. Независимость означала не разрыв отношений, а новый их уровень. Психологический эксперимент зарождался сначала в физиологической лаборатории. Его объектом, однако, оказывались уже не телесные, соматические, а психические явления, и соответственно лабораторная работа из физиологической становилась психологической и по имени.

Наука — это не только готовое знание, она деятельность по его добыванию и потреблению, производимая

реальными лицами в конкретных организационных формах. Она не может развиваться как «чистое» творение идей вне исторически-изменяемых организационных структур. Открытие психической реальности осуществилось в прежде сложившихся структурах, ее освоение потребовало новых. Главной из них стала психологическая лаборатория.

Первая психологическая лаборатория была создана в 1879 г. Вильгельмом Вундтом (1832—1920), сначала физиологом, а затем профессором философии Лейпцигского университета.

Вышедшее за несколько лет до этого (в 1874 г.) первое издание «Физиологической психологии» Вундта показало своим реальным содержанием, почерпнутым из конкретных экспериментальных исследований, что психология вправе трактоваться как самостоятельная дисциплина, построенная на наблюдении, эксперименте, измерении.

Нужно, однако, иметь в виду, что между реальным смыслом того, что входило в состав психологического знания, и теоретическими представлениями о нем имелись существенные различия. Мы видели, что реальный смысл новых идей состоял в установлении закономерных зависимостей между внешними стимулами и психическими реакциями. Если бы эти зависимости не существовали объективно — безотносительно к тому, как они осознаются индивидом, — не могло бы быть и речи о научном познании психических явлений. Выводы Э. Вебера, Ф. Дюпюфера, Сеченова, Фехнера и других имели объективную ценность. Они указывали на истинно психологические законы, не уступающие по достоверности физическим или физиологическим. Они вводили новые категории, отражавшие свойственное психическим функциям как таковым. Они вскрывали причинную роль психического фактора, несводимого к динамике возбуждения в нервах и мышцах. Таково было объективное значение их исследований, давших жизнь психологической науке.

Позиция же Вундта в понимании предмета и методов новой науки имела совершенно иную направленность.

Право психологии на самостоятельность Вундт обосновывал прежде всего принципиальными различиями между душой и телом как по существу, так и по способу познания. Он определяет психологию как «науку о непосредственном опыте», иначе говоря, о феноменах сознания,

его неразложимых элементах, из комбинации которых возводится вся архитектура душевной жизни. Выделялось два класса этих элементов: ощущения и представления (в дальнейшем к ним были присоединены чувства). Специфика предмета психологии определялась в его противопоставлении другим наукам: все они имеют дело с опытом не в его первозданной переживаемости субъектом, а как с материалом для построения знания о внешнем мире. Они изучают «опосредованный опыт», но не реальность, каковой она существует сама по себе. Феноменологизм, психологический атомизм и интроспекционизм — таковы установки Вундта и его школы, неостаточно приведшие ее к краху. В категориальном плане Вундт под впечатлением успехов физиологии органов чувств ориентировался на категорию образа. Даже чувство долгое время рассматривалось им как атрибут ощущений и представлений. Однако образ, отъединенный от материального объекта, отражением которого он является, неизбежно превращается в фикцию.

В поисках собственных владений психологии Вундт пошел ложным путем. Свообразие психических явлений он видел в том, что они в своей непосредственной очевидности доступны только тому, кто способен наблюдать за происходящим в собственном сознании. Поэтому главное орудие экспериментального психолога, согласно Вундту, — интроспекция.

До сих пор не умолкают споры о роли интроспекции в изучении психических актов. На протяжении десятилетий она одним исследователями поднимается как знамя, под которым только и можно строить истинное знание о самой сердцевине жизни человека, другими — низвергается как ложный метод, изначально лишавший психологию возможности стать точной, объективной наукой. Мы уже отмечали, что умение человека следить за ходом своих мыслей и переживаний, расчленив их и делать предметом анализа вовсе не является вымыслом. Без такой «следящей системы» невозможна сознательная регуляция поведения.

Но реальная и важная способность субъекта к самонаблюдению стала источником философских спекуляций. В результате по одну сторону пропасти оказалась индивид с продуктами собственного сознания и способностью их наблюдать, по другую — остальной мир.

Все реальное богатство психической жизни было обесценено, ограничено его отблесками в сфере рефлексии, в «зеркале» аппарата самонаблюдения. Ощущения, стремления, мыслительные акты столь же независимы от «следящей системы» самонаблюдения, как электромагнитные волны или сетчатая оболочка глаза. Сама эта система не дана индивиду изначально. Она возникает, когда условия жизни вынуждают его усвоить средства, позволяющие ориентироваться в самом себе. До того и независимо от того, как он себя осознает, он живет не только телесной, но и психической жизнью, осуществляя все те способы взаимодействия с реальностью, которые в дальнейшем станут объектом его внутреннего размышления — рефлексии. Самонаблюдение и его продукты не есть непосредственно данное. Таковыми они представляются интеллекту, не знающему своих корней и своей истории, принимающему тончайшую вершину психического развития за его основание.

Но ведь психические явления присущи не камню или машине, а испытывающему их субъекту. Ощущение и страдание способен понять только тот, кто их пережил. Физик сообщает, какова длина электромагнитных волн, соответствующих ощущению красного цвета. Физиология выясняет, от каких нервных элементов и процессов оно зависит. Но никакие физические и физиологические знания не дадут человеку, слепому на цвета, той информации, которую соединяют со словом «красный» нормально видящие люди. Если даже на уровне простейших ощущений, где установлены наиболее точные физико-физические корреляты фактов сознания, сведения об этих коррелятах никогда не смогут заменить узнаваемое из непосредственного переживания, то что же говорить о более сложных феноменах психической жизни? Может быть, они действительно открыты только тому, кто их непосредственно переживает?

Очевидна серьезность этого вопроса для понимания путей разработки психологии, ее предмета и методов.

В свое время резкой критике подверг самонаблюдение Опуст Конт. Он считал его просто невозможным. Он охарактеризовал его еще в 1830 г. в первом томе «Курса позитивной философии» как мнимый метод. Мыслящий индивид, писал он, не может расщепиться так, чтобы одна его

часть рассуждала, а другая наблюдала за рассуждением. На этом основании Конт отрицал возможность психологии как науки; изучение этой области должно принадлежать, по его мнению, либо физиологии, либо социологии. Таким образом, Конт исходил из того, что у психологии не может быть другого орудия, кроме самонаблюдения. Здесь скавался всегдашний порок позитивистской мысли. Будучи загипнотизирована наглядной ситуацией в науке, она не видит тенденций ее развития. Конт, например, утверждал, что наука никогда не узнает химического состава звезд, а через несколько лет был открыт спектральный анализ, позволивший решить эту задачу. Конт доказывал, что психология из-за ее субъективного метода никогда не станет позитивной наукой и потому должна раствориться в физиологии (или социологии). А через несколько лет вышла работа Вебера (1834), содержащая опытное доказательство зависимости психических явлений от физических (не физиологических) — первый истинно психологический закон. Разрушилось (объективно, независимо от суждений тех, кто интерпретировал и использовал этот закон) предвзятое представление о том, что психология не имеет никаких других средств познания своих фактов и закономерностей, кроме интроспекции.

Этот объективно совершившийся сдвиг остался в ту эпоху незамеченным философами, стоящими на идеалистических позициях. Мнение о самонаблюдении как об отличительном признаке психологии принималось ими за единственно возможное.

Конт, ориентируясь на это мнение, считал немислимым превращение психологии в науку. Вундт же, в противовес контовскому нигилизму, доказывал, что, сохраняя верность самонаблюдению, психология способна стать настоящей наукой, поскольку она приобрела нечто новое — лабораторный эксперимент. В действительности же, как свидетельствует исторический опыт, позитивное звание о психическом развивалось на иной основе, чем представлялось и Конту, и Вундту. Психология, исключенная Контом из своей классификации наук, вскоре займет в ней почетное место, но не благодаря субъективному методу, который культивировался в вундтовской лаборатории, а вопреки ему.

От испытуемого в этой лаборатории (и многих других, организованных по ее типу) требовалось возможно более

тщательно следить за тем, что происходит в его сознании при выполнении экспериментальных задач. Поскольку обычное самонаблюдение малоприспособлено для этих целей, разрабатывались специальные приемы тренировки испытуемых с тем, чтобы сформировать у них умение давать детальный отчет о непосредственно переживаемом. Для чего же в таком случае нужна лабораторная аппаратура? Она, по Вундту, позволяет сделать интроспекцию более совершенной и уточнить состав сознания, его первоэлементы.

Откуда была почерпнута вундтовская идея уникальности психического? Из физиологии органов чувств, достижения которой толкнули Вундта в сторону эксперимента? Но мы видели, что физиологи исходили не из замкнутого в себе сознания, а из телесных реакций на внешние стимулы. Источником вундтовской версии была идеалистическая философия, и программа психологических исследований Вундта явилась не чем иным, как гибридным образованием, с помощью которого он пытался соединить постулаты этой философии с достижениями физиологии.

Хотя Вундт назвал свою психологию физиологической, зародившиеся в физиологии тенденции к объективному исследованию психологических фактов получили в его школе идеалистическое преломление. В центр научно-психологического познания был поставлен субъект, на который возлагалась задача наблюдать не за внешним, а за внутренним, сообщать не о реальных событиях, а об их проекции в особом непространственном мире душевных явлений.

В представлении о том, что главным методом психологии является специально тренированное самонаблюдение (интроспекция), был заложен источник последующего крушения вундтовской школы. Десятилетия упорного, скрупулезного описания испытываемых своих состояний и процессов дали ничтожный эффект. Результаты, полученные в различных лабораториях, так сильно различались, что утрачивалась всякая надежда получить подобие какому-либо общему выводу. Объясняется это не тем, что самонаблюдение вообще непригодно для решения психологических задач. Самоотчет испытуемого о своем состоянии, об изменениях, вызванных, например, психофармакологическими средствами и т. д., остается во многих случаях

важным психологическим показателем. Заблуждения Вундта и его последователей были порождены другим, а именно — установкой на поиск с помощью самонаблюдения сходных элементов ископной «ткани» сознания, особой психической «материи». Именно она (а не способность к самоотчету) и являлась фикцией, возведенной, однако, в ранг предмета психологии.

Мы сталкиваемся с парадоксальной картиной. Ни Гельмгольц, ни Дондерс, ни другие физиологи¹ не связывали свою деятельность с задачей построения новой психологии, отличной от философской. Однако на деле именно они ее создавали своим новым, естественнонаучным подходом. Ученый же, поставивший такую задачу, придал ей не естественнонаучную, а идеалистическую ориентацию, пагубно отразившуюся на экспериментальных исследованиях. Апологи субъективного метода (интроспекции) не вытекала из логики развития психологического знания. Она была обусловлена социально-идеологическими обстоятельствами.

Идейная атмосфера, сложившаяся в немецких университетах, требовала от профессора философии, каковым был Вундт, противостоять материалистическому воззрению на человека. Свой первый «психологический практикум» (из которого и выросла лаборатория) Вундт проводил в виде экспериментальных демонстраций к курсу философии. Вполне понятно, что демонстрации могли иметь единственный смысл — «доказать» на опыте правильность той идеалистической концепции, которая излагалась в университетском курсе.

Соответственно и проводившиеся эксперименты — опыты по определению порогов ощущений, времени реакции и др. — приобретали иное истолкование, чем в контексте естественнонаучных исследований. Так, если для Фехнера психофизический закон означал закономерную связь между силой раздражения и интенсивностью ощущения, то, по Вундту, этот закон следует считать чисто психологическим: для миллионера, например, рубль представляет бесконечно малую величину, тогда как его прибавка к жалованию рабочего может стать ощутимой. Здесь, по мнению Вундта, проявляется отношение между ощущением

¹ Кроме Сеченова, выдвинувшего свой план разработки объективной психологии.

и психологическим суждением о нем, а не ощущением и реальным раздражителем.

Точно такому же пересмотру, при котором испарялась реальная связь психических актов с внешними стимулами, подверглась в лаборатории Вундта и дождеровская схема времени реакции. Выдвигалось предположение о том, что в период между действием раздражителя и двигательным ответом на него в «пространстве» сознания совершаются акты, сменяя друг друга, различные психические акты. Главный среди них — апперцепция. Этим термином обозначался особый духовный процесс, благодаря которому одни представления воспринимаются ясно и отчетливо, другие же оказываются на периферии сознания. За счет апперцепции относились мыслительные акты, приводящие в логическую связь разрозненные ассоциации, воля, внимание — вся активность субъекта.

Очень скоро это понятие было отвергнуто психологами как псевдообъяснительное, подменяющее причинный анализ указанием на особую внутреннюю силу, законы действия которой неизвестны.

Между тем в лаборатории Вундта пытались измерить скорость апперцепции, для чего испытуемым предписывалось фиксировать момент, когда представление появляется в фокусе сознания. По этому проекту было проведено множество опытов, давших столь противоречивые результаты, что всякое доверие к измерительной процедуре утрачивалось.

Чем дальше, тем откровенней подчинял Вундт всю психологическую работу обоснованию своей философской доктрины. Исследования, которые ей не соответствовали, он просто отвергал. Он отказывался принимать экспериментальные факты, если они расходились с его догматами, изгонял из лаборатории неудобных учеников. Почему же, несмотря на догматизм и нетерпимость Вундта, на его упорное стремление подчинить психологию спекулятивной метафизике, его лаборатория в течение многих лет пользовалась большой популярностью у молодых исследователей психической деятельности?

Ответ нужно искать в назревшей общественно-научной потребности. Наступала пора расцвета психологии. Молодые силы устремились в новую область, интерес к которой обострили и запросы практики, прежде всего педагогической и медицинской. Забрехала перспектива приобретения

экспериментального знания о человеке и тем самым решения живящих вопросов средствами точной науки.

Происходил переход от представления о сознании как исходном и незыблемом пункте психологических исследований к включению его в широкие системы реальных отношений — физических, биологических, физиологических. Это был объективный процесс, который шел своим чередом, безотносительно к тому, как он осмысливался в головах отдельных ученых, в их теоретических представлениях. Психологии нужны были кадры, главной «кузницей» их вначале была лейпцигская лаборатория Вундта, вскоре выросшая в первый в мире психологический институт.

Вундт в те годы был олицетворением «работающей» экспериментальной психологии, быстрое развитие которой, однако, повсеместно разрывало узкую сеть вундтовских построений, обнаруживая слабость его теоретических позиций, их несоответствие запросам научной практики.

Экспериментальная психология бурно развивалась под знаком новых идей. Набирали силы прикладные отрасли психологии.

Вскоре вслед за вундтовской лабораторией начали работать лаборатории во многих университетах Германии, США, России и других стран.

Лаборатории стали формой самоутверждения психологии в правах независимой дисциплины. Появились и другие формы: периодические издания, профессура по психологии, психологические общества, международные конгрессы. Организационные позиции психологии становились все более сильными и прочными. Их укрепление было обусловлено расширением ее теоретических горизонтов, методических возможностей и контактов с практикой.

В 1889 г. в Париже собрался первый международный психологический конгресс. В программе конгресса отсутствовали вопросы, вокруг которых концентрировалась тогда вся работа в возникавших повсеместно лабораториях: психофизика и исследование времени реакции. На обсуждение выдвигались другие пункты психологического «ландшафта» той эпохи: мышечное чувство, наследование психических качеств, гипнотизм. Почему же внешне они? Не потому ли, что здесь с особенной остротой ощущалась необходимость соответствия при анализе поведения то, что определяется самим по себе анатомо-физиологическим, врожденным устройством организма с ролью в поведе-

нии психики, сознания? ¹ Претензии психологии на самостоятельность (а конгресс шел под знаком утверждения самостоятельных психологических подходов и методов) могли иметь вес лишь в том случае, если доказывалась недостаточность чисто физиологических понятий.

Изучение гипнотизма, как и мышечных ощущений и других феноменов, сталкивалось с коренной для психологии проблемой детерминации человеческого поведения.

Какие факторы его определяют? Материя или дух? Силы природы или силы сознания? Первое отстаивали приверженцы точного опытного знания, второе — противники выведения человеческих актов из законов механики или биологии. Положение еще не окрепшей естественнонаучной психологии было очень сложным. Обязанная своими успехами физиологии, она вместе с тем обрела самостоятельность лишь потому, что проникла в такую область явлений, где физиология пасует. Защищать физиологическую детерминацию этих ввновь открытых явлений значило идти не вперед, по пути прогресса точного, проверенного опытом знания о действительности, а назад — ко временам, когда психическая реальность еще не стала предметом конкретно-научного исследования. Отказаться от физиологической детерминации? Поскольку она в ту эпоху являлась синонимом детерминистического подхода, это могло быть немедленно интерпретировано как солидарность с учением о первичности сознания и воли. И это, конечно, также был бы шаг назад, к донаучным временам.

Молодая психология оказывалась между двумя лагерями, каждый из которых имел свои могучие традиции, системы аргументов. Хотя успешно продвигаться она могла лишь потому, что сохраняла самостоятельность по отношению к двум крайним воззрениям на детерминацию поведения, эти воззрения вовсе не являлись равноценными для ее прогресса. Ориентация на физиологическое (биологическое) направление, на критерии и схемы естествознания в то время являлась единственно верной.

И не только потому, что эти схемы могли служить образцом для менее зрелой психологии, но и в силу вопро-

¹ При проведении психофизических опытов и измерении времени реакции вопрос о физиологических механизмах выносился за скобки и поэтому не имел такой остроты, как при анализе указанных проблем.

изведения в них реальности, родственной по своей природе психологической. Психологическое знание о чувственном образе, например, отличалось от физиологического знания о нервных процессах в рецепторе и мозгу, но без него оно никогда бы не поднялось до уровня научного. Это же относится и к другим психологическим категориям: действию, мотиву и т. д.

Первый международный съезд психологов назывался конгрессом физиологической психологии. Тем самым подчеркивалась его естественнонаучная направленность, курс на союз с физиологией мозга и органов чувств.

Но и позиции сторонников интроспективной психологии были тогда еще прочны, в особенности в Германии, где собрался III Международный конгресс (Мюнхен, 1896)¹.

На пленарном заседании разгорелась полемика между неврологом Флексингом, сообщившим об открытии ассоциативных центров в мозгу, и обоими президентами конгресса Штурмифом (Берлин) и Липпсом (Мюнхен), защищавшими чисто интроспективный анализ душевных явлений. В спор вмешался петербургский врач В. Дехтерев. «В этой дискуссии, — сказал он, — мы видим спор старых психологических школ с физиологической психологией... Мы вступаем в XX век, и я надеюсь, что следующий, четвертый, конгресс будет чисто физиологическим. И тем неприятнее слушать, что в конце XIX века раздаются из ученого мира голоса, которые хотят снова отбросить психологию в область схоластики и догматики. Наш известный русский физиолог проф. Сеченов первый, кто изучил в 60-х годах тормозные центры мозга, в своем обширном труде ответил на вопрос «кто должен разрабатывать психологию?» — физиологи... На этот вопрос и сегодня следует ответить: «Физиологи и психиатры должны разрабатывать психологию».

Дехтерев был прав в своей критике интроспективного направления, в пламенной защите естественнонаучных позиций. Но призыв передать разработку психологии в руки физиологов прозвучал в иных обстоятельствах, чем в эпоху, когда это требование выдвинул Сеченов. Действительно, в начале 70-х годов психологов по профессии еще не существовало. Требование вербовать их из рядов физиологов, а не философов соответствовало реальным запросам времени. Как мы знаем, именно натуралистам принадле-

жит заслуга превращения психических явлений в предмет научного исследования.

Но на рубеже XX в., когда профессия психолога быстро формировалась в качестве самостоятельной, утверждение о том, что психологию должны разрабатывать физиологи, становилось уже анахронизмом.

Психологическое знание к тому времени уже имело, как мы видели, собственный категориальный строй, который отражал специфическую природу психики, невоспроизводимую в физиологических категориях. Нельзя было включиться в изучение психологических проблем, не овладев этим строем, т. е. не став психологом. Настало время, когда психологию могли уже разрабатывать только психологи. Прогноз В. Дехтерева, что в XX в. психологические конгрессы станут чисто физиологическими, не подтвердился.

Психология продвигалась по «третьему пути». Она выработывала собственные категории, не смешивая их ни с физиологическими, ни с философскими. Это не значит, что она развивалась независимо от естествознания и философии. Напротив, прогресс в биологических науках решительно менял весь ее облик. Что касается философии, то изменения, происходившие в этой области, также имели к ней самое непосредственное отношение.

¹ II конгресс проходил в Лондоне в 1892 г.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

В единой ткани движения познавая не только в наш век, когда это стало достаточно очевидно, но и всегда переплетались порой совершенно непостижимым образом различные нити.

Когда психология обособлялась в самостоятельную науку, происходил переход от взгляда на организм как на механическую систему к новым эволюционно-биологическим представлениям. Иногда эти представления характеризуют как утверждение принципа нераздельности организма и среды, их взаимодействия. Между тем детерминистическая биология (в отличие от виталистической, для которой жизнь — внутренняя сила, не имеющая причинных оснований) всегда, а не только после Дарвина исходила из единства организма и среды. Но мыслилось это единство по-разному. В контексте механической картины мира живое тело без остатка подчинялось общей механике природы. Считалось, что внешние толчки приводят его в движение, которое в свою очередь отражается в среде (ср. рефлекторный акт). В 40-х годах прошлого века машина живого тела трактовалась уже как физико-химическая, а не механическая. Соответственно единство со средой представлялось основанным на законе сохранения энергии. Взаимодействие механического типа сменилось энергетическим. Следующий этап трактовки взаимодействия связан с учением о гомеостазисе, объяснявшем действием специальных регуляторов возможность сохранения постоянства внутренней среды организма в условиях непрерывного изменения физико-химических (энергетических) условий

его жизни. Наконец, четвертым этапом явилось дарвиновское учение. Если концепция гомеостазиса указала на механизмы, действие которых обеспечивает постоянство внутренней среды живого тела, то дарвинизм раскрыл, каким образом это тело способно изменяться, приспосабливаясь к непрерывно угрожающей ему внешней среде.

Эта новая биологическая модель поведения изменила взгляд на функции психики. Они стали рассматриваться с точки зрения их пользы для выживания, приспособления к окружающей среде.

Мы уже отмечали роль дарвиновского учения в становлении категории действия. Намечавшийся в категориальном строе психологического мышления сдвиг к новым рубежам совершался в различных теоретических формах, порой весьма далеких от того, что происходило в биологии. Пояять, как работает сознание, какие функции оно выполняет, — таков был девиз направления, получившего имя «функциональной психологии»¹. Это — широкое течение с размытыми границами и неопределенным идейным статусом.

Как пишет современный американский историк, «в 1874 г. молодой исследователь, стремившийся стать психологом нового стиля, сталкивался с двумя определенными альтернативами — либо «Основы физиологической психологии» Вундта, либо «Психология с эмпирической точки зрения» Brentano»². Имелась и еще одна альтернатива, не известная ни историку, чьи слова мы только что процитировали, ни западноевропейским молодым исследователям начала 70-х годов. В 1873 г. были опубликованы «Психологические этюды» Сеченова, где предлагался

¹ В зарубежной психологической литературе можно встретить мнение, согласно которому функциональная психология (функционализм) — это любое изучение функций сознания, в противовес поэлементному интроспективному анализу. В понятие функциональной психологии в этом случае включаются все исследования, которые не ограничиваются методом самоаблюдения, а применяют также тесты, физиологический эксперимент, объективное описание поведения животных, детей, умственно отсталых, психически больных и т. д. Нам представляется, что столь широкая трактовка функционализма лишает возможность определить реальный исторический смысл функционального направления и объяснить причины появления психологических школ, пришедших ему на смену.

² W. M. O'Neil. The Beginings of modern Psychology. Penguin Books, 1968, p. 65.

приципиально новый план разработки психологии как объективной науки на основе материалистической методологии¹. Но идейно-философская атмосфера в Западной Европе была такова, что запросы логики развития науки преломлялись преимущественно сквозь призму идеалистического воззрения на психику, выступавшего в двух вариантах — структуралистском и функционалистском. Представлению об элементах (содержании) сознания австрийский философ Франц Brentano (1838—1917) противопоставил трактовку сознания как источника актов. Он исходил из (выработанного в средневековой схоластике последователями Аристотеля) учения об интенциональности (направленности) психики, согласно которому психический процесс характерен тем, что в нем всегда сосуществует его объект. Это «сосуществование» выражено в трех формах: а) идеация, т. е. представление объекта в ощущениях и образах; б) суждение о нем как истинном или ложном; в) эмоциональная оценка его как желаемого или отвергаемого.

Для структуралистов предмет психологии — непосредственно испытываемые цвета, звуки и т. п.

Для Brentano — не сами по себе ощущения или представления, и не акты, которые производит субъект (акты представления, суждения и эмоциональной оценки), когда превращает нечто в объект сознания. Вне акта объект не существует. Акт, в свою очередь, предполагает с необходимостью «направленность — на»².

Дифференцировав объектное содержание сознания и операции, посредством которых субъект его актуализирует, Brentano отверг вундтовское понятие о «непосредственном опыте» как конгломерате психических элементов. И здесь выступает рациональный момент его концепции. Ни для субъекта как психической реальности, ни для

¹ Сеченов не был одинок в стремлении объяснить психические акты, исходя из объективных связей организма со средой. В США близкие сеченовским идеи развивал Джеймс Райс. Стихийно-материалистической направленностью отличались работы Т. Рибо (во Франции), Н. Н. Ланге (в России), Серджи (в Италии).

² У Brentano учились и под воздействием его идей находились многие влиятельные западноевропейские психологи: К. Штумпф (1848—1936), Т. Липпе (1851—1914), Э. Гуссерль (1859—1938) — в Германии, А. Мейкопф (1853—1920), Х. Эренфельд (1859—1932), Э. Фрейд (1856—1939) — в Австрии, Д. Уорд (1843—1935) и Г. Стаут (1860—1944) — в Англии.

его действий, имеющих собственный статус, иной, нежели осознаваемые объекты этих действий, в структурализме места не было. Brentano акцентировал субъективность¹ и активность психической жизни человека, однако интерпретировал их сугубо идеалистически.

Сознание человека направлено на реальный, независимо от него существующий предмет. У Brentano же объект феноменален, а не реален, поскольку он обретает бытие благодаря актуализируемости умственным действием, т. е. тем, что исходит от субъекта. Что касается самого субъекта и его действий, то они также трактовались как чисто духовные сущности, отрешенные от реального индивида, его связей с материальной средой.

Мы уже говорили о том, что в последней четверти прошлого века общий облик психологии стал меняться под влиянием эволюционного учения Дарвина. В умах психологов доминирующую роль приобретает теперь новая схема: «организм и среда, к которой он активно приспосабливается»².

Проблема субъективности и активности человеческого сознания, к которой привлёк внимание Brentano, стоявший на позициях неосхоластической философии, переводится на «земной», практический язык молодыми американскими психологами, выступившими под флагом функционализма³ против структуралистического направления, главой которого в США был верный ученик Вундта англичанин Э. Тиченер (1867—1927), создавший в Корнельском университете крупный научный центр.

Тиченер исходил из того, что предмет психологии — «материя» сознания, ее метод — «отшлифованное» путем упражнений самонаблюдение, которое прослеживает, из

¹ Следует различать «субъектность» и «субъективность» в том смысле, что психическое субъективно, поскольку отражает с разной степенью адекватности внешние предметы, и субъектно, поскольку реальность активно воспроизводится и переживается направленным на нее неповторимым субъектом.

² Выдающимся пропагандистом этой формулы был Герберт Спенсор, труды которого оказали влияние на исследователей как материалистической (Сеченов), так и идеалистической (Джемс) ориентации.

³ Провозвестником американского функционализма был Ч. Джемс (1842—1910). Наиболее крупными представителями являлись Д. Дьюи (1859—1952), Д. Энджел (1869—1949), Д. Кеттел (1860—1944), Р. Вудворс (1869—1962).

каких исходных элементов эта «материя» состоит и какие структуры они образуют. Элементы и структуры — таковы два главных термина этого направления исследований, названного Тиченером структурной, или экзистенциальной психологией¹. Говоря об экзистенциальности, Тиченер имел в виду, что психическое — это не смутные и неопределенные блики потока сознания, мелькающие перед внутренним взором субъекта, а область особых реалий — ощущений, образов и чувств. Они и составляют ту «материю», строение которой призвана раскрыть психология. Под сознанием, считал Тиченер, нужно понимать совсем не то, о чем сообщает банальное самоаблюдение каждому человеку. Сознание имеет собственный строй, скрытый за поверхностью его явлений, подобно тому как от обычного ненаучного взгляда скрыты реальные процессы и структуры, изучаемые физикой. Лишь после того как вычленены структуры, можно понять, как они работают, функционируют. Соответственно структурный подход должен предшествовать функциональным объяснениям, которые, по резкому выражению Тиченера, на нем паразитируют.

Тиченеровская школа выдвигала программу разработки психологии в качестве «чистой» науки, которая не интересуется, какие практические приложения будут сделаны из открытых ею законов. Эта программа в корне отвергла ориентацию психологии на решение узкопрактических задач, т. е. именно то, что обеспечивало ее процветание в особенности в США, где она все явственней приобретала прикладной характер. Тиченер утверждал, что функциональная психология — это не наука, функционалист Энджел, возражал ему, говорил, что, быть может, структурализм и чистая наука, но ее чистота куплена дорогой ценой — ценой верности жизни. Основными предписаниями функциональной психологии, в противовес структурной, являются, по Энджелу, следующие: 1) ее интересуют в психической жизни вопросы «как?» и «почему?» — умственные операции, а не «что?» — элементы, входящие в структуру сознания; 2) сознание она трактует как орудие, посредствующее между организмом и средой, как ин-

¹ В дальнейшем в психологии под «структурализмом» стали понимать гештальтпсихологию, а под «экзистенциализмом» — одно из философских направлений (оказавшее влияние и на психологию). Но то ни другое не следует смешивать с концепцией Тиченера.

струмент решения проблем; 3) она исходит из целостного психофизического организма, а не самостоятельной по отношению к организму «материки» сознания. Руководствуясь этими предписаниями, она не может удовлетвориться интроспективным анализом психики, производимым специально тренируемыми для лабораторных исследований испытуемыми, а разрабатывает реальные проблемы — педагогические, диагностические и др.

Действительно, позиция Тиченера была несовместима с запросами, предъявляемыми к психологии социальной практикой. Формула «замкнутый в себе психический мир и его внутреннее наблюдение» не могла стать рабочим инструментом конкретно-экспериментальной работы. Мы уже знаем, что применительно, скажем, к измерению порогов ощущений или времени реакции она не могла быть таковым, поскольку в этих экспериментах определялся не предполагаемый состав сознания, а реальные отношения между психическими актами и внешними (физическими) раздражителями. Там же, где, стремясь неуклонно следовать этой формуле, испытуемые ограничивались фактами самонаблюдения как таковыми, результаты получались неутешительные с точки зрения однообразия, повторяемости и других критериев экспериментальной работы. Показания различных испытуемых существенно расходились. Среди психологов возникали споры. Достаточно напомнить о споре, разделившем интроспекционистов из школы Тиченера и интроспекционистов из школы другого ученика Вундта — О. Кюльпе (1862—1915).

Школа Кюльпе, получившая по названию университета, где он работал, имя Вюрцбургской, положила начало экспериментальному изучению высших психических функций: мышления и воли. Прежде считалось, что мысль представляет собой образование ассоциаций соответственно правилам логики. Лабораторные эксперименты, в которых исследовался процесс решения задач, показали, что ни законы формальной логики, ни законы ассоциации не могут объяснить структуру мыслительного процесса как особого психического феномена. Вюрцбургская школа пользовалась интроспективным методом, но в объяснении экспериментальных фактов разошлась с работавшими этим же методом структуралистами. В ее идеях отразились новые веяния, близкие к установкам функционального направления, по теоретические дискуссии между «вюрцбург-

цами» и «корнельцами» разгорелись не о том, «функция или структура?», а по поводу самой «материи» сознания.

«Корнельцы», придерживаясь мнения, что эта «материя» сенсорна, т. е. состоит из ощущений и их копий — представлений, доказывали, что и в составе мышления нет никаких других элементов. Испытуемые из этой школы ссылались, в подтверждение, на свое самонаблюдение. «Вюрдбуржцы» же утверждали, что самонаблюдение говорит испытуемым совсем другое, а именно, что помимо ощущений (образов) в сознании можно обнаружить несенсорные элементы, лишенные всякой образности, всякой чувственности. И они суть самое главное в мышлении. Годы длилась эта дискуссия, сыгравшая не последнюю роль в том, что самонаблюдение постепенно стало утрачивать кредит в глазах психологов как главный метод психологического исследования.

Формула «замкнутый в себе психический мир и его внутреннее наблюдение» отрицательно сказывалась на прогрессе опытных исследований. Чем упорнее ее отстаивали, тем большую неудовлетворенность и критическую настроенность она порождала. Эта неудовлетворенность быстро росла под влиянием двух отмеченных выше факторов: социальных запросов к психологии и дарвиновской модели организма.

Функциональная психология выдвинула на передний план вместо элементов и структур психические акты, операции, функции. Но само по себе положение о том, что психика есть функция, недостаточно, чтобы определять лицо этого направления. Его характеризует ориентация на эволюционно-биологический способ объяснения. Понятие о функции в биологическом смысле имеет реальное содержание. Вычленение в жизнедеятельности организма ее конкретных форм (дыхания, пищеварения и т. п.) — основа физиологического анализа живой системы. Возможно ли по образцу этих форм представить психические проявления — восприятие, мышление, волю? Трудности, встающие здесь перед психологом, определяются тем, что при изучении органических функций исследователь имеет дело с телесным механизмом, устройство и оправдания которого доступны объективному наблюдению, а от психолога это устройство скрыто. Более того, оно предмет изучения другой науки, ибо относится к физиологической, а не

к психической реальности. Правда, истории науки известны попытки представить психическую функцию по образцу «мозгового пищеварения». Они принадлежали вульгарным материалистам, провозгласившим, что мысль продуцируется мозгом по такому же типу, что и желчь печенью. Но эта концепция, отрицавшая, что детерминация психической деятельности отлична от детерминации желче- или мочеотделения, уже в середине прошлого века была отвергнута, притом не только по философским, но и по конкретно-научным соображениям. Ведь закономерности, установленные в психофизических опытах, при измерении времени реакции, при изучении ассоциативных связей и т. д., имели свои собственные, а не физиологические характеристики.

Какой же в таком случае смысл соединила с понятием функции функциональная психология? Она стремилась рассмотреть все психические проявления под углом зрения их приспособительного, адаптивного характера. Это требовало определить их отношение к условиям среды, с одной стороны, к потребностям организма, с другой.

Понимание психической жизни по образцу биологической как совокупности функций, действий, операций было направлено против механической схемы структурной психологии, видевшей свою задачу в том, чтобы членить сознание до его последних элементов и структур. Ни отношение функций психики к организму, ни их отношение к среде не интересовало структурную психологию, бившуюся за «чистоту» своего предмета и поэтому относившую организм только к физиологии, а среду только к физике.

Функциональная же психология, внедрив в трактовку действия идею его биологически-адапционного смысла, его направленности на решение жизненно важных для организма проблемных ситуаций, соединила с этой идеей вторую — усложнение и развитие поведения под влиянием различных условий и проблем.

Функционализм попытался разрушить воздвигнутые структурной школой препоны к опытному исследованию многообразных психических проявлений — на различных уровнях развития поведения, в нормальном и патологическом состояниях. Были проведены исследования функций восприятия и памяти, навыков и воли, внимания и мышления. Функциональная психология нанесла сильный

удар по классической ассоциативной схеме. Ассоциация, мыслившаяся в виде сцепления элементов внутри сознания, не могла более претендовать на значение универсального объяснительного понятия. Она перемещается теперь на роль одной из форм психической деятельности, хотя и важной, но подчиненной. Утверждение активности характера психики лишило смысла доктрину о параллельности нервных и психических процессов, из которой следовало, что сознание не способно изменять реальный ход телесных действий.

И вместе с тем функциональная психология не смогла сохранить свои позиции и, оттеснив структурализм, сама стала распадаться под воздействием новых теоретических веяний. Этому способствовало многое, в прежде всего все тот же интроспективизм в понимании психики. Для большинства функционалистов он был столь же аксиоматическим постулатом, как и для их противников — структуралистов. Под действием, актом, функцией, как правило, понималось нечто исходящее из внутренней психической «среды», не имеющей по своему составу и строению ничего общего с реальной деятельностью во внешней среде. Вероятно, не будет лишним подчеркнуть, что речь идет именно о том, как понималось действие (функция), как оно теоретически интерпретировалось функциональной психологией, а не о том, как эта категория формировалась в реальном научном поиске, в конкретном изучении психологических проблем.

При своем зарождении в качестве общего понятия об одном из аспектов психической реальности категория действия вовсе не несла на себе печать исключительности в смысле принадлежности одному только сознанию. Она приобрела эту печать в теоретических построениях функционалистов. Здесь действие не могло означать ничего иного, кроме своего рода «излучения» замкнутой в себе психической монады — субъекта. Повторяем, мы имеем в виду не те подспудные, нерасчлененные представления о психической функции, к которым могли склоняться в ходе практической работы исследователи психологических фактов (в особенности при изучении детской психики, психоневрозов и т. д.). нас интересует в данном случае только теоретический срез мышления психологов-функционалистов той эпохи. Никакой иной теории действия (функции) у них не существовало.

Логика разработки психических явлений вела к раскрытию роли действия во взаимоотношениях индивида с внешним миром. Преломилась же она в теории функции (акта) как исходной духовной единицы. Но тогда между деятельностью психической (функцией) и реальным, телесным поведением вырастала стена.

Внутреннее и внешнее, духовное и телесное оказались разъятыми. И задача установления связи между ними до тех пор, пока психическое мыслилось в интроспективном стиле (как то, что представлено только в сознании субъекта), оставалась в принципе неразрешимой. Функциональная психология оказывалась таким же теоретическим тупиком, как и структурная, которую она отвергала. Тупиковый характер ее концепций сразу же вырисовывается, как только мы приложим к ним решающий для всякого научного знания критерий детерминизма. Предполагать, что функции, операции сознания суть его первоначальные силы, ничуть не лучше, чем возводить в ранг первоначала ощущение или образ, как это делали структуралисты.

Активность сознания, его избирательность, подвижность и другие признаки, красочно описанные функционалистами, реальны, а не иллюзорны. Но в том-то и состоит задача научного объяснения, чтобы раскрыть причинные основания этой реальности. Для функционалистов же был типичен телеологизм (т. е. представление об изначально направленной внутренней акте на цель или проблемную ситуацию). С детерминизмом они были не в ладу. Они видели в функциях нечто нерасчлененное, неоткуда не выводимое. Насколько же расходился такой взгляд с физиологическим понятием о функции, применяясь к которому, функциональная психология делала надежду сблизиться с прочно стоявшими на почве опыта науками о жизни.

Индетерминизм американских функционалистов к тому же поддерживался их социально-идеологической позицией. Тезис о том, что действие лепит окружающую среду соответственно интересам индивида, стал боевым лозунгом философии прагматизма, трубадуром которой выступил Джемс. Прагматизм, выравнив умонастроения господствующего класса США, стал его философией. Усиление капиталистической конкуренции и эксплуатации создало культ практицизма и личного успеха. В этой социальной атмосфере интерпретация психических функций как эффек-

тивного орудия борьбы за существование использовалась в качестве естественнонаучного «обоснования» реакционной доктрины, представлявшей, как показал В. И. Левин в книге «Материализм и эмпириокритицизм», вариант враждебного естествознанию субъективного идеализма.

У. Джемс, оказавший большое влияние на американских функционалистов, критиковал физиологическую психологию (персонифицированную им в лице Вундта) за ее искусственность, стерильность, индифферентность к реальным человеческим проблемам. В то же время его критика доходила до открыто нигилистического отношения к экспериментальной работе, психофизическим измерениям (составлявшим тогда ее значительную часть), применению приборов для анализа душевной жизни.

Определение порогов чувствительности, измерение времени реакции, вычленение с помощью специальных приборов первичных элементов сознания и т. д. — все это казалось ему искусственным, не способным схватить самое существо человека и служить ему в качестве инструмента приспособления.

В основе этой критики лежали потребности классовой среды, заинтересованной в том, чтобы «идеи работали», чтобы они обладали «меновою стоимостью», чтобы они были «оплачиваемы» практическими действиями, ведущими к утилитарному успеху, безотносительно к объективной ценности этих идей.

Для возрений Джемса в области психологии была характерна крайняя противоречивость, эклектическое сочетание биологизации психики со спиритуализмом.

Развитие психологии, как мы уже знаем, вело к осмыслению зависимости субъективных феноменов от объективной системы взаимоотношений организма с внешней средой. Одним из психических феноменов, помещаемых обычно в разряд наиболее субъективных, является чувство, эмоция. Джемс выдвинул приобретшую известность концепцию, согласно которой чувство, эмоциональное переживание — это не причина, а продукт телесных изменений, с ним сопряженных: мы опечалены, потому что плачем, испуганы, потому что дрожим и т. д. Восприятие какого-либо события вызывает телесную реакцию, отзвук которой переживается как субъективное состояние. Казалось, здесь утверждается объективный взгляд на детерминацию психических явлений. Первичное — реакция организма в от-

вет на раздражитель, вторичное — изменение во внутреннем мире субъекта, его психических состояниях. Но иллюзия первичности внешней, материальной детерминации немедленно рассеивается, как только мы берем формулу Джемса не изолированно, а в том идейном контексте, в котором она возникла. Задача, приведшая к этой формуле, была связана с идеей о примате волевого усилия, которому приписывалась конечная власть над телесным механизмом. Поскольку для воли крайне затруднительно непосредственно подавлять нежелательные эмоциональные тенденции, она способна достигнуть этой цели другим путем: воздействуя на двигательный аппарат. Совершая по приказу воли внешние телесные движения, противоположные движениям, порождающим эмоцию, которую нужно подавить, индивид и достигает искомого эффекта. Стало быть, конечной инстанцией управления поведением оказывается все та же непостижимая, ни из чего не выводимая сила воли, веками служившая главной цитаделью индетерминизма и волюнтаризма.

Представление Джемса об эмоциях было направлено против версии об их бестелесности, против взгляда о том, что субъективные переживания не могут вызвать объективные физиологические изменения. И вместе с тем это представление сочеталось с доктриной волюнтаризма, в борьбе с которой сложилось и крепло научно-детерминистическое объяснение психики.

В дальнейшем Джемс выдвигает положение о том, что психология не должна заниматься «образами», «идеями» и т. п., поскольку эти феномены как нечто устойчивое отличаются от «потока сознания» — неповторимых состояний, образующих жизнь субъекта. В результате сознание, из которого оказалось изъятым предметно-образное содержание, опустело. И Джемс, ставя вопрос «Существует ли сознание?», отвечает на него решительным «нет!».

Так в американской психологии начался поход против сознания. Это свидетельствовало о тупике, в который вела функционализм идеалистическая философия. Идеализм спекулировал на реальных трудностях развития научного знания; оставляя за субъектом «чистое» действие, он отрицал отражательную природу психики. Философский и социально-идеологический смысл этой идейной ситуации раскрыл В. И. Ленин.

ЛЕНИНСКИЙ АНАЛИЗ КРИЗИСА В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ

Едва только психология обрела самостоятельность, стали раздаваться тревожные голоса об ее кризисе. Они принадлежали как философам, так и натуралистам. Первая книга под названием «Кризис психологии» (1898) вышла из-под пера Р. Вилли¹ — сторонника австрийского психофизиолога, физика и философа Эрнста Маха (1838—1916).

Психология становилась опытной, экспериментальной наукой. За опыт ратовали и Вундт, определивший психологию как науку о «непосредственном опыте», и австрийский философ-идеалист Брентано, программный труд которого назывался «Психология с эмпирической точки зрения». Однако то, что оба понимали под опытом, звучало диссонансом к естественнонаучным представлениям о нем. Они сводили опыт психологии к деятельности сознания, к субъективным феноменам, которым противопоставалось все вещественное, телесное. Дуализм материи и духа пропозывал их учения. Это вызывало естественную неудовлетворенность.

Психология нуждалась в теоретической платформе, которая действительно придала бы ей достоинство точной науки, покоящая бы с расщеплением тела и духа, мозга и сознания. В атмосфере общей неудовлетворенности естествоиспытателей идеалистической метафизикой и выступил Мах.

Он предложил покончить с «удвоением мира», приняв за его первоначало чувственные элементы — ощущения.

¹ Многие высказывания Р. Вилли В. И. Ленин подвергает критике в книге «Материализм и эмпириокритицизм».

Категория чувственного образа представляет, как мы знаем, психическую реальность в ее своеобразном строении. Но в философском воображении Маха образ (ощущение) приобрел смысл элемента, лежащего в основе всей действительности — не только психики (как утверждали сенсуалисты), но и мироздания в целом. Сознание и материя изображались как имеющие один и тот же состав. Приняв этот взгляд, утверждал Вилли, психология избавится от тех, кто, подобно Вундту, Брентано и множеству их сподвижников, считает сознание субстанцией, отличной по своей сущности и от внешних вещей, и от организма, первой системы, мозга. Ведь именно в учении о сознании как обособленном от действительности начале скрыт корневой «грех» психологии, ее разлад с естествознанием, ее бесконечные и бесплодные теоретические распри. Если мир «соткан» из ощущений, то вопросы, над которыми бьются психологи, пытаясь понять отношение между чувственным образом и внешним предметом, между психическим процессом и первым субстратом, суть псевдовопросы, которые обсуждать бессмысленно.

В действительности, как показал В. И. Ленин, вся махистская концепция была псевдорешением реальных проблем. Историческое значение ленинской критики махизма для развития психологической науки исключительно велико. Ленинский анализ проливает свет на особенности и тенденции становления этой науки, на обстоятельства, породившие в ней на рубеже века кризисные явления.

Философия Маха, с позиций которой ее последователи оценивали положение в психологии как кризисное, приобрела в те годы большую известность. Некоторым ученым казалось, что она одним ударом разрушает узел противоречий, назревших и в естествознании, и в психологии.

На кризисные явления в психологии указывали и представители противоположного — материалистического лагеря, в частности известный биолог-дарвинист Э. Геккель.

Отметим, в этой связи, что В. И. Ленин завершает «Материализм и эмпириокритицизм» сопоставлением взглядов Геккеля и Маха. Оценивая с точки зрения борьбы партий в философии книгу Геккеля «Мировые загадки» и всплывшие вокруг нее дискуссии, Ленин писал о Геккеле: «Естествоиспытатель, безусловно выражающий самые прочные, хотя и неопределенные, мнения, настроения

и тенденции подавляющего большинства естествоиспытателей конца XIX и начала XX века, показал сразу, легко и просто, то, что пыталась скрыть от публики и от самой себя профессорская философия, именно, что есть устой, который становится все шире и крепче и о который разбиваются все усилия и потуги тысячи и одной школки философского идеализма, позитивизма, реализма, эмпириокритицизма и прочего конфузионизма. Этот устой — *естественноисторический материализм* ¹.

Геккель, характеризуя ситуацию в психологии, отверг дуализм и параллелизм, но с позиций совершенно иных, чем те, которых придерживались Вилли и другие приверженцы махистской доктрины. Соответственно и геккелевская критика Вундта отличалась от махистской. Геккель сопоставляет взгляды молодого Вундта, опиравшегося на физиологию и естественные науки, с последующими утверждениями его о том, что психические явления независимы от физических и не находятся с ними в причинной связи. Геккель объяснял эту «метаморфозу» возрастным фактором — «в старческом возрасте с мозгом происходит такое же постепенное вырождение, как и с другими органами» ². Объяснение это, конечно, было наивно, ибо истинные причины эволюции Вундта от естествознания к метафизике следовало бы искать в социально-идеологических, а не в индивидуально-органических причинах. Тем не менее заслуживает внимания общий подход Геккеля — его страстная защита естественнонаучной ориентации психологии.

Причиной «того печального факта, что ни в какой другой науке мы не встречаем столь противоречивых и несостоятельных представлений, какие господствуют в психологии по части определения этой науки и ее основных

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 372.

² Э. Геккель. Мировые загадки. М., 1935, стр. 158. Этот вывод Геккеля вызвал раздраженные возражения Г. И. Челпанова. «Назادось бы, — писал лидер русского психосекционизма, — если Вундт нашел пужным переменить свой взгляд, то это произошло оттого, что он за это время обогатился новыми познаниями, но такое единственное возможное объяснение Геккель не допускает» (Г. И. Челпанов. Мозг и душа. СПб., 1903, стр. 365). Нарастание идеалистических и метафизических тенденций в психологическом учении Вундта было связано, вопреки Челпанову, не с «обогащением новыми познаниями», а с общей активизацией реакционных философских школ в конце прошлого века.

задач» ¹, Геккель считал «огромную трудность естественнонаучного обоснования этой дисциплины», недостаточную разработанность знаний о человеческом организме, и прежде всего о мозге, важнейшем органе психической деятельности ².

Итак, отчетливо наметились две линии в трактовке трудностей и противоречий быстро развивавшейся психологической науки. Противоположность махизма материализму естествоиспытателей проявлялась как в общепсихологическом плане, так и в подходе ко всем научным проблемам, в том числе психологическим.

Мах и Авенариус выступали под лозунгами борьбы с идеализмом и субъективизмом. В действительности, как показал В. И. Ленин, махистская философия лишь усугубила кризисную ситуацию, сложившуюся не только в физике, но и в психологии. Как известно, В. И. Ленин был единственным мыслителем, раскрывшим причины и тенденции кризиса в физике, где рушились старые теории и схемы и нарастали революционные сдвиги. Но ленинские выводы не ограничивались одной из областей естествознания. Они касались природы кризисов в науке в целом, сложных и противоречивых отношений между философией и наукой. Вместе с тем ленинские положения развивали диалектико-материалистическое учение о психике, обобщали исторический опыт ее естественнонаучного исследования.

Махисты в своих интерпретациях сдвигов, происшедших в физике, утверждали, будто они используют не обветшалые философские догмы, а научные выводы, установленные психофизиологией.

Показывая несостоятельность махистской концепции, В. И. Ленин вскрывал не только ее истинную философскую подоплеку, но и ложность трактовки психофизиологических данных, которые махизм выставлял в качестве своей естественнонаучной опоры, а также в качестве заслона против неизбежного тяготения естествоиспытателей к материалистическому мировоззрению. Иначе говоря, в нарисованной Лениным общей картине развития научно-философской мысли диалектико-материалистическое объяснение психологических проблем придавалось не менее важное значение, чем объяснению проблем физических.

¹ Э. Геккель. Мировые загадки, стр. 148.

² См. там же, стр. 147.

В. И. Ленин показал, что махизм в ложном свете представил подлинные основания прогресса психофизиологии, что этот прогресс изначально обусловлен той же философской методологией, которая веками определяет продвижение исследовательской мысли на всех линиях естественно-научного фронта, — материализмом.

Одним из центральных ленинских тезисов являлось утверждение неразрывной связи философского материализма с естествознанием и раскрытие необоснованности претензий махизма на то, чтобы быть «новейшей философией естественных наук». «Весь махизм, — подчеркивает В. И. Ленин, — борется с начала и до конца с «метафизической» естествознания, пытаясь этим именем *естественно-исторический материализм*, т. е. стихийное, несознаваемое, неформальное, философски-бессовпательное убеждение подавляющего большинства естествоиспытателей в объективной реальности внешнего мира, отражаемой нашим сознанием. И этот факт облыжно замалчивают наши махисты, затушевывая или запутывая неразрывную связь стихийного материализма естествоиспытателей с философским материализмом как направлением, давным-давно известным и сотни раз подтвержденным Марксом и Энгельсом»¹. Ленинский анализ философской природы и идейной функции материализма естествоиспытателей дает ключ к решению ряда фундаментальных вопросов развития психологии. Обратив внимание на то, что к числу руководящих начал естественноисторического материализма Ленин относит не только определенный взгляд на внешний мир, но и определенный взгляд на сознание, т. е. на психическую деятельность человека.

Мы отмечали выше, что новая опытная психология создавалась руками натуралистов, т. е. людей естествонаучного, стихийно-материалистического склада ума. Именно эта установка и обусловила главные достижения в исследовании психической реальности.

Физиология органов чувств изучала обусловленность сенсорных реакций устройством рецепторов, психофизика соотносила шкалу физических раздражителей со шкалой ощущений, эволюционное учение перенесло центр тяжести с организма, запечатлевающего внешние воздействия, на органы, все органы и функции которого подчинены за-

даче активного приспособления к среде. Новая психология складывалась на путях синтеза этих идей.

Вместе с тем неосознанный стихийный материализм в условиях кризисной ситуации оказывался бессильным перед трудностями, возникшими на пути дальнейшего продвижения научной мысли в природу психических явлений.

В. И. Ленин показал, что единственно надежный методологический компас в этой ситуации дает диалектический материализм.

В отношении психологии это так же верно, как и в отношении физики. Каждая наука соответственно своему предмету развивает собственную систему понятий и продвигается по собственному логико-историческому руслу, у нее возникают свои трудности, отличные от тех, что испытывают другие науки. Но вместе с тем между различными эшелонами научного фронта происходит взаимодействие. Имеются некоторые общие подходы, свойственные в ту или иную эпоху научной деятельности, к каким бы объектам она ни прилагалась. И для физики, и для психологии таким общим подходом в предкризисный период являлась методология механицизма.

Чтобы выйти из кризиса, указывал В. И. Ленин, необходимо преодолеть эту методологию, необходимо перейти к диалектно-материалистическому пониманию главных научных проблем. В психологии таковыми являлись три проблемы, философский анализ которых Лениным обнажает корни кризисной ситуации.

Эти проблемы: психофизиологическая (касающаяся отношений психических процессов к органическим, прежде всего нервным), психофизиологическая (связанная с отношениями образа к его объективному, независимому от сознания прообразу) и психопрактическая¹ (охватывающая комплекс вопросов о роли психических факторов в регуляции предметных действий, а этих последних — в построении внутреннего плана поведения).

Все указанные проблемы получили глубокое философское освещение в ленинских трудах, ставших в дальнейшем методологической основой научных исследований в советской психологии.

В. И. Ленин раскрыл внутреннюю связь между этими проблемами. Из ленинского анализа следует, что причиной

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 367.

¹ От греческого praxis — дело, действие.

кризисных явлений в психологии явилась ее неспособность философски правильно осмыслить данные проблемы и работать такой конкретно-научный понятийный аппарат, который, запечатлев их внутреннюю взаимосвязь, позволил бы ее эмпирически исследовать.

С позиций механицизма ни одна из проблем не могла быть адекватно решена. Механицизм же в течение длительного времени был единственным способом причинного объяснения всех явлений, в том числе психических. Трудностями, возникшими на почве механистической методологии, и воспользовался эмпириокритицизм. Слабость механицизма, его неспособность преодолеть трудности, порожденные самим прогрессом научных исследований, он изображал как свидетельство ограниченности естествознания вообще.

Первым важнейшим вопросом, возникшим, как мы знаем, в связи с обособлением психологии в самостоятельную науку, был вопрос об отношении психических явлений к физиологическим, нервным.

В. И. Ленин уже в первые годы своей деятельности придавал большое значение новому направлению в исследовании психических процессов, которое считало, что развитие психологии должно быть неразрывно связано с естествознанием, нейрофизиологией. Об этом новом направлении Ленин говорил в 1894 г. в работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». Именно здесь мы встречаем характеристику «научного психолога» как исследователя нового типа, отличающегося от «психолога-метафизика». «...Пока не умели припяться за изучение фактов,— писал Ленин,— всегда сочиняли а priori (заранее, независимо от опыта.— *Ред.*) общие теории, всегда остававшиеся бесплодными. Метафизик-химик, не умея еще исследовать фактически химических процессов, сочинял теорию о том, что такое за сила химическое сродство? Метафизик-биолог толковал о том, что такое жизнь и жизненная сила? Метафизик-психолог рассуждал о том, что такое душа? Нелеп тут был уже прием. Нельзя рассуждать о душе, не объяснив в частности психических процессов: прогресс тут должен состоять именно в том, чтобы бросить общие теории и философские построения о том, что такое душа, и суметь поставить на научную почву изучение фактов, характеризующих те или другие психические процессы... Он, этот научный психолог, отбросил

философские теории о душе и прямо взялся за изучение материального субстрата психических явлений — нервных процессов...»¹.

Итак, различие между двумя типами психологов состоит как в исходных понятиях, так и в методах работы. Для психолога-метафизика исходным является понятие о душе (иногда замаскированное другими словами, например «сознание», «мышление», «воля» и т. п.) как самостоятельном начале. Естествознание разрушало такой подход как конкретными достижениями, так и своей методологией. Отвергались любые «самостоятельные начала» в качестве гипотетического исходного пункта для дедукции из этих «начал» конкретных явлений и опытно наблюдаемых фактов.

В. И. Ленин выделяет два отличительных признака деятельности научного психолога: а) его отказ от оперирования категорией души в качестве главного объяснительного понятия; б) его переход к изучению конкретных процессов и фактов на основе физиологического знания.

Стремление придерживаться фактов, отойти от умозрения не могло быть последовательно реализовано, пока анализ психических явлений (даже рассматриваемых в их конкретности, без обращения к душе как особой сущности) носит имманентный характер, т. е. замыкается в пределах осознаваемого или непосредственно переживаемого. Только ~~пыйдя за эти пределы к реальной жизнедеятельности~~ ~~организма, регулируемой нервной системой, психология~~ обретает надежную почву для исследования своих фактов. Очевидно, что этой «почвы» нет внутри самой психологии, трактуемой как учение о явлениях или процессах совпадения. Требовалось обратиться к области, доступной объективному наблюдению и экспериментальному контролю, прежде всего к области физиологии. Поэтому, даже отказавшись от категории души, и соответственно от умозрительного выведения из нее отдельных свойств и способностей, психология не могла стать точной и строгой наукой, пока она не соотносила свои концепции и методы с физиологическими. Всякий иной подход уводил в сторону от научного исследования психических явлений.

Нужно иметь в виду, что уже начиная с XVIII в. стало общепринятым разграничивать психологию рациональную

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 141—142.

(умозрительную) и эмпирическую. Однако сам по себе призыв к эмпирии еще не содержал тех дополнительных ограничений, которые должны были быть введены для придания психологии истинно эмпирического облика. За словом «опыт», как в дальнейшем подчеркивал В. И. Ленин, могут скрываться совершенно различные способы анализа явлений. Научный опыт психологии требует учитывать механизмы нервной деятельности — такова важная мысль Ленина, высказанная им в связи с определением исследовательского профиля научного психолога. Стало быть, отвергался не только умозрительный, дедуктивный подход с его методом разбора «всех известных теорий о душе», но и идеалистический эмпиризм, пользовавшийся большим влиянием в психологии не только в тот период, когда были высказаны рассмотренные ленинские положения, но и впоследствии. Ленин говорит о новом методе в противовес субъективному. Ведь задача психолога усматривается им в том, чтобы взяться «за изучение материального субстрата психических явлений — первых процессов». Решение указанной задачи предполагает перемещение всего психологического исследования в совершенно иной план.

Понимание В. И. Лениным научно-психологического звания как знания психофизиологического было внутренне связано с принципом материалистического мировоззрения, с учением о том, что единство мира состоит в его материальности. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что ленинская характеристика нового типа исследования психической деятельности не только соответствовала общим философским представлениям о психике как функции мозга, но и отражала определенные конкретно-научные процессы в развитии естествознания в определеннейший исторический период, в частности интенсивное использование физиологических методов и понятий при исследовании ощущений, восприятий, сенсомоторных реакций в других психических феноменов.

Упоминание В. И. Ленина о том, что психолог-метафизик волнуется, «слыша, как крутом толкуют о совершенно новом понимании психологии... об особом методе научной психологии»¹, не было риторическим оборотом. Оно отражало актуальный интерес, который проявлялся в те годы

к новым методам исследования психики, к новым представлениям об объекте и задачах этого исследования.

Независимо от того, имел ли В. И. Ленин в виду конкретный учебный или обобщенный тип, в его представлениях о задачах и методах работы «научного психолога» вырисовывалась перспектива разработки новой психофизиологии, изучающей объективными методами целостные перво-психические акты.

Высказанные В. И. Лениным в работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» идеи об опытной психологии, опирающейся на нейрофизиологию, конкретизируются и развиваются в других ленинских работах. Именно на эти идеи опирался Ленин в своей критике махистских попыток представить «новое» понимание предмета и методов психологии.

Вопрос этот, имевший, как показал В. И. Ленин, принципиальное значение для укрепления диалектико-материалистической теории познания, был важен и для оценки перспектив развития конкретной экспериментальной науки, каковой становилась в тот исторический период психология. Ведь адепты махистской философии стремились использовать историческую ограниченность первых попыток внедрить экспериментальные методы в изучение психических явлений.

На дуалистических позициях стояли многие представители так называемой «опытной школы» в психологии, в частности немецкий физик и физиолог Фехнер, немецкий физиолог и психолог Вундт, английский философ и экономист Милль и др. Этим исследователям принадлежат серьезные заслуги в подготовке почвы, на которой психология сложилась в качестве самостоятельной дисциплины. Так, трудам Фехнера были заложены, как уже отмечалось, основы психофизики — науки о закономерных, допускающих математическое обобщение отношениях между физическими стимулами и психическими реакциями — ощущениями. Психофизические методы и результаты имели объективное содержание и именно поэтому обусловили прогресс научного знания о психической деятельности. Методологическая же позиция Фехнера была идеалистической. Он был дуалистом, полагавшим, что у мира имеются две стороны — светлая (духовная) и темная (материальная). Фехнер придерживался концепции так называемого психофизического параллелизма, и он был не одинок

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 4, стр. 142.

в защите этой концепции, суть которой состояла в том, что психическое и физическое трактовались как два независимых друг от друга, но вместе с тем связанных ряда, циклов, никогда не пересекающихся, никогда не взаимодействующих между собой.

Такое было в середине XIX в. кредо многих исследователей, в том числе и создателей экспериментальной психологии. Психофизический параллелизм — тезис о том, что психическое неотделимо от телесного, но не находится с ним в причинной связи, возник еще в XVII в. Он выступал в различных формах, как идеалистических, так и материалистических.

Чем объяснить широкую популярность концепции психофизического параллелизма в период, предшествовавший появлению Маха на философской арене? Эта концепция тогда воспринималась как постулат, отступление от которого означает конфликт с незыблемыми законами естествознания, прежде всего с законом сохранения энергии.

Если допустить, что сознание как непространственный и нетелесный внутренний агент способно воздействовать на тело, придавать ему дополнительную энергию, то этот закон, конечно, нарушается. Как писал один из защитников теории параллелизма, если бы даже один мозговой атом мог бы быть сдвинут совпадем со своего пути на одну миллионную часть сантиметра, то это уже было бы нарушением основных принципов естествознания.

Но, с другой стороны, отвергнуть действительную роль сознания, представить его в виде продукта телесной машины, бессильно оказывать влияние на ее работу (подобно тому как тень пешехода не влияет на скорость его шагов), впадало бы лишить сознание его жизненного смысла, представить его отблеском мозговых процессов — эпифеноменом, а не реальным явлением. Соответственно и наука об этих явлениях — психология теряла сколько-нибудь серьезное значение. Она становилась наукой о «тенях», о фактах, не имеющих никакой реальной ценности.

Параллелизм же, в противовес этой концепции, рассматривался как доктрина, открывающая путь к «мирному сосуществованию» между естествознанием и психологией. Он сохранял силу за законами первого, второй же придавал право на самостоятельность, поскольку область психического выступала на равных началах с телесными явлениями, а не изображалась как их бледная тень.

Успехи психологии, в категориях которой накапливалось позитивное знание о своеобразной реальности, не тождественной физиологической, укрепляли позиции тех, кто, с одной стороны, принимал незыблемость законов естествознания (в частности, закона сохранения энергии), с другой — отказывался признать психику лишь отблеском мозговых процессов.

Но вопрос о том, как соотносятся между собой психическая и физиологическая реальность, оставался загадочным, полным непреодолимых трудностей. Параллелизм расщеплял бытие на две сферы, существующие каждая на собственных основаниях. Здесь был мировоззренческий тупик. Но не только стремление к цельному мировоззрению отталкивало от параллелизма. Несοοобразности на уровне расчлененного, осознанного мировоззрения лишь обнажают трудности и противоречия, которые в неясной, нерасчлененной форме провозывают мысль ученого на уровне его повседневной работы.

Наиболее важное из того, что наполняло психологическое знание реальным смыслом, было приобретено благодаря изучению жизнедеятельности организма и его отдельных систем.

В телесности, материальности этих объектов мог сомневаться разве только крайний идеалист. С точки зрения же психофизического параллелизма выходило, что изучение деятельности органов чувств, двигательных актов, поведения организма в окружающей среде бессильно чем-либо обогатить знание о психике и ее детерминации как таковой, поскольку последнее будто бы являет собой знание об объектах совершенно другого сорта — бестелесных, нематериальных, бессубстратных. Это можно было исповедовать в теории, но с этим трудно было примириться в практике исследования, где несуразность противопоставления психического телесному становилась все более очевидной. Ведь вся практика деятельности экспериментально-психологических лабораторий строилась на различных способах воздействия физическими, материальными раздражителями на организм. О каком параллелизме могла идти речь, когда исследователь только и делал, что непрерывно устанавливал зависимости между внешним и внутренним, объективным и субъективным?

Сколько бы Фехвер ни пастивал на различии между психическим и физическим по сущности, успеха он

добился не потому, что защищал непреложность указанных различий, а в силу совершенно других обстоятельств — раскрытия соответствий, корреляции между двумя порядками явлений — телесными и духовными.

Психофизика строится на использовании специального математического аппарата, с помощью которого описываются количественные отношения между физическими и психическими явлениями. Само по себе внедрение математики в экспериментальную психологию было могучим фактором, придавшим ей серьезное научное достоинство. Однако полученные психофизикой математические уравнения нуждались в определенной причинной интерпретации. В. И. Ленин показал в работе «Материализм и эмпириокритицизм», что математизация науки, в частности физики, может быть использована и в реакционных философских целях.

В математических формулах как таковых предполагаются, но явно и однозначно не выражены причинные связи реальных процессов. Математические формулы, которыми оперировал Фехнер, Мах и другие исследователи в области психофизики, допускали различную трактовку, поскольку сами по себе уравнения говорят лишь о функциональном отношении величин, скажем, величины раздражителя (например, звука) и интенсивности ощущения (например, слухового).

Выше уже отмечались причины, по которым психофизический параллелизм в определенный период развития физиологии и психологии пользовался успехом. Параллелисты настаивали на самостоятельности психических функций организма в противовес концепции, лишающей эти функции реального значения. Вместе с тем они исходили из признания самостоятельности, независимости от сознания внешней природы, физического мира. Параллелизм являлся дуалистическим воззрением.

Дуализм, как мы это видели на примере развития учения об органах чувств, все очевиднее обнаруживал свою несостоятельность. Неудовлетворенность дуализмом была обусловлена не только стремлением передовых естествоиспытателей преодолеть декларированное им отрицание причинной связи между материей и психикой. Дуализм как ложная теория препятствовал и практике исследовательской работы.

Эта неудовлетворенность дуализмом и была использо-

вана Махом и его последователями. Учитель Маха в области психофизики Фехнер, исходил из того, что физический мир существует сам по себе, но причинного влияния на психическое оказать не может. Фактически обнаруженным в практике научного исследования реальным связям между физическим и психическим был придан смысл не причинного, а функционального отношения. Мах усвоил эту подмену причинной связи функциональной, а слову «функция» придан чисто математический смысл. В математике же безразлично, какую величину принять в качестве зависимой, а какую в качестве независимой переменной.

Естественно венами исходило из представления о психике как функции мозгового субстрата. Слово «функция» при этом всегда понималось физиологически и не могло означать ничего другого, кроме деятельности определенного нервного устройства, которое представляет собой материальную систему, неразрывно связанную с остальной природой.

Подменив физиологическую трактовку функции математической, Мах стал утверждать, что представление о психике как функции мозга равноценно представлению о мозге как функции психики.

Махизм входил «в моду» как критик параллелизма, как противник разделения бытия на телесное и духовное. Мах вспоминал, как однажды утром, выйдя в цветущий сад, он вдруг осознал, что вся эта роскошь цветов, звуков и запахов не что иное, как комплекс ощущений. Это «прозрение», ставшее руководящей нитью его последующих философских размышлений, означало отказ от принципа параллелизма. Последний действительно не соответствовал запросам развития науки, в частности психологии.

Но позволяла ли новая схема, нарисованная Махом, не только отвергнуть параллелизм, но и открыть пути продвижения вперед в тех реальных вопросах, исследование которых все больше и больше порождало недоверие к параллелизму? Ведь практика научного исследования ставила ученых перед необходимостью объяснить, каков действительный характер взаимоотношений между двумя уровнями организации жизненных процессов: физиологическим уровнем и психологическим. Философия же Маха могла лишь провозгласить, что различие между указанными уровнями является иллюзорным. Вместе с тем, выступая против параллелизма в теории, Мах оставался его

пленником в своих объяснениях психофизических корреляций в каждом случае, когда приходилось от философской пропаганды переходить к психофизическим опытам. Здесь по-прежнему физическое и психическое рассматривалось как два сопутствующих друг другу ряда явлений, однородных по природе (ведь физическое, по Маху, идентично психическому), но параллельных по характеру взаимоотношений.

Подливный смысл философской концепции Маха был показан В. И. Лениным. За претензиями махизма на позитивную разработку научных проблем и преодоление теоретической путаницы, царившей в умах исследователей нервно-психической деятельности, Ленин различил контуры доктрины, не стимулирующей, а блокирующей прогресс научной физиологии и психологии. Дуалистический, параллелистский взгляд, как показал Ленин, действительно несовместим с логикой развития науки. Но преодолеть он может быть только с позиций, диаметрально противоположных махистским.

Проанализировав различные подходы к психофизической проблеме, В. И. Ленин отверг:

дуализм, противопоставивший сознание материи, душевный процесс его нервному субстрату, идею вещи ей самой;

вульгарный материализм, отрицающий реальность психики, ее активное влияние на ход жизнедеятельности, а на уровне человека — творческую роль сознания;

субъективно-идеалистическое отождествление духовного и материального путем изображения реальных вещей в виде комплексов или рядов ощущений;

энергетизм, стремящийся представить психику в виде особого вида энергии, включенной в общую динамику энергетических процессов в природе (такого рода учение выдвинул немецкий физико-химик В. Оствальд, полагавший, что в природе существует некоторая величина нематериального свойства, которая во всех процессах, как физических, так и психических, сохраняет свое значение, проявляясь в самых различных формах).

В. И. Ленин убедительно показал, почему неприемлемы эти попытки найти подходы к проблеме, от адекватного решения которой зависит успешность разработки психологии как науки и определение характера ее отношений с нейрофизиологией.

Вместе с тем, не ограничившись критикой различных взглядов на мозг и психику, широко распространенных в научно-философской литературе рассматриваемого периода, В. И. Ленин наметил позитивные пути исследования психофизиологической проблемы под углом зрения диалектико-материалистической методологии.

В борьбе против материалистических устремлений естествоиспытателей философы-идеалисты пытались доказать, будто материализм неотвратимо ведет к отрицанию жизненной ценности сознания. В. И. Ленин, анализируя спор между английским философом-спиритуалистом Д. Уордом и физиком А. Риккером, подвергает критике, наряду с другими аргументами Уорда, также его утверждение, будто картина мира, рисуемая естествознанием, лишает психику какого бы то ни было реального значения. «...Нельзя ничем оправдать теорию, — писал Уорд, — утверждающую, что механизм есть основа всего и что он сводит факты жизни и духа к эпифеноменам, то есть делает их, так сказать, на одну ступень более феноменальными, на одну ступень менее реальными, чем материя и движение»¹.

По мнению Уорда, защищаемая натуралистами (в частности, Риккером) теория физических процессов исключает возможность понять сознание как реальное явление, выпуждает отнести сознание к разряду эпифеноменов (т. е. бездейственных, остаточных продуктов движения молекул и атомов).

Ограниченность механистического подхода, неспособного раскрыть действительную роль психического в «механизме» природы, использовалась Уордом и его единомышленниками для борьбы с материалистическим мировоззрением в целом. Против подобного рода аргументации решительно выступил В. И. Ленин. «Это, конечно, сплошной вздор, — подчеркнул он, — будто материализм утверждал «меньшую» реальность сознания...»²

Из ленинского анализа следует, что диалектический материализм вовсе не считает факты жизни и духа «на одну ступень менее реальными, чем материя и движение». Его принципиальное отличие от идеалистических концепций не в отрицании реальности сознания, а в том, что для этой реальности указываются совершенно иные основания.

¹ См. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 296.

² Там же.

Здесь перед нами и выступает внутренняя связь между психофизиологической и психогносеологической проблемой. Нельзя понять действительное отношение психического процесса к нервной системе вне его отношения к внешнему материальному объекту. Неизгладимая печать механицизма лежала в предкризисный период на понимании зависимости психики от мозга, она же отличала трактовку и психогносеологических вопросов. Некогда в русле механистических представлений сложилась так называемая «теория образов», согласно которой от вещей отделяются «тонкие оболочки», которые проникают в мозг по каналам органов чувств. Таково было первоначальное наивно-материалистическое решение психогносеологической проблемы. Гносеологически правильная материалистическая идея о том, что ощущения суть образы предметов материального мира, выступила в ошибочной психофизиологической модели, предполагавшей перемещение (по законам механики) в нервную систему физических копий внешних объектов. Несовершенство этих представлений о механизме чувственного познания выявилось благодаря успехам физиологии. Была открыта специфичность реакции нервной ткани (орган чувств дает сходную по модальности сенсорную реакцию при воздействии на него различными раздражителями; например, зрительные ощущения возникают, когда глаз раздражают не только светом, но и электрическим током).

Факт специфичности свидетельствовал против «теории образов», которой придерживались натуралисты от Демокрита до Ламарка. Но этот факт был возведен в особый «закон специфической энергии органов чувств», из которого сразу же последовали ложные выводы. В период ломки прежних взглядов и возникла школа «физиологических» идеалистов, на историю которой проливает свет лепянского указание о том, что реакционные философские выводы часто делаются в связи с прогрессом науки. В. И. Ленин характеризует «физиологический» идеализм как «тенденцию одной школы естествоиспытателей к... идеалистическому толкованию известных результатов физиологии»¹. Ложность позиции И. Мюллера состояла в идеалистическом истолковании достижений физиологии.

Зависимость ощущения от нервных волокон и определенных участков мозга рассматривалась в качестве единственно заслуживающей внимания. Первичная же обусловленность образа его внешним источником трактовалась как несущественная. В итоге все многообразие цветов, запахов и звуков превращалось в мираж, созданный нашей нервно-психической организацией.

Правильное мнение о том, что ощущение производится нервной тканью (психофизиологическая проблема) сочеталось с ложным взглядом на связь этого ощущения со свойствами внешнего мира (психогносеологическая проблема).

Если рассматривать ощущение только как результат воздействия внешнего раздражителя и не видеть того, что оно, по ленинской характеристике, непосредственно связывает сознание с внешним миром, то остается предположить, что чувственное качество (ощущение цвета, звука и т. д.) способно лишь обозначать внешние предметы, а не отражать их свойства. К такому выводу и пришел Гельмгольц, выдвинув «теорию знаков, или символов».

В «теории образов» неадекватно истолковывалась психофизиологическая проблема, в учении Мюллера и Гельмгольца — психогносеологическая.

Развитие психофизиологии побудило искать способ объяснения того, каким образом «дремлющее» в нервном волокне чувственное качество может выполнять свою жизненно важную функцию — практически ориентировать организм во внешней среде, направлять его действия (этот вопрос относится к психопрактической проблеме).

Но как связать ощущение с внешними условиями, если заранее принята мысль, будто оно заложено в не зависящем от этих условий устройстве органа чувств?

По мнению Гельмгольца, знак или символ, форму которого принимает ощущение, не имея по своему содержанию ничего сходного со свойствами внешних предметов, все же достаточно для того, чтобы обеспечить успех действия. Правильное мнение о том, что ощущения обеспечивают различение свойств среды с целью успешного действия, сочеталось с ложным представлением о знакомом, а не отражательном характере самих ощущений.

Отмечая, что исходная позиция Гельмгольца, в отличие от Маха, является материалистической, В. И. Ленин разъяснил, в чем ошибочность «иероглифизма», «Если

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, стр. 322.

ощущения, — писал он, — не суть образы вещей, а только знаки или символы, не имеющие «никакого сходства» с ними, то исходная материалистическая посылка Гельмгольца подрывается, подвергается некоторому сомнению существование внешних предметов, ибо знаки или символы вполне возможны по отношению к мнимым предметам, и всякий знает примеры *таких* знаков или символов»¹. Действительно, если в ощущениях мы имеем лишь символы, знаки вещей, то ничего достоверного о самих вещах, их подлинных свойствах мы знать не можем. Такой вывод естественно напрашивается из «теории символов». «Я думаю, следовательно, что не имеет никакого смысла говорить об истинности наших представлений иначе, как в смысле *практической* истины, — писал Гельмгольд. — Представления, которые мы себе составляем о вещах, *не могут быть* ничем, кроме символов, естественных обозначений для объектов, каковыми обозначениями мы научаемся пользоваться для регулирования наших движений и наших действий. Когда мы научаемся расшифровывать правильным образом эти символы, — мы оказываемся в состоянии, при их помощи, направлять наши действия так, чтобы получать желаемый результат»². Приведя эти слова Гельмгольца, В. И. Ленин писал: «Это неверно: Гельмгольд катится здесь к субъективизму, к отрицанию объективной реальности и объективной истины. И он доходит до вопиющей неправды, когда заключает абзац словами: «Идея и объект, представляемый ею, суть две вещи, принадлежащие, очевидно, к двум совершенно различным мирам...»»³

И с деятельностью И. Мюллера, и с деятельностью Г. Гельмгольца связаны крупные достижения психофизиологии, преломившиеся, однако, в их взглядах сквозь призму кантовских влияний, которые испытали оба естествоиспытателя. Развитие научного знания требовало новых обобщающих идей. Но идеалистическая философия, на позициях которой стояли Вундт, Brentano и их ученики, давно уже была неспособна к творческим обобщениям. В умах идеалистов царил эклектизм, неоригинальность решений, стремление приладить обломки рухнувших философских систем к запросам естествознания.

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 247.

² См. там же, стр. 245.

³ Там же, стр. 245—246.

В теоретической разработке главных психологических проблем не было никакого прогресса.

Для трактовки психогносеологической проблемы был характерен, как уже отмечалось, дуализм. Утверждалось, что элементы сознания, из которых будто бы строится психическая жизнь, — это ощущения красного, кислого, твердого и т. д., ничем не напоминающие электромагнитные или молекулярные движения в физическом мире.

Подход к психопрактической проблеме отличался крайним субъективизмом: активность субъекта считалась ограниченной пределами внутреннего психического «пространства» (сознания).

Наконец, в понимании психофизиологической проблемы господствовал параллелизм, рассматривавший отношение телесного и духовного по типу внешней и внутренней сторон круга; они нераздельны, но одно не может быть причиной другого.

Таково было положение на уровне господствующих теорий, явно несовместимых с практикой экспериментальной работы. Вместе с тем следует отметить различие между установками Вундта (и других психологов-идеалистов) и установками физиологов, непосредственно осваивающих психическую реальность.

Если изучение психических явлений в недрах физиологии органов чувств вопреки идеалистическим постулатам непрерывно соотносило эти явления с нервным субстратом и внешними раздражителями, то исследователи, считавшие себя уже «чистыми» психологами, доказывали, что право психологии на самостоятельность основано на независимости ее феноменов от физических и физиологических процессов.

Основным объектом собственно психологического исследования считались элементы «непосредственного опыта» — ощущения. Реальное ощущение отражает свойства объекта, являясь его образом. В идеалистических же концепциях категория образа становилась, как это видно на примере Вундта, все более призрачной. В практической деятельности человек непрерывно проверяет адекватность своих образов, их соответствие независимому от сознания объективному источнику. Возможно, однако, что при определенных условиях, отрешившись от деятельности, направленной на решение реальных задач, субъект начнет действовать по инструкции, требующей от него членить

путем самонаблюдения (в физиологической психологии с помощью специальных приборов) содержание своего сознания до исходных элементов. Тогда-то и возникают искусственные продукты, своеобразные арзацы реальных образов — «чистые ощущения», элементы «непосредственного опыта» и т. п.

На поиск этих арзац-образов и устремлял психологическое исследование Вундт. Выдвигая программу построения психологии как самостоятельной науки, он видел ее своеобразие в том, что она берет «факты сознания» в их «чистой культуре», в их прямой данности субъекту, тогда как все другие науки строят на этих фактах объекты внешнего мира. При ближайшем рассмотрении оказывалось, что понимаемое Вундтом под «фактами сознания» и есть не что иное, как лишённые предметности ощущения (т. е. арзац-образы), из которых научной психологии, по мнению Вундта, надлежит воссоздать всю архитектуру душевной жизни. Поскольку «факты сознания» принципиально отличаются по ряду параметров от изучаемой естественными науками внешней природы, то очерчивался круг явлений, которые некому изучать, кроме выбившейся на самостоятельную дорогу психологии.

В действительности психология приобретала самостоятельность на совсем других основаниях. Реальность, на которую паталкивались физиологи, менее всего походила на гипотетические первичные «элементы сознания». Разительное несоответствие имелось между реальными границами психологии и господствующим теоретическим представлением о том, где они пролегают. По вундтовской теории, которая принималась тогда многими психологами, выходило, что границы лежат в пределах того, что доступно для интроспекции. Практика же исследования не только размыкала этот круг, но и вводила в оборот совершенно новые реалии. Те, кто считал, что предметом психологии являются феномены сознания, по существу (конечно, не по злой воле, а по логике движения мысли), вели курс на ликвидацию психологии. На первый взгляд это покажется странным. Но задумаемся, к чему ведет предположение, будто область психического сводится к этим феноменам. Ведь в опыте индивида, фактах его сознания содержится информация о действительности, о бесчисленном множестве внешних явлений. О чем еще помимо этого могут сообщать «факты сознания»? Но если

в них ничего больше не содержится, то что остается на долю психологии? Знание о действительности — это знание о физических, химических, биологических, социальных и других объектах. Собственный объект психологии испарялся. Правда, он испарялся лишь в рассуждениях о нем, а не в движении исследовательской мысли, которая, вопреки дуалистическим и субъективистским воззрениям, вовлекала в круг своего анализа действительные связи между явлениями сознания и внешней реальностью. Таким образом, все более обострялось несоответствие между действительными достижениями в разработке основных психологических проблем и их теоретической интерпретацией.

Научный прогресс вскрыл несостоятельность вундтовской программы разработки психологии. Но столь же несостоятельным и несовместимым с естественнонаучным подходом к нервно-психической деятельности был махистский проект преодоления дуализма и параллелизма.

Так же как и для Вундта, для махистов исходной являлась категория образа («ощущения»). Но Вундт стремился отгородить его в качестве особого феномена, изучаемого одной только психологией, от физических и физиологических явлений, тогда как Мах под предлогом борьбы с дуализмом и субъективизмом представил всю действительность построенной из одних и тех же якобы «нейтральных», по существу же, как показал Ленин, психических, духовных элементов.

Среди работ, детально рассмотренных В. И. Лениным, была и статья Авенариуса «Замечания к понятию предмета психологии». В ней, в противовес представлению о том, что предмет психологии — это феномены сознания как «бесплотные обитатели» черепной коробки, утверждалось, что в действительности эти феномены (например, ощущения) по своей природе нейтральны к разграничению психического и физического. Приписывая мозгу психику, мы, согласно Авенариусу, совершаем недопустимую «интроспекцию» (вкладываем в нервные клетки то, чего там нет, — образы, подменившие в этой схеме внешние объекты) и ставимся тем самым на позиции субъективизма и дуализма.

В. И. Ленин раскрыл фиктивность того способа преодоления дуализма, который прокламировали эмпириокритики. ««Дуализм», — подчеркивал он, — оказывается

опровергнутым *идеалистически* (несмотря на весь дипломатический гнев Авенариуса против идеализма)... Дуализм опровергнут здесь Авенариусом лишь постольку, поскольку «опровергнуто» им существование объекта без субъекта, материи без мысли, внешнего мира, независимого от наших ощущений, т. е. опровергнут *идеалистически...*! Авенариус выдавал себя за сторонника объективного подхода, защитника естественнонаучных взглядов и т. д. И русские махисты, как писал Ленин, поверили «на слово той оценке интроспекции, которая дана самим Авенариусом, не заметив *жала*, направленного против материализма»².

Жало, направленное против материализма, было вместе с тем нацелено и против психологии как науки, изучающей образный аспект психической деятельности в его зависимости от внешних раздражителей, первого субстрата и предметной деятельности. Критика Авенариусом «интроспекции» отрицала причинную зависимость «элементов» (ощущений) от мозга. Иначе говоря, отрицалось, что психика производится мозгом, является его функцией. Каким же образом появился в галерее философских идей этот вывод, который к тому же высказывался в атмосфере бурного развития знаний о физиологических механизмах психических явлений? В общей логике развития махистской концепции он становится понятен. Если считать, что область психического складывается из ощущений (чувственных образов), а сами ощущения отождествить с реальными вещами, которые в них воспроизводятся, то представить такого рода «психику» в качестве функции мозга действительно невозможно. Если не проводить различий между образом вещи и ею самой, то действительно становится загадочным, как все богатство внешнего мира может разместиться в полутора килограммах мозговой массы.

Философия, для которой ощущение и вещь одно и то же, лишает реальности не только вещь, но и ощущение. Ибо ощущение — такая же реальная функция организма, как и нервный процесс, имеющая свои механизмы и закономерности, отличные, с одной стороны, от чисто нервных, а с другой — от законов, по которым движется объектив-

ный мир, воспроизводимый в чувственных образах. Махистская философия, по сути дела, лишала чувственные образы смысла психической реальности. Тем самым усиливая, которые вкладывались в естественнонаучное изучение этой реальности, оказывались перечеркнутыми. К устраниению чувственного образа как собственно психологической категории и пришел Авенариус в рассмотренной выше критике «интроспекции». Казалось, в противовес интроспективному учению, которое переносило внутрь субъекта и замыкало в пределах его сознания все богатство внешнего мира, восторжествовал объективный подход. Утверждалось, что ощущения — это не феномены сознания, а феномены внешней по отношению к субъекту среды. Но мы уже знаем действительную цену этой мнимой объективности. Перед нами организм, из которого удалены образы и вообще сознание (поскольку последнее немислимо без образов, идей, предметного содержания). Перед нами среда, где реальные вещи подменены удаленными из сознания образами. Странный, причудливый мир, созданный игрой философской фантазии. Социально-идеологический смысл этой «игры» был прослежен Лениным.

Декларируя «психичность» мира, махисты вовсе не имели в виду интересы психологии как специальной науки. Они пытались решать сугубо философские задачи. В психологических же теориях эти решения не только не открывали перспектив преодоления дуализма, но, напротив, усугубляли методологическую путаницу, обостряли кризисные явления.

Различие психики и мозга, вещи и образа (при единстве материальной основы) не вымысел, не фикция. Отрицание же этого различия (Max), равно как и трактовка его в качестве различия по сущности (Вундт), ведет к пагубным последствиям не только в философии, но и в конкретной науке — психологии. Эксперимент достигал успеха там, где выяснялась зависимость психических эффектов от воздействий на нервный субстрат (органы чувств и мозг), т. е. где различие психического и первого в отношении между ними исследовались, вопреки махизму, как реальные, а не иллюзорные. Точно так же никакие рассуждения по поводу того, что чувственный образ и его материальный прообраз тождественны, не могли снять с повестки дня конкретной исследовательской рабо-

¹ В. Я. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 87—88.

² Там же, стр. 87.

ты вопрос о том, каково соотношение между изучаемыми в лаборатории фактами сознания и вызывающими их внешними стимулами. То высшее свойство материи, которое называется психикой, ни по своему бытию (т. е. онтологически), ни по своей познаваемости (т. е. гносеологически) не может быть оторвано от других проявлений бытия, противопоставлено им. Поэтому там, где предметом естественнонаучного анализа становится указанное свойство, познающая мысль должна руководствоваться теми же критериями, на которые она опирается, проникая в чисто физические процессы, т. е. объективным, причинным подходом. Только подход к психическим функциям мозга с позиций материалистического монизма позволит адекватно решить вопрос о том, каково место психического среди других явлений.

Материалистический монизм противостоит идеализму и дуализму, полагающим, будто психическое занимает уникальное, ни с чем не сравнимое положение во Вселенной. В действительности психическое — это не особое начало, отделенное пропастью от телесного бытия. Раскрытие его природы предполагает изучение функций органов чувств и мозга — тех материальных аппаратов, деятельность которых производит психические процессы и состояния.

Идеализм является, как это показано В. И. Лениным, не только противником научного мировоззрения, но и главным препятствием к конкретному анализу психических явлений, к определению их действительной роли в поведении живых существ.

Диалектический материализм, не отрицая реальности различий между психическими и физиологическими процессами, позволяет раскрыть подлинное внутреннее единство всех проявлений материи — духовных и телесных — и в то же время понять отношение сознания к внешнему миру во всей его сложности и противоречивости.

В противовес махистской концепции «нейтральности» материального и духовного он настаивает на их гносеологическом противопоставлении, без которого теряет смысл различие между материализмом и идеализмом. Вместе с тем, как подчеркивал В. И. Ленин, противопоставление материи духу «не должно быть «чрезмерным», преувеличенным, метафизическим...». «Пределы абсолютной необходимости и абсолютной истинности этого относительного

противопоставления суть именно те пределы, которые определяют *направление* гносеологических исследований. За этими пределами оперировать с противоположностью материи и духа, физического и психического, как с абсолютной противоположностью, было бы громадной ошибкой»¹.

Дидген, разъясняя материалистическое учение о «головой работе человека», отмечал, что человеческий орган познания — это кусок природы, отражающий другие куски природы. Он говорил о «зеркалоподобном инструменте», который отражает вещи реального мира. Цитируя эти высказывания Дидгена в защиту материалистической теории познания, В. И. Ленин вместе с тем отклоняет те формулировки, которые могут дать повод к игнорированию принципиального гносеологического различия между материальным и духовным.

В свое время вульгарные материалисты полагали, что можно разрубить сложный узел противоречивых мнений вокруг вопроса о соотношении психики и материи одним ударом — отождествить сознание с физиологическими процессами в мозгу. На первый взгляд тем самым восстанавливалось единство сознания и бытия: в мире нет ничего, кроме механического движения материальных частиц, и мыслительная активность представляет собой лишь одно из проявлений этого универсального движения. Однако подобный взгляд являлся фиктивным решением проблемы. Он строился на предположении о том, что мозг является своего рода энергетической машиной. Но из энергетики мозга никакими силами невозможно извлечь воспроизводимое в образах богатство предметного мира.

Весь последующий ход психофизиологии показал, что главные достижения в этой области знания были обусловлены преодолением как вульгарно-материалистических, так и идеалистических представлений.

Но что означало преодоление тех установок, о которых идет речь и которые в свое время воспринимались как два полюса, на веки вечные ограничивающие амплитуду движения научной мысли? Прежде всего, оно требовало разрушить традиционные системы представлений как о физическом, так и о психическом. Пока предполагалось, будто возможности познания телесных процессов ограничены

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 259.

сферой механического движения, а возможности познания психических процессов ограничены сферой переживаний субъекта, никакого существенного продвижения психофизиологической мысли не могло быть достигнуто. Идеализм был заинтересован в том, чтобы увековечить эту ситуацию. Но вопреки идеалистическим устремлениям нарастали сдвиги в понимании как организма, так и его психических функций.

Достижения эволюционной биологии преобразовали взгляд на организм. В нем видели теперь гибкое, приспосабливающееся к среде устройство. Психика же представлялась не в виде замкнутого внутреннего мира, а как система направленных на внешнюю среду жизненных функций. Вместе с тем, чтобы объяснить, не покидая почвы материалистического монизма, в чем же состоит истинный смысл различий между объектами, изучаемыми науками о физическом мире, и психофизиологией, нужно было раскрыть существенные признаки, свойственные психофизиологическим процессам, как таковым. Определяющий признак психического, согласно Ленину, состоит в отражении, т. е. в построении с помощью нервных аппаратов и в процессе практической деятельности более или менее совершенных образов (чувственных и умственных) движущейся материи.

В марксистско-ленинском учении идея о том, что единство мира состоит в его материальности, нераздельно связана с принципом отражения. Их внутренняя связь является краеугольным камнем диалектико-материалистического мировоззрения. Любая попытка отступить от этих кардинальных принципов неминуемо ведет не только к ложным философским построениям, но и к тупиковым ситуациям в разработке основных проблем нервно-психической деятельности. Как только отступают от принципа материалистического монизма, психическое сразу же из функции мозга становится особой сущностью, отношением которой к материальному субстрату становится совершенно непостижимым. Как только отходят от принципа отражения, то даже в тех случаях, когда признается неотделимость психики от мозга, ее производность от телесного устройства, становится невозможным объяснить, каким образом все многообразие чувственных качеств может быть выведено из динамики импульсов в нервной системе.

Ленинские указания чрезвычайно важны в том плане, что раскрывают роль материалистического монизма как методологического принципа естественных наук (в том числе психофизиологии) на протяжении всей их истории. Но в различных социально-исторических условиях этот принцип приобретал различный смысл, различную направленность.

Диалектический материализм обогатил трактовку этого принципа исходя из опыта развития наук о природе, обществе и человеческом сознании. Материальное единство мира было понято иначе, чем в предшествующий период, когда за образец и идеал научного объяснения принимались законы механического движения макротел. Принцип отражения также наполнился новым содержанием. До возникновения марксистской философии механистический взгляд являлся, как уже отмечалось, исходным для естественнонаучного истолкования не только природы, но и ее познания, ее отражения в мозгу.

Ограниченность домарксистского взгляда на отражение использовал в своих интересах идеализм. Механистический материализм, как в понимании внешней природы, так и в понимании отражения человеком внешнего мира, исходил из принципов механики. Идеалисты воспользовались этим для утверждения, что идея отражения якобы по самой своей сути механистична и сводит восприятие к пассивному акту, в то время как сознание является активным процессом. В противовес этой и поныне весьма распространенной и популярной в кругах противников марксистской философии версии В. И. Ленин развил идею отражения в стройную теорию и показал, что отражательный характер человеческого познания отнюдь не означает отрицания его специфичности и активности. Напротив, именно в теории отражения познавательная деятельность человека впервые адекватно истолковывается как активный процесс, неразрывно связанный с общественно-преобразовательной практикой.

Отметив, что в философии махизма «практика — одно, в теории познания — совсем другое»¹, что они ставятся в ней в лучшем случае рядом, В. И. Ленин подчеркнул, что только включение критерия практики в основу теории познания раскрывает подлинную природу челове-

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 142.

ского познания и соответствует материализму. Именно это обстоятельство со всей очевидностью раскрывает исторический характер познания, исконную активность этого процесса, его динамику. Поэтому более чем странным выглядят попытки некоторых современных авторов, считающих себя материалистами и даже марксистами, приписывать ленинской теории отражения игнорирование или недостаточный учет активности процессов познания.

Отражение при этом трактуется как физический термин. Но такая трактовка не имеет ничего общего с марксистско-ленинским представлением о познавательном процессе, который от истоков до вершин остается компонентом активного взаимодействия живых существ с окружающим миром. Этот общий подход раскрывает нераздельность образа и действия. Вместе с тем теория отражения подчеркивает, что наши восприятия и представления, получаемые благодаря органам чувств и мозгу, детерминированы внешними воздействиями и соответствуют объективной природе вещей. «Для всякого естествоиспытателя, не сбитого с толку профессорской философией, — писал В. И. Ленин, — как и для всякого материалиста, ощущение есть действительно непосредственная связь сознания с внешним миром, есть превращение энергии внешнего раздражения в факт сознания... Софизм идеалистической философии состоит в том, что ощущение принимается не за связь сознания с внешним миром, а за перегородку, стену, отделяющую сознание от внешнего мира, — не за образ соответствующего ощущения внешнего явления, а за «единственно существующее»¹.

Простейшие психические акты уже у животных возникают в процессе биологического, а не механического взаимодействия. Они, как подчеркнул В. И. Ленин, обслуживают потребности организма и неразрывно связаны с его жизнедеятельностью, с ориентировкой в окружающей среде, поскольку возникают в процессе приспособления, который современная биология трактует как активный процесс, а не как механическое «уравновешивание».

Если уже на уровне поведения животных отражение носит активный характер, то с переходом к человеку, сознание которого изначально формируется в борьбе с си-

лами природы, в непрерывном преодолении внешних и внутренних барьеров на пути к реализации своих целей, активность отражения, выраженная в продуктивной творческой деятельности, достигает высшего уровня. Диалектицист, отмечал В. И. Ленин, переход не только от материи к ощущению, но и от ощущения к мысли. Каждый новый переход в развитии форм познания есть переход ко все более глубокому отражению окружающего мира.

Отражение в контексте философской теории есть философской, а не физический термин. Он означает представленность в мозгу объективной реальности, а не нервных процессов, посредством которых такое отражение осуществляется. Подобно тому как положение о том, что внешний мир существует независимо от нашего сознания, остается незабываемой истиной, как бы ни менялись наши конкретные знания о нем, точно так же идея отражения реальности в человеческом мозгу остается незабываемой относительно к эволюции конкретных представлений о механизмах отражения.

Критики марксизма стремятся представить теорию отражения в виде одной из преходящих концепций. Они игнорируют различия между философским учением об отражении внешнего мира посредством психофизиологических аппаратов с конкретными представлениями об их устройстве и функционировании.

Само понятие об отражении они примитивизируют, трактуя его в духе архаических, давно отживших своих взглядов. Между тем развитие психологии не только не лишило теорию отражения научного значения, но, напротив, подтвердило ее жизненность.

Ленинская теория отражения предполагает, что каждый субъективный образ имеет объективный источник, реальные характеристики которого воспроизводятся в социальном нервной тканью образе с различной степенью адекватности, подобия.

В. И. Ленин указывал на необходимость различать два вопроса: «...вопрос о том, как именно при помощи различных органов чувств человек воспринимает пространство и как, путем долгого исторического развития, вырабатываются из этих восприятий абстрактные понятия пространства» и совсем другой — «единственно философский вопрос» — «вопрос о том, соответствует ли этим восприятиям... объективная реальность, независимая от челове-

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 46.

чества»¹. Сказанное Лениным о способах восприятия и осмысления пространства относится к отражению внешнего мира в целом.

Свой путь в качестве самостоятельной науки психология начинала с психофизических и психофизиологических лабораторных опытов, структура которых не позволяла раскрыть активно-приспособительный характер психических функций. Вопрос о психической регуляции поведения приобрел крайнюю остроту в связи с успехами генетических исследований, а также под влиянием быстро умножавшихся контактов психологии с практикой — педагогической, медицинской, индустриальной. На передний план теперь выдвигалась приспособительная функция психических актов. Акцентируя эту функцию, прагматизм пытался доказать, будто ее реализация не зависит в отображении условий и ситуаций действия, какими они существуют объективно, сами по себе. Действие «творит» мир, «творит» истину соответственно потребностям субъекта. Эта философская установка повлияла на психологические исследования, в частности, как мы видели, на развитие американской функциональной психологии. Неправоммерность попыток противопоставить чувственное (и интеллектуальное) постижение объекта приспособительным актам, практическим операциям, была показана В. И. Лениным. «... Человек, — писал он, — не мог бы биологически приспособиться к среде, если бы его ощущения не давали ему *объективно-правильного* представления о ней»².

Представление о том, будто мозг — это простой отражательный аппарат, работающий под механическим воздействием внешних раздражителей, давно отошло в прошлое.

Диалектический материализм намечает общий философский путь трактовки отношений между нервным процессом и процессом психическим, между образом и предметом, образом и реальным предметным действием. Эта трактовка, определяемая принципами материалистического монизма и отражения, не подменяет конкретно-научные схемы, но, напротив, требует их дальнейшей теоретической разработки, опирающейся на экспериментальные исследования.

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 194.

² Там же, стр. 185.

Природа психической деятельности выступает в ленинской теории отражения в единстве трех аспектов: органического, предметно-образного и практически-действенного.

Мы видели, с какими трудностями столкнулась психология в силу того, что эти аспекты под влиянием идеалистической философии оказались разъятыми и противопоставленными друг другу.

Отъединив образ от порождающих его телесных механизмов и от предметной деятельности, интегральным моментом которой он является, концепции типа вундтовской или брентановской (а именно они воспринимались тогда как главные психологические теории) привели к тому, что психология, не успев родиться в качестве самостоятельной дисциплины, уже утрачивала свой предмет.

Спекуляции вокруг проблемы ощущения, приведшие к тому, что на место реального образа, отражающего внешний объект, были поставлены пресловутые «элементы», создавали, как мы видели, впечатление, что у психологии будто бы вообще нет своей специальной области позитивного исследования.

Операция, проделанная махизмом с категорией образа, привела к тому, что образ как таковой перестал рассматриваться в качестве предмета собственно психологического изучения.

Махизм разъял и ложно истолковал образ и действие, их неразрывную связь. Краеугольный камень всех построений Маха и Авенариуса — постулат о «нейтральности» образа, о том, что «комплекс ощущений» и принимаемое за материальную вещь — одно и то же. Этот постулат мог защищаться лишь потому, что игнорировалась роль предметного действия в построении самого образа.

Стоит только завязать по отношению к образу позвцию «внутреннего наблюдателя», следящего за собственным сознанием, как моментально мы оказываемся в западне нитроспекционизма. Сознание, переключенное с внешних объектов на внутренние, имеет перед собой только образы и поэтому бессильно различить, что относится к психическому (падающему на долю субъекта), а что к физическому (существующему независимо от субъекта). Махистское отождествление образа и вещи, стало быть, было обусловлено, по сути дела, нитроспективной феноменологической установкой. Их разграничение в принципе невозможно провести внутри замкнутого в самом себе сознания.

Оно непрерывно проводится в сфере практики, в ежесекундных жизненных встречах организма со средой.

Вместе с тем если признать, что образы идентичны вещам и потому не могут считаться материалом одной только психологии, то что же ей в таком случае изучать? В «полном опыте», по Авенариусу, следует разграничить два ряда событий: независимый и зависимый. «Элементы» (ощущения), взятые сами по себе, безотносительно к субъекту (организму), образуют независимый ряд. Им психология не занимается. Он — объект естествознания. Соотнесенные же с субъектом (организмом) ощущения составляют ряд зависимый, который и образует область психологии.

Но, устранив образ из системы организма, Авенариус, по существу, оставил за ней одни только телесные реакции. Концепция квазиобразов сочеталась с концепцией квазидействий. Почему «квази»? Да потому, что образы, отъединенные от своего предметного содержания и от деятельности, которую они обслуживают, утрачивали реальную «фактуру», точно так же ее утрачивали и действия, отъединенные от образа, а тем самым от единственного «инструмента», который способен их ориентировать и регулировать.

Идею о том, что чувственно-образные элементы существуют независимо от субъекта и лишь соотносятся с ним, вскоре восприняли американские философы, назвавшие себя неореалистами. Они (совместно со сторонниками прагматизма) создали атмосферу, в которой сложилось психологическое направление, предложившее разделиться с образами как с чем-то субъективным и мистическим; провозгласившее, что предметом психологии является не сознание, а поведение (бихевиоризм). С его появлением кризис психологии на Западе приобрел еще большую остроту.

На развитии психологии, как отмечалось, тяжело сказывался разлад между движением научной мысли по пути познания психической реальности, с одной стороны, и теоретическими концепциями, пытавшимися его осмыслить и прогнозировать, с другой. Но неверно было бы представлять этот разлад только как несоответствие между шаткими теоретическими конструкциями и надежными фактами, между эклектическими теориями и фактическим составом науки. В действительности обострилось несоот-

ветствие между теориями и категориальным строем научного мышления, от которого этот состав неотделим.

Работа, кипевшая в лабораториях, клиниках и детских комнатах, не просто привела к образованию больших запасов информации о конкретных феноменах. Она создала и шлифовала тот определенный (категориальный) аппарат, благодаря которому стало возможно знание о самих фактах, не говоря уже о познании механизмов, структур и закономерностей психической деятельности. Вместе с тем важно подчеркнуть, что, поскольку психологические школы на Западе в эпоху империализма складывались в условиях обострения философской реакции, на их теоретических концепциях лежит неизгладимая печать идеализма. Влияние этой философии пагубно сказывалось на развитии психологической мысли, еще более заглушало противоречия.

Так, позитивная разработка психофизиологической, психофизиологической и психопрактической проблем была связана с огромными трудностями, с которыми психологическое исследование сталкивалось повсеместно. Им нельзя было просто быть пренебрежительно. Нельзя было, не обращая внимания на философские «ловушки», успешно двигаться дальше, ибо эти «ловушки» находились не на далекой периферии психологии, а в центре ее конкретной работы.

В. И. Ленин показал, что различие философских, мировоззренческих позиций определяет принципиальные расхождения в трактовке коренных вопросов науки. Ложно интерпретируя вопрос об отношении психики к материи, махизм «отходит в сторону от правильного пути». Материализм же напротив, «ясно ставит перепенный еще вопрос и тем толкает к его разрешению, толкает к дальнейшим экспериментальным исследованиям»¹. Диалектический материализм наметил общий философский путь трактовки отношений между нервным процессом и психическим, образом и предметом, образом и действием. Эта трактовка, определяемая принципами материалистического мировоззрения, принципами диалектико-материалистической теории отражения, не подменяла конкретно-научных схем, а, напротив, требовала их теоретической разработки, опирающейся на экспериментальные исследования.

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 40.

О ДВУХ ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ИССЛЕДОВАНИЙ, СОМКНУВШИХ ПСИХОЛОГИЮ С ПРАКТИКОЙ

Два направления психологической работы: а) исследование научения (т. е. приобретения новых форм поведения) и б) психодиагностика стали стержневыми уже на рубеже века, и с тех пор развивались наиболее интенсивно. Их развитие стимулировали запросы практики. Вторжение психологии в жизнь, ее реальное воздействие на поведение людей, изменение (а не только описание) психических явлений, предсказание их возможного хода — все это резко повышало ценность научных представлений о душевной деятельности.

Пока эти представления оставались на уровне чисто теоретического знания, хотя бы и опирающегося на эксперимент, пока не видны были перспективы их приложения к тому, «чем жив человек», психология не могла упрочить свою репутацию самостоятельной науки. Выход же в практику наиболее резко обозначился именно на указанных двух участках.

Начнем с проблемы научения. Ее исследование выявляло факторы, благодаря которым образуются новые элементы в наличном составе психической жизни.

Укрепилась уверенность в том, что, овладев этими факторами, удастся на основе теоретической схемы (а не житейского опыта или интуиции, как прежде) заменять поведение, конструировать («выкраивать») его по определенным образцам.

Идея не была новой. Она давно уже стимулировала развитие ассоциативной психологии — учения, согласно которому вся архитектоника человеческой души создается

путем образования и разветвления связей (ассоциаций) между исходными элементами — ощущениями. Эта доктрина, сложившаяся еще в XVII в. (ее родоначальником был материалист Гоббс, а наиболее ярким и последовательным «разработчиком» применительно ко множеству конкретных вопросов материалист XVIII в. Гартли), доминировала также и в период становления психологии как самостоятельной отрасли знаний.

Преимущество учения об ассоциациях состояло в попытке объяснить, как возникают новые знания и новые действия, иначе говоря, как индивид приобретает опыт — научается. Речь шла не о таинственных и спонтанных силах души, а об элементах опыта, которые возникают при воздействии раздражителей на органы чувств, а затем соединяются в результате повторения. И возникновение ощущений и их повторение поддавались объективному учету, контролю, управлению. Не от внутренних психических импульсов или способностей, а от внешних влияний, их распределения во времени и т. д. зависел получаемый эффект, т. е. упрочение ассоциации. Эта теория не предполагала никаких загадочных величин. Напротив, она объясняла такие загадочные явления, как, например, переход от одной мысли к другой или совершение действия, не имеющего видимой причины, образованием ассоциативных сцеплений, каждое звено которых имеет опытное происхождение. Очевидно, что подобная схема была несравненно привлекательнее для естественнонаучного ума, чем учение о способностях души, по поводу природы которых можно было лишь гадать.

Но, несмотря на свои явные преимущества, ассоциативная концепция в ее «классических» формах к концу прошлого столетия испытывала тяжелые трудности. Шел процесс ее оттеснения с позиций главного учения о психической деятельности человека в целом.

Здесь не место рассматривать эти трудности. Отметим лишь, что свойственные ассоцианизму атомарность и механистичность подвергались с различных сторон острой критике. Самые верные защитники ассоцианизма отступают от намеченной им строгой и четкой картины душевной жизни.

Ассоциативная психология была детищем механики XVII—XVIII вв. — галилеевской, декартовской, ньютоновской. Механическая модель в психологии рушилась под

напором новых запросов. Она уступала место, как уже отмечалось, биологической модели — дарвиновской.

О роли дарвинизма в открытии психической реальности мы уже говорили. Применительно к видовому поведению дарвинизм выдвинул на авансцену психологической теории значенные генетически детерминированные побудительные сил — инстинктов. Но учение о происхождении видов не только объясняло их изменчивость. Оно предполагало также определенный взгляд на изменчивость организма как индивидуальной системы. Подчиненность этой системы общебиологическим родовым законам не снимает проблему индивидуального приспособления. Проблема же эта является как физиологической, так и психологической. Физиология к моменту появления дарвинизма вырвалась вперед под путеводной звездой физико-химических законов. Организм представлялся только под одним углом зрения — как энергетическая машина. При исследовании работы органов приспособления к среде — рецепторов, нервной системы и эффекторов идеалом также считался строго механистический подход.

Привлекая своей неумолимой враждебностью к витализму, он, однако, ставил в тупик, когда в орбите физиологии оказывались неподатливые для механистических схем феномены. В этих случаях слабость механистических схем побуждала обращаться к субъективно-психологическим.

Такая ситуация наблюдалась и в учении о рефлексе, и в учении об органах чувств.

При этом там, где жесткая рефлекторная дуга оказывалась бессильной перед фактами изменчивого целесообразного поведения, функция корректировки относилась за счет сознания. Там, где сенсорная реакция рецептора сама по себе была недостаточна, чтобы объяснить, например, как возбуждение сетчатки превращается в зрительное восприятие, в роли конструктора образа выступала душа. Еще в большей степени механистический характер физиологического мышления той эпохи препятствовал разработке проблемы приобретения организмом новых способов реагирования — тех, что незапрограммированы изначально в телесном устройстве. И не удивительно. Ведь обучаемость, адаптивная изменчивость, выработка новых программ не были свойственны энергетическим машинам, служившим образцом для физико-химической

физиологии. А другой научной физиологии и другого причинного объяснения жизни в додарвиновский период не сложилось. Машины сами собой не развиваются, не накапливают и не воспроизводят опыт. Предполагалось, что слабости машины живого тела компенсируются ее психическими способностями.

Единственным психологическим учением, пытавшимся объяснить, не отступая от принципа причинности, как приобретается опыт и как он может восстанавливаться в сознании без непосредственного воздействия извне, и была в то время ассоциативная психология.

Она имела известную опору в житейском опыте, давно уже подметившем, например, что предмет, принадлежащий какому-либо человеку, может напомнить о нем самом, что «повторение — мать учения» и т. п.

Общая же схема строения сознания, разработанная ассоцианизмом, оставалась умозрительной. Предпринимались попытки «привязать» ее к нервной системе, соотнести «идеи» с отдельными нервными клетками, в соединении которых искали телесное основание связи идей. Однако перевод ассоциативных представлений на физиологический язык лишь усугубил подозрение в их умозрительности. Не было достоверных физиологических фактов, на которые можно было бы опереться с целью подтвердить исходную гипотезу. Тем не менее именно ассоциативный принцип послужил вначале компасом для экспериментальной разработки проблемы научения, ибо физиология тогда еще не была подготовлена к исследованию механизмов накопления нового опыта (а тем самым и индивидуального приспособления)¹. Психология же решилась взяться за эту задачу и добыть первую проверенную опытом информацию о законах, лежащих в основе научения.

Одним из инициаторов разработки этой проблемы был немецкий психолог Г. Эббингауз (1850—1909). Случайно в маленькой книжной лавке в Париже он натолкнулся на книгу Фехнера «Элементы психофизики». Доказательство того, что можно приложить количественный

¹ Теоретические соображения об этих механизмах высказывались многими физиологами. К экспериментальному анализу факторов, ответственных за вариативность, адаптивность нервной деятельности, обратились школы Сеченова и Шеррингтона. Впервые развернул исследование механизмов приобретения новых реакций И. И. Павлов.

анализ к психическим явлениям, было откровением для юноши, еще не выбравшего свой путь в науке. Он решил идти дальше — от ощущений к более сложным процессам — запоминанию и воспроизведению. Тем самым в зоне экспериментальной психологии появилась проблема научения. Правда, сам Эббингауз считал, что он исследует старую классическую тему — память. Его книга, ставшая рядом с книгой Фехнера, называлась «О памяти» (1885). Но действительное значение его исследований не ограничивалось областью памяти как совокупности возникающих в сознании процессов запоминания, узнавания и воспроизведения (они и по сей день относятся к познавательным процессам). По существу, Эббингауз установил некоторые наиболее общие закономерные особенности приобретения организмом новых сенсомоторных реакций. Экспериментальная модель, изобретенная им, была довольно оригинальной. С целью заучивания «чистых» ассоциаций он придумал бессмысленные слоги. Это были единицы, состоящие из двух согласных и гласной между ними. С какой целью Эббингауз избрал для опытов подобные квазиречевые «кванты»? Он исходил из того, что осмысленные слова (из которых построена обычная человеческая речь) вызывают у каждого множество различных ассоциаций. Поэтому они не могут быть использованы в качестве однородных элементов, остающихся во всех случаях тождественными себе единицами — равными по величине. Итак, Эббингауз искал психические атомы. Но очевидно, что по своему составу они существенно отличались от психических атомов предшествующих психологов. Не ощущения в виде первичных фактов сознания, открытых для одной только интроспекции, а проговариваемые (объективно фиксируемые) слова выдвигались на роль исходного психического элемента. С помощью этого нового материала Эббингауз пытался найти ответ на вопрос о зависимости успешности заучивания, например, от длины списка слогов, количества повторений, времени, прошедшего после заучивания, и т. д. Все величины точно измерялись, благодаря чему были получены таблицы и кривые, ставшие классическими. Единицы, которыми оперировал Эббингауз, лишь внешне походили на действительные элементы человеческой речи. Но, чтобы прорваться в область высших психических проявлений, нужно было сперва вычленив общий для всех них момент научения, усвоения.

Лишь после этого можно было выработать научную схему, охватывающую их специфику.

Сила ассоциативной теории состояла в том, что она уловила самые общие закономерности приобретения организмом опыта, осмыслив их первоначально в «механических» категориях. Частота повторений и их временной порядок — таковы были координаты, в которых размещалось многообразие опыта. И эти координаты не являются фикцией — они действительно универсальны для всех процессов поведения.

Слабость ассоцианизма была обусловлена тем, что оно различив общего и специфического, прямолинейно их отождествил. При каждом новом столкновении со специфическим вспыхивала неудовлетворенность исходной картинкой, дававшая повод противникам причинного воззрения ставить его в целом под сомнение.

Изобретение Эббингауза позволяло перейти от теории к эксперименту. По существу, оно было первым собственно психологическим методом, созданным психологом, поскольку всеми предшествующими методами экспериментальную психологию снабдили другие области, главным образом физиология.

Веками психология руководствовалась учением об ассоциации. Теперь оно поступило в лабораторию на экспериментальную проверку. Гальтон и Вундт занялись этой проверкой почти одновременно с Эббингаузом, а результаты своих опытов опубликовали даже раньше его. Но на стороне Эббингауза было принципиальное преимущество. Оно состояло в переходе к объективному методу. Вундт, как известно, считал устранение интроспекции из психологии бессмыслицей. На такую «бессмыслицу» и решился Эббингауз. Требования передать объективному методу неограниченные полномочия выдвигались и до него. Но он разработал и применил этот метод на практике. При изучении ассоциаций в вундтовской и других лабораториях опыты ставились над многими испытуемыми. Эббингауз все исследование провел на самом себе. Он применил по отношению к себе объективный метод в ту эпоху, когда по отношению к другим было принято применять субъективный (интроспекцию). В этом случае испытуемый не интроспектировал — он действовал. И его действия отражались в кривых, показывавших реальные зависимости количества усвоенных единиц от частоты их повторения,

распределения во времени, объема заучиваемого материала и т. д. Такова была, в частности, знаменитая «кривая забывания» Эббингауза, говорившая о том, что наибольший процент забытого падает на период, который следует непосредственно вслед за заучиванием. Эта кривая приобрела значение методического образца, по типу которого строились в дальнейшем кривые выработки навыка, решения проблемы и др.

Таким образом, независимо от намерений самого Эббингауза его метод изменил характер деятельности экспериментатора, которого начинают интересовать не столько высказывания испытуемого (отчет о том, что говорит ему внутреннее наблюдение), сколько его реальные действия.

Напомним, что двумя главными разделами экспериментальной психологии до Эббингауза были исследования сенсорной функции (ощущений) и времени реакции. Ни то ни другое направление не соединялось с мыслью о возможности изменять психическую деятельность человека.

Весь смысл законов психофизики состоял в том, чтобы выявить строжайшие зависимости между ощущениями и стимулами. Речь шла именно о психофизических константах, отступление от которых (допустим, снижение порогов чувствительности) могло рассматриваться с этих позиций только как нарушение закона. Применительно ко времени реакции господствовал такой же подход. И здесь шел поиск констант — постоянных показателей, характерных для времени простой реакции в ее отличии от реакции различения, выбора и др. Вся процедура базировалась на предположении о том, что время, необходимое для каждой из форм реакции, должно различаться в определенных стабильных границах. Иначе бы, конечно, разделение этих форм реакции утрачивало всякий смысл.

Эббингауз также искал общую закономерность, опираясь на точный опыт и подсчет. Но переменные, которыми он оперировал, позволяли организовать действие, манипулировать им и проверять эффекты манипуляций. Количество и качество элементов, предъявляемых для усвоения, их порядок, частота повторений — все находилось в руках экспериментатора, искавшего ответ на вопрос, как приобретаются новые связи реакций.

Успехи экспериментальной психологии в этой области позволили ей распространить свою власть вслед за эле-

ментарными на более сложные уровни психомоторной активности организма. А через анализ факторов научения шел путь к практике управления поведением.

Таким образом, логика науки (в лице учения Дарвина) подвела к необходимости объяснить, как организм, отвечая на требования среды, приобретает новые формы реагирования, новые способы общения с ней. К исследованию резервов и механизмов человеческого приспособления к новой действительности побуждала в свою очередь и социальная почва. Наступила эпоха империализма. Противоречия, свойственные капиталистическому способу производства, обострились, усугублялись. Социальные антагонизмы преломились в противостоявших друг другу идеологических и философских концепциях человека.

Неравномерность и своеобразие общественного развития в различных странах обусловили существенные расхождения в направленности психологической мысли. Так, рассматриваемая нами проблема механизмов научения — приращения нового опыта — приобретала различные формы в двух странах, ставших основными центрами ее разработки, — России и Соединенных Штатах Америки.

Характерная для каждой из этих стран идейная атмосфера наложила свою печать и на исследования поведения.

В капиталистической Америке идейная атмосфера была иная, чем в России, где острота общественных коллизий в пореформенный период вызвала крайнюю поляризацию классовых сил. Знаменем революционных кругов служило материалистическое мировоззрение, ковавшееся в напряженной полемике лучших умов русского общества с различными доктринами о двойственности человеческой природы, самостоятельности духовного начала и т. п. За философскими спорами стояли коренные различия в понимании вопроса о том, какими путями должно идти обновление России, каковы предпосылки освобождения обездоленных народных масс. Признание определяющей роли за материальными условиями требовало борьбы за их коренное изменение. Эту борьбу обесмысливали различные доктрины о первенстве души как противостоящей всему земному существу. Их проповедники обвиняли материализм в низведении человека до уровня животного и машины.

Таковы были условия, в которых И. М. Сеченов стал властителем дум молодого поколения. Он, опираясь на научный опыт, отстаивал концепцию человека как цельного существа, телесные и нравственные проявления которого образуют нераздельное единство. Он, как мы видели, не только не сводил психические процессы к чисто телесным «апсихическим» актам, но одним из первых в истории научной мысли показал реальную и все возрастающую с усложнением жизни роль психических регуляторов организации поведения. Ничто так не было ему чуждо, как вульгарно-материалистическое учение, не видевшее в психике ничего, кроме химических реакций в мозгу. Для него лейтмотивом являлось не нигилистическое отношение к сознательности, интеллектуальности и волевому характеру человеческого поведения, а стремление поставить на научную почву объяснение этих психических качеств. Идея нераздельности физиологического и психического служила не только обоснованию цельности материалистического мировоззрения. Она имела и практический смысл. Не самоусовершенствование «в сфере духа», а реальное приобретение тех качеств, которые делают человека, по выражению Сеченова, «рыцарем», утверждающим в реальной жизни высшие нравственные идеалы, — такова программа, заложенная в этой идее.

Таким образом, вопрос о детерминации человеческого поведения приобретал жгучий общественно-политический смысл, но он вместе с тем, как мы уже знаем, имел новый научный аспект в связи с реконструкцией биологии, развивавшейся под знаком дарвиновских идей. Задача состояла в том, чтобы объяснить не только как организм совершает целесообразные приспособительные действия, изменяя их соответственно изменению внешних условий, но и как он усваивает, сохраняет вновь выработанные системы действий. На первый вопрос Сеченов сумел дать ответ своим учением о сигнальной регуляции (чувствование как сигнал). Что же касается второго вопроса — проблемы научения, то здесь он оставался в пределах теоретических соображений. В одной области, правда, он проследивал проблему научения на экспериментальном материале. Мы имеем в виду область зрительного восприятия. Сеченов доказывал, что мышца «обучает» глаз. Воспринимаемые чувственные образы складываются постепенно на основе двигательного опыта, а не даются изначально. На

уровне чувственного познания происходит то, что уже в наши дни стало называться «перцептивным научением». Сеченов представлял гипотетически механизм такого научения, соотнося его с «бессознательными умозаключениями» Гельмгольца. Эта гипотеза, как бы смыкавшая ощущение и интеллект, физиологию и логику, еще не могла, однако, превратиться в программу лабораторных исследований. Проблема научения в конкретно-научном плане оставалась неразработанной.

Но время настоятельно требовало овладеть ею. Мы видели, как привялся за нее с позиций экспериментальной психологии Эббингауз. В России же наступление на нее с позиций неврологии и физиологии принесло всемирную славу двум преемникам Сеченова — В. М. Бехтереву (1857—1927) и И. П. Павлову (1849—1936). Для обоих исходной схемой были сеченовские «Рефлексы головного мозга». Оба сложились в социально-политической атмосфере русского общества, где материалистический и детерминистический взгляд на сознание и волю воспринимался в передовых кругах как гармонирующий с высшими нравственными идеалами. На рубеже XX столетия И. П. Павлов, к тому времени уже известный своими работами в области физиологии пищеварения, приступил к изучению условных рефлексов. Первое сообщение об этих опытах — речь на одном из общих собраний Международного медицинского конгресса в Мадриде в апреле 1903 г. — он назвал: «Экспериментальная психология и психопатология на животных». Стало быть, условно-рефлекторное поведение организма рассматривалось И. П. Павловым первоначально как объект экспериментальной *психологии*, а не физиологии.

Труд В. М. Бехтерева, в котором методика выработки новых рефлексов хотя и отличалась от павловской, но строилась на сходных идеях¹, назывался «Объективная психология». Ни у Павлова, ни у Бехтерева, следовательно, с самого начала не было сомнений в том, что они изучают психические, а не чисто физиологические или чисто нервные явления. И если в дальнейшем Павлов отнес

¹ Различие состояло в том, что Павлов использовал пищевое подкрепление, и рефлекторным эффектом в этом случае являлось слюноотделение, тогда как Бехтерев применял болевой раздражитель, эффект же, естественно, выражался в двигательной реакции.

свои исследования к учению о высшей нервной деятельности, а Бехтерев — к рефлексологии, то объяснялось это терминологическими мотивами, а не отказом от изучения психической реальности. Как тот, так и другой стремились к эмансипации научного мышления от давления интроспективных представлений, осевших в традиционных терминах.

И. П. Павлов подчеркивал, что обычное разделение на физиологическое и психологическое неприменимо к разрабатываемому им понятию об условном рефлексе. Оно соответствовало не привычным членениям, а своему объекту, отличному как от чисто телесных отправлений, так и от «феноменов сознания», какими они даны самонаблюдению. Каков же этот объект? Сказать, что он не исчерпывается ни физиологической самой по себе (в ее допавловском понимании), ни традиционной психологической схемой, недостаточно. Ведь это отрицательное определение, тогда как весомость понятия определяется его положительно новым содержанием.

Классический опыт по выработке условного рефлекса описывается в школьных учебниках. Он сводится к следующей схеме. Секреторный эффект — выделение слюны в ответ на раздражение пищей первых окончаний полости рта — может быть вызван и другим, до того не имевшим к пищевому рефлексу никакого отношения, внешним раздражителем. Это наблюдается при условии, если новый раздражитель приобретает смысл сигнала. Для этого, в свою очередь, необходимо, чтобы он предварял непосредственное воздействие пищевого раздражителя, сочетался с ним известное число раз. В результате становится возможным управлять работой эффектора (слюнной железой) самыми различными сигналами — зрительными, слуховыми, осязательными и т. д. Если рассматривать феномен условного рефлекса только с его внешней стороны, то перед глазами выступит общеизвестный факт — «у голодных животных и у человека при виде еды, разговоре о ней и даже при мысли о ней начинает течь слюна»¹.

Но факт житейский и факт научный представляют различные уровни познания действительности. За слюноотделением в ответ на условный сигнал стоит сложней-

шая система отношений, отображенная в разработанных Павловым понятиях. В этих понятиях представлены две нераздельные, но различные реальности — физиологическая и психическая. Поэтому нельзя ограничивать историческую роль Павлова одной лишь областью физиологии, т. е. считать, что им исследовались только физиологические механизмы психической деятельности, а не она сама¹. Из поля зрения сторонников такого взгляда выпадает павловский вклад в преобразование психологического знания как такового, его категориальных оснований. В этом случае все сводится к выводу, будто ценность этого вклада в том, что была намечена физиологическая канва — схема динамики процессов возбуждения и торможения в больших полушариях и оставалось лишь по этой канве выводить взятые из другой науки представления о восприятии, мышлении, воле и т. д.

Вопрос о роли Павлова в развитии психологической мысли XX в. требует специального разбора. Отметим, в частности, что одно из самых крупных течений зарубежной психологии — американский бихевиоризм сложился под влиянием Павлова и единодушно рассматривает его и поныне как своего родоначальника. Вместе с тем, как мы увидим далее, бихевиоризм декларировал неприемлемость физиологических объяснений в психологии, т. е. именно тех объяснений, без которых нет павловского учения. Между позицией Павлова и позицией американских психологов, считавших себя его преемниками, имелось коренное идейное расхождение.

Значит ли это, что позитивное влияние Павлова на мировую науку ограничено областью физиологии и не распространяется на прогресс психологических исследований?

Адекватно понять значение Павлова в эволюции психологической науки можно лишь при условии преодоления (открытого или неявного) мнения о том, что ее предметом служат только процессы или явления сознания. Лишь покинув «пространство» феноменов внутреннего мира и обратившись к психической реальности, мы и обнаруживаем изменения во взглядах на нее, связанные с павловским учением.

¹ Известный повод для такого мнения дал сам И. П. Павлов, одно время даже бравший с сотрудников «штраф» за употребление психологических терминов вместо физиологических.

¹ И. П. Павлов. Полн. собр. трудов, т. III, М., 1949, стр. 17.

Известно, как высоко И. П. Павлов ставил ассоциативную концепцию. Он воспринял и развил ее традиции. Но эта психология, как уже отмечалось, в силу ее интроспекционизма, атомизма и механицизма вступила в конфликт с новыми запросами и веяниями.

Мы знаем, что Эббингауз стремился изучить, как образуются сочетания (ассоциации) сенсомоторных реакций в их «чистой культуре». Он умышленно отвлекался в своих экспериментах от мотивов поведения, его смысловых компонентов. Моделировалась только одна сторона поведения — количество усваиваемых «единиц», порядок и частота их повторения. Все это, по сути дела, укладывалось в механическую схему.

Разрабатывая экспериментальную психологию на животных, Павлов от механической схемы перешел к биологической. Два принципиально новых фактора вводятся им в объяснение образования новых связей (ассоциаций) — сигнальность и подкрепление. Понятие о сигнальности от Сеченова. Хотя Сеченов не смог экспериментально показать его роль не только в саморегуляции, но и в усвоении новых форм поведения, он предвидел такую возможность. Павлов перешел от общих предположений к опытному исследованию механизмов научения. Это был большой шаг вперед.

Понятие о сигнале ответвилось от понятия о раздражителе. Различие между этими понятиями хорошо выражено в современном разграничении «информационных» и «энергетических» процессов. Внешний стимул непременно имеет энергетические, физико-химические параметры. Пока анализ ограничивался только ими и не принимались во внимание другие параметры раздражителя — информационные, его действие на нервную систему можно предсказать только по типу влияний, свойственных неорганическим телам, т. е. по типу внешнего толчка. Так оно и было в досеченовских теориях рефлекса. Благодаря информационным параметрам раздражителя становится возможным различение условий действия, осведомление о них. Здесь мы оказываемся в той сфере, к которой относятся и психические явления. Разве жизненный смысл ощущений не состоит в том, чтобы информировать о среде, различать ее свойства? Предпосылкой различения служит устройство органа чувств. Однако ограничиваясь им, мы не выходим за пределы наличных констант орга-

низма, тогда как научение есть приобретение новых констант, расширяющих диапазон приспособления живого тела.

Главная сила павловской схемы в том, что она раскрыла, как образуются эти новые константы — условные рефлексы. Рычагом их формирования служит подкрепление, т. е. включение фактора, от которого зависит, быть или не быть организму. Только благодаря подкреплению раздражитель приобретает сигнальное значение, один раздражитель отличается (дифференцируется) от другого и т. д.

В руках экспериментатора находятся все переменные, манипулируя которыми можно вызвать реакцию, задержать ее, отсрочить, соединить с другой, словом, управлять поведением, придавать ему нужное направление. Новые (приданные организму согласно определенному плану) формы реакций возникают с такой же машинообразной правильностью, с какой, например, зрачок сужается в ответ на световой сигнал.

Идея машинообразности говорила о строго причинном подходе, а не о том, что поведение подведено под законы механики. Механическому взаимодействию неизвестны ни сигнальность, ни подкрепление. Мышление Павлова было глубоко биологично. Именно это обстоятельство и позволило проникнуть в систему реальных отношений, от которых зависит приобретение организмом нового опыта, экспериментально управлять данной системой. Свои исследования условных рефлексов Павлов называл первоначально «психическими опытами». Такое выражение в эпоху, когда под психикой понимались события внутреннего субъективного мира, не могло не резать слух. Однако последний ход развития науки показал, что категории, исходя из которых и сквозь призму которых он развивал свою экспериментальную программу, захватывали не только физиологический, но и психический уровень жизнедеятельности.

Понятие сигнала, конечно, не является атрибутом одного только психологического мышления. Оно очень широко. На нем базируется кибернетика, имеющая своим предметом любые сложные саморегулирующиеся системы. В психологии понятие сигнала (как множества состояний его посетителя, упорядоченного соответственно множеству состояний источника) разрабатывается применительно к

категории образа. Не всякий сигнал является образом, но образ непременно выполняет сигнальную, информационную функцию. Информировав о свойствах среды, образ вместе с тем сигнализирует об их значении для жизнедеятельности. Только благодаря безусловному раздражителю, который осуществляет «деловое отношение» между организмом и средой, условный раздражитель приобретает функцию сигнала. Но что есть подкрепление, если не удовлетворение актуальной потребности организма? Потребность же относится к области мотивации. Стало быть, по крайней мере два аспекта психической реальности — образ и мотивация — были представлены в павловской схеме. Что касается третьего, неотделимого от них аспекта — действия, то с ним дело обстояло сложнее. По ряду соображений Павлов избрал в качестве эффектора не двигательную реакцию, очень неустойчивую, с трудом поддающуюся регистрации, а секреторную — работу подчелюстных слюноотделительных желез. Конечно, и они осуществляют взаимодействие между организмом и средой, но в совершенно ином плане, чем мышечная система. Известно, что подопытное животное у Павлова закреплялось к стенке. В целях чистоты эксперимента оно лишалось двигательных контактов со своим окружением. Между тем именно эти контакты, как показал Сеченов, создают, говоря современным языком, «петлю обратной связи», проверяют адекватность действия его пространственно-временным условиям и т. д.

Значит ли это, что учение об условных рефлексах не внесло новых моментов в трактовку такой фундаментальной психологической категории, как действие? Если бы действие являлось изолированной, независимой от других сторон поведения структурой, влияние павловского учения на категориальный строй психологии ограничивалось бы мотивацией и образом. Но действие не автономная единица. Образ и мотив служат его неизменными регуляторами. Поэтому, проследившая сигнальную функцию образа и ее зависимость от мотивационного, энергетического «заряда», определяющего исход реакций, Павлов тем самым намечал новый подход и к конечному эффекторному звену рефлекса, чем бы ни являлось это звено — секрецией железы или мышечной работой. Естественно, что изобретенная Павловым экспериментальная модель накладывала известные ограничения на исследование це-

лостного поведения. Напомним, что центральным для этого исследования являлось изучение вопроса о том, как образуются новые единицы поведения (условные рефлексы), обеспечивающие все более тонкое и точное приспособление организма к среде, «уравновешивание с ней», как любил говорить Павлов. Новые единицы и есть акты научения. Чему же научался организм, каковы были его приобретения? Очевидно, что ни новым эффекторным реакциям, ни новым потребностям (мотивам) он не научался. Они во всех случаях сохраняли свойственное безусловному рефлексу постоянство. Животное научалось опознаванию и различению условных раздражителей, отбору жизненно значимых сигналов и соединению их с приспособительным ответом. Его научение охватывало информационный (познавательный) аспект жизнедеятельности. При этом между осведомительной и исполнительной информацией имелась непосредственная связь. Каждое новое приобретение немедленно отражалось в объективно наблюдаемом поведении. Этот момент необходимо специально подчеркнуть, поскольку в дальнейшем в США возникли бихевиористские познавательные теории научения, в которых между образом и действием легла пропасть.

Павловское учение на многие годы стало образцом объективного анализа поведения, в том числе и его психических компонентов¹.

Мы кратко охарактеризовали выше идейную среду, в которой велись в России споры о душе и теле, о психических явлениях и их детерминации, о рефлексах головного мозга и т. д. Эта среда придавала развитию материа-

¹ В нашу задачу не входит описание физиологических возрений И. П. Павлова, его представлений об аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий головного мозга, динамике процессов возбуждения и торможения, локализации функций и т. д. Конечно, физиологическая часть павловского учения в его собственной системе неотделима от того, что можно было бы назвать психологической частью, однако, поскольку в контексте данной работы речь идет о развитии категориального строя психологического знания, мы основное внимание уделили тем сдвигам, которые происходили именно в этом строе (в представлениях о мотивации, образе и действии) под влиянием учения об условных рефлексах. Мы считаем это тем более важным, что до сих пор, как правило, с Павловым связывают только разработку физиологических основ (механизмов) психической деятельности, оставляя без внимания новые подходы к ней самой.

листьевых идей такую последовательность и непримиримость, как ни в какой другой стране.

Была отмечена также связь этих идей с социальной практикой — с насущными запросами освободительного движения. Соответственно вопрос о причинных факторах поведения, о возможности его преобразования по научному образцу имел вполне определенный социальный смысл, окрашенный высокими идеалами гуманизма, которыми жила русская интеллигенция.

Вырабатывая условные рефлексы у собаки, измеряя количество капель слюны в пробирке, Павлов за этим искал не только схему образования связей в мозгу подопытного животного, но и ключ к законам человеческой натуры, к преобразованию человеческих отношений. Вот что он сам писал об этом: «...Я глубоко, бесповоротно и неискоренимо убежден, что здесь главнейшим образом, на этом пути окончательное торжество человеческого ума над последней и верховной задачей его — познать механизмы и законы человеческой натуры, откуда только и может произойти истинное, полное и прочное человеческое счастье... Только последняя наука, точная наука о самом человеке — а вернейший подход к ней со стороны всемогущего естествознания — выведет его из теперешнего мрака и очистит его от теперешнего позора в сфере межлюдских отношений»¹.

Иные, чем в России, социальные обстоятельства торжили формирование исследований психической деятельности в США. Эта страна, в силу своеобразия исторических условий ее развития, быстро вырвалась в ряд передовых капиталистических стран. Проблема научения, выработки и закрепления новых форм поведения в быстро меняющейся среде, с резкими колебаниями конъюнктуры и шансов на успех, становится остро социальной. Концепция человека соединяется с идеей экономической выгоды. Отсюда утилитаризм и прагматизм в исследовании первопсихических ресурсов человека. Возможности управления поведением рассматриваются под углом зрения извлечения прибыли, а не формирования свободной личности, ведомой высшими идеалами, как мыслилось тем, кто защищал детерминизм и объективную психологию в России.

Одним из первых в США на путь исследования психической деятельности объективными методами встал зоопсихолог Э. Торндайк (1874—1949).

«Интересно, что американцы, судя по книге Торндайка, — писал Павлов, — вышли на новый путь исследования иначе, чем я с моими сотрудниками... Деловой американский ум, обращаясь к практике жизни, нашел, что важнее точно знать внешнее поведение человека, чем гадать об его внутреннем состоянии, со всеми его комбинациями и колебаниями. С этим выводом относительно человека американские психологи и перешли к ...опытам над животными. Это и до сих пор дает себя знать в характере производимых исследований: и методы и решаемые вопросы как бы берутся с примера человека»¹.

Стремясь к предельно объективному анализу реакций животных, Павлов также имел в виду жизненно важные для человека цели. «Полученные объективные данные, руководясь подобием или тождеством внешних проявлений, наука перепесет рано или поздно и на наш субъективный мир и тем самым сразу и ярко осветит нашу столь таинственную природу, уяснит механизм и жизненный смысл того, что занимает человека всего более — его сознание, муки его сознания»². «Муки сознания» не тревожили Торндайка и тех, кто пошел проложенным им путем. Через десять лет после цитированной павловской речи была провозглашена, как мы увидим, первая программа бихевиоризма, потребовавшая выбросить сознание за борт научной психологии.

Ощущая запросы практики, «деловой американский ум» Торндайка вместе с тем продвигался в направлении, которого требовала логика разработки нового психологического объекта.

В биологии, как мы знаем, тогда намечался сдвиг от исследования видового поведения животных к его индивидуальным вариациям. Ученых начинает интересовать своеобразие поведения отдельных особей при выработке ими приспособительных реакций. Предпринимаются попытки экспериментального анализа того, как млекопитающие учатся преодолевать трудности в ситуациях, для овладения которыми недостаточны прирожденные автома-

¹ И. П. Павлов. Полн. собр. трудов, т. III, стр. 20.

¹ И. П. Павлов. Полн. собр. трудов, т. III, стр. 19.

² Там же, стр. 37.

тизмы (Ллойд-Морган, Гобхауз и др.). Тема «навыки животных» оттесняет тему «инстинкты».

Испытуемыми Торндайка были кошки, а затем и другие млекопитающие. Кошка помещалась в «проблемный ящик», из которого она могла выйти, только приведя в действие специальное устройство — нажав на пружину, потянув за петлю и т. д. Животные совершали множество беспорядочных движений, пока одно из них случайно не оказывалось правильным.

Слепые пробы, ошибки и случайный успех — таков, по Торндайку, путь научения, которое подчиняется двум основным законам: 1) упражнения — чем чаще повторяется двигательная реакция на данную ситуацию, тем прочнее связь между ними; 2) эффекта — если реакция, ведя к хорошему эффекту, вызывает удовлетворение, то она приобретает тенденцию к тому, чтобы вновь повториться при возобновлении прежней ситуации.

Дальнейшая разработка проблемы научения обнаружила, однако, слабость и ограниченность торндайковской концепции. Стало очевидно, что «слепые» пробы и ошибки бессильны объяснить даже поведение животных, ибо и на этом уровне приспособление к среде немислимо без информации о ней, т. е. без ориентирующих и регулирующих двигательную активность образных структур. Что же тогда говорить о человеке, в деятельности которого эти структуры приобретают признак осознанности? Ведь механизмы построения новых, прижитвенных форм поведения у человека и у животных качественно различны.

Будучи перенесена в школу, торндайковская схема вела к полной деинтеллектуализации процесса обучения и воспитания. Детерминизм, игнорирующий специфику человеческого уровня детерминации поведения, неизбежно оборачивается антигуманизмом.

Павлов и Торндайк определили две основные линии в разработке проблемы научения. Существенно различался социальный климат, в котором творили эти исследователи. Существенно иными были идейные истоки их концепций.

Различный характер носили и открытые ими закономерности. В павловском учении отобразилась динамическая, в торндайковском — вероятностная детерминация поведения. Согласно Павлову, работа эффектора определяется внутренней динамикой нервных процессов, в свою очередь обусловленной внешними воздействиями и их

следами. Торндайковский же принцип «проб и ошибок» запечатлел общую закономерность, связанную со спецификой вариативного регулирования в живой природе. Статистический характер «проб и ошибок» очевиден. Происходит своеобразный «естественный отбор». У Дарвина он объясняет эволюцию видов, у Торндайка — эволюцию отдельных реакций, из множества которых «выживают» единицы, оказавшиеся полезными для живой системы. Оба аспекта, и динамический, и вероятностный, свойственны природе вещей, а не привносятся в нее познающим умом. Они присущи и психической регуляции поведения. В дальнейшем кибернетика синтезировала научное знание об этих аспектах, выработанное психофизиологией предшествующего периода. И Павлов, и Торндайк стоят у истоков кибернетики.

Экспериментальное исследование факторов и механизмов образования у живых существ новых приспособительных реакций имело не только чисто научное значение. Оно сблизило психологическую теорию с практикой воздействия на человека и изменения его поведения. Точность, объективность, экспериментальный контроль, причинный анализ — все эти признаки научного знания отличали теперь не только измерение ощущений или времени реакции, но и измерение поведения организма, решающего проблему. Не удивительно, что это вдохновило психологов, призванных жизнью обратиться к педагогическим проблемам. Скучной была традиционная психологическая интерпретация этих проблем. Она находилась, по существу, на уровне здравого смысла. Изучение же навыков возбуждало надежду на достижение высоких научных стандартов. И хотя, как мы отметили, прямой перенос на человека экспериментальных схем, выработанных применительно к другим живым объектам, не мог дать большого эффекта, достигнутое Павловым и другими исследователями механизмов научения открыло новую эпоху в психологии.

Чтобы оценить в полной мере значение этих исследований, следует иметь в виду не только новые факты и новые выводы о процессах выработки рефлексов или навыков. Изменилась сама категориальная основа мышления. Изменения захватывали прежде всего категорию действия. Мы видели, что уже функционализм пытался выдвинуть ее на передний план. Но действие выступало в функциональной

психологии как сугубо внутреннее, как чисто психический процесс, акт или операция. В итоге его единственным основанием оказывалось сознание субъекта, точнее, его душа, под какими бы более современными терминами она ни фигурировала. Теперь же действие трактовалось как реальный, объективно контролируемый акт, имеющий динамическую либо статистическую детерминацию. Тем самым расплывались до основания телеологизм и субъективизм, свойственные принятым функциональной психологией представлениям о функции (действии, операции, акте). Этот сдвиг в категориальном строе мышления, а не только конкретные схемы исследования навыков обусловили сближение психологической теории с практикой изменения человеческой деятельности.

Медицинская, педагогическая, индустриальная практика нуждались в научных приемах определения индивидуальных различий. Это вызвало развитие психодиагностики. Данная проблема связана с дифференциальной психологией, с разработкой категории «индивид-личность».

Известно, что Гальтон назвал испытания, проводившиеся в его антропометрической лаборатории, умственными тестами (по-английски «тест» и означает испытание), и этот термин приобрел в XX в. такую популярность, как никакой другой психологический термин.

При поверхностном взгляде тест может показаться упрощенным психологическим экспериментом. Но это заблуждение. Ведь задачей эксперимента является выявление зависимости психического процесса от производящих его причин (например, зависимость памяти от частоты повторения материала или от отношения к нему испытуемого). В этих целях экспериментатор варьирует условия, определяя, функцией каких переменных является наблюдаемый феномен. При тестировании же психолог фиксирует результат деятельности, не изменяя ее условий. Поэтому, конечно, исходя из теста самого по себе, никаких причинных связей установить невозможно. Тем не менее тест позволяет выявить определенные закономерности, а именно закономерности вероятностные, статистические. Они столь же реальны, как и строго причинные, динамические. Поэтому знание о них также обладает предсказательной силой.

Из статистической природы теста с необходимостью следует его массовидность. В тех случаях, когда тестирует-

ся отдельный индивид¹, оценка его качеств, способностей, умений означает сравнение с показателями других лиц, отнесенных к данной категории. Это в свою очередь требует стандартизации теста и его краткосрочности. «Мерка» должна быть однообразной, а ее применение оперативным. С изобретением тестов и возникновением тестологии (т. е. отрасли, занимающейся теорией и практикой тестирования) психология взяла на себя функции контроля, оценки, отбора индивидов с точки зрения выработанных ею критериев. Тем самым социальная ответственность психологии неизмеримо возросла. Ведь функции, о которых идет речь, являются по своей сущности социальными. Механизмы контроля и отбора непрерывно работают в обществе, соответственно его нормам, ценностям и потребностям, несущим исторический и классовый характер. Глубоко историчны как сами психические свойства (способности, личностные качества и т. д.), так и средства, с помощью которых они познаются, оцениваются, шкалируются.

В различных социально-экономических формациях складываются различные системы тестирования, опробования людей, «рецензирования» их поведения и характера.

Каждый индивидуальный поступок совершается под контролем его восприятия и оценки общественной средой. Под влиянием этих больших неформализованных систем оценки и контроля формируется малая система «слежения» у отдельного индивида — его умение ориентироваться в психических свойствах других людей, а затем и своих собственных. Такая ориентация теснейшим образом связана с прогностической функцией сознания: тестирование ближнего, диагноз того, что он есть, неотделим от прогноза: что можно от него ожидать?

Зародившись в процессах обыденной жизни, повседневном общении, психодиагностика и психопрогностика совершенствуются во многих видах деятельности, в частности в горниле педагогической и медицинской практики.

¹ Первоначально разрабатывались индивидуальные тесты, а затем потребности практики побудили перейти к групповым. Первым крупным тестологическим исследованием с применением групповых тестов была проверка интеллектуальных способностей более чем полутора миллионов новобранцев в США в период первой мировой войны.

Педагогическая практика с древнейших времен вырабатывает различные способы тестирования. Медицинская практика, сталкиваясь с необходимостью отграничить душевную патологию от нормы, также изобретает проверочные средства. Но во всех этих случаях самые разнообразные тесты — от общежитейских до педагогических и медицинских, — будучи неременным условием решения множества практических задач, еще не стали объектом научного анализа, экспериментальной проверки, математической обработки.

Первые попытки перейти от интуиции и эмпирических соображений к тестированию, к тестологии связаны, однако, с появлением двух псевдонаучных дисциплин — физиогномики и френологии. Популярность, выпавшая в свое время на долю этих учений, свидетельствует о жгучей потребности людей в средствах, позволяющих оперативно различать характер и способности ближних.

В XVIII в. пропагандистом физиогномики выступил И. Лафатер, утверждавший, будто существуют надежные корреляции между особенностями лица и психическим складом личности. Различия в форме носа, например, трактовались как показатель различных степеней агрессивности характера. Создатель френологии австриец Ф. Галль искал основание для определения психических свойств уже не в структуре лица, а в строении черепа. Исходя из представления о том, что в «шишках» черепа выражено различие в развитии отдельных участков головного мозга (каждый из которых служит органом особой способности), Галль полагал, будто путем ощупывания черепа может быть определен уровень развития душевных свойств. В основе френологии и физиогномики лежала идея о корреляции между телесными и психическими качествами индивида. Считалось, что телесные различия являются индексом психических. Однако из-за отсутствия научных методов эта идея не могла получить иной интерпретации, кроме фантастической. Первым, кто попытался поставить на научную почву изучение указанной корреляции, был Гальтов. В его мышлении сомкнулись три направления исследователей: разработка статистических методов, экспериментально-лабораторное изучение психических функций, биологическое объяснение вариативности индивидуальных форм.

Все последующее развитие психодиагностики вплоть до наших дней связано также с выявленными статистически достоверных соответствий между признаками соматическими и психическими, а также между самими психическими признаками различного порядка. При этом совершенствовалась статистическая техника (в частности, факторный анализ), многообразными стали разряды явлений, между которыми устанавливаются корреляции.

Инициатором другого течения в психодиагностике был француз А. Бине (1857—1911). До него тестировались различия в сенсомоторных качествах (чувствительности, скорости реакции и т. д.) и в особенностях ассоциативно-образной памяти. Но практика требовала информации о высших психических функциях, обычно обозначаемых терминами «ум», «интеллект» и др. Ведь именно эти функции обеспечивают приобретение знаний и выполнение сложной приспособительной деятельности. Педагогическая практика придавала актуальность экспериментальной разработке этого вопроса.

Бине занялся определением уровня интеллекта в связи с полученным им заданием разработать объективные, обоснованные рекомендации для отбора умственно неполноценных детей в специальные школы. Требовалось выделить детей, способных к учению, но ленивых, от страдающих врожденными дефектами. Отделение патологии от нормы всегда являлось важнейшей психодиагностической задачей. Бине не ограничился ею. Его заинтересовали градации внутри самой нормы.

От индивидуальных различий он перешел к возрастным, стремясь выявить ступенчатый ряд, характеризующий развитие интеллекта — его переход от одного уровня к другому. Он давал ребенку задачи и, подсчитывая число правильных ответов, сопоставлял это число с показателями сверстников. Тем самым был изобретен способ измерения интеллекта. Вся последующая работа в этом направлении базировалась на изобретении Бине. Трудности, с которыми вскоре столкнулась тестология, и ее многие ложные выводы были обусловлены не самой по себе идеей тестирования умственного развития. Такое тестирование каждый педагог вынужден производить повседневно, руководствуясь собственным опытом и сметкой. Бине стремился заменить интуицию точной меркой. Просчет тестологии коренился в надежде на то, что с помощью статистики

удастся восполнить огромные пробелы в знании о динамике умственного развития, его механизмах и закономерностях. Статистические показатели всегда требуют интерпретации, а тестологическая интерпретация умственного развития оказалась ложной.

Тестология исходила из представления об абстрактном уме, темпы развития которого предопределены природой индивида. Так родилась пресловутая концепция IQ (Ай-Кью) — коэффициента интеллекта, константы, якобы отличающей одного человека от другого с такой же определенностью, как строение черепа. Под IQ (Intelligent quotient) подразумевался индекс скорости умственного развития. Он определялся отношением так называемого умственного возраста к хронологическому. Если восьмилетний ребенок способен решать только те задачи, с которыми обычно справляется шестилетний, то коэффициент его интеллекта составляет 75¹. Когда же ему под силу задачи, решаемые десятилетними, то его коэффициент равен 125, т. е. он по темпам умственного развития превосходит своих сверстников.

Одной из главных догм тестологии стало положение о неизменности IQ, т. е. об его независимости от обучения, социально-культурных факторов и т. д. Если, например, американский тестолог обнаруживал у негритянских детей более низкие показатели, чем у белых, то это относилось за счет природной умственной неполноценности негров, а не условий, на которые их обрек «американский образ жизни» и в силу которых их интеллектуальный потенциал не мог быть реализован. Поскольку же тестологический индекс рассматривался как «научная» оценка способностей, исходя из которой следует отбирать и использовать людей, тестологическая процедура становилась орудием расовой дискриминации.

Уже на этом примере видна огромная социальная опасность тех приемов психодиагностики, которые не имеют за собой научного обоснования. Означает ли это, что использование научно-психологических средств для тестирования способностей, умений, личностных качеств само по себе является вредным начинанием?

Мы отмечали, что регуляция и координация человеческих отношений была бы невозможна без непрерывной работы диагностического и прогностического аппарата «слежения», оценки, опробования психических качеств индивидов. Этот аппарат, подобно, скажем, языку, надидивидуален. Он подчинен общественно-историческим закономерностям. Любое требование передать его в руки психологии и тем самым возложить на отдельную, конкретную дисциплину решение задач социального (кадрового) регулирования имеет своей предпосылкой ложную идею о том, что наука может стать над обществом, его процессами, нормами и установлениями.

В действительности сама наука является порождением и функцией общественной жизни. Соответственно и научная разработка проблем психодиагностики отражает социальную потребность в том, чтобы снабдить общество адекватной экспериментальной и математически проверенной информацией не только об общих закономерностях психической жизни, но и о свойствах и возможностях конкретного индивида в его отличии от других.

Тесты и явились важным методом добывания и применения такой информации. Они открыли возможность испытывать психологические ресурсы отдельной личности в ее сопоставлении со множеством других людей, притом до того, как эти ресурсы реализуются в реальной действительности. Однако для того, чтобы тесты стали таким методом, необходима была другая методологическая основа, чем та, из которой исходила тестология при своем возникновении, подлинно научное знание о том, чем обусловлены интеллектуальные и другие качества личности, как формируются и развиваются способности людей.

¹ По формуле: $\frac{MA}{CA} \times 100$.
MA (умственный возраст)
CA (хронологический возраст)

БИХЕВИОРИЗМ И КАТЕГОРИЯ ДЕЙСТВИЯ

Через 50 лет после того, как физиолог Вундт выступил с призывом создать новую психологию, аналогичное требование выдвинул американский зоопсихолог Джон Уотсон (1878—1958). Констатируя в своей статье «Психология, как ее видит бихевиорист» (1913), что этой науке за полвека существования в качестве экспериментальной дисциплины не удалось занять достойного места среди других естественных наук, Уотсон возложил вину за это на ложное понимание предмета и метода психологических исследований. Их предметом, утверждал он, должно быть сознание — поведение, а субъективный (интроспективный) метод следует решительно отвергнуть, утвердив вместо него объективный.

Поскольку весь психологический язык, с его точки зрения, пронизан «менталистской» (от английского mental — психический, духовный) установкой, ибо во всех его терминах (восприятие, мышление и т. п.) сквозит вера в то, что психическое — это данное сознанию, необходим новый язык, свободный от «средневековых предрассудков». В качестве примерных терминов такого нового языка Уотсон называл стимул и реакцию, образование навыков, их интеграцию и др. Программная статья Уотсона была в дальнейшем оценена в зарубежной психологии как начало «бихевиористской революции».

Словом «бихевиоризм» (от английского «behavior» — поведение) стали обозначать в ней направление, противостоящее всей предшествующей психологии, а его место в истории описывалось примерно так: сперва психология была учением о душе, затем она стала изучать психи-

ческие явления, и наконец под руками бихевиористов она превратилась в «психологию без психики».

Очевидно, однако, что последняя формула была основана на предположении, что феномены, на которых сосредоточился бихевиоризм, к разряду психических не относятся и что они предмет какой-то другой науки, но не психологии. Когда Уотсон провозгласил свою программу, первым ему ответил Тиченер. Его возражения были просты: данные, которые не излагаются в терминах сознания, сами по себе психологическими не являются. За этими возражениями стояла следующая посылка: телесные реакции не относятся к области психического, они представляют какой-то другой порядок явлений.

Но каким бы вызовом привычным взглядам ни казалось психологам появление бихевиористского «манифеста» (как в дальнейшем стали называть указанную статью Уотсона), его нужно поставить в связь с определенными глубинными процессами. Ему предшествовали длительные поиски подступов к тому аспекту психической реальности, на который указывает категория действия.

Односторонняя трактовка действия, сложившаяся под влиянием идеалистических взглядов, оставляла в пределах психологии лишь самые «верхушечные» проявления этой формы психической реальности в виде волевых актов либо операций ума. Приспособительные действия, соединяющие организм со средой, их формирование и преобразование рассматривались с этой точки зрения как объект физиологии, а не психологии.

Тень созданной дуалистическим воззрением пропасти между сознанием и телом лежала на всех представлениях о психической деятельности, на всех категориях — образа, мотива, действия.

Общее направление категориальных сдвигов нам уже известно. Оно имело своим генеральным вектором преодоление этого разрыва. Применительно к категории действия это означало отказ от интроспекционистского предположения о том, что между внешним мышечным приспособлением и внутренними актами сознания имеется только одно отношение — полярности.

Но как соединить эти мнимые полюса? Как сомкнуть внешнее и внутреннее, телесное и духовное? Нельзя забывать, что речь шла не о теоретической, философской декларации их единства и нераздельности, а о развитии систе-

мы понятий и методов, способных служить орудием конкретно-научной работы: добывания фактов, установления зависимостей между ними и т. д., т. е. о схемах, которые могли бы быть использованы в лаборатории, в клинике, в конкретном эмпирическом исследовании.

Свою программу нарождавшийся бихевиоризм мог провозгласить устами Уотсона лишь потому, что в категориальном строе знания уже наметились изменения, делавшие для психологии впредь невозможным мыслить в прежних категориях ни о внутренних умственных действиях, ни о внешних телесных.

Не пройдет и 10 лет, как главному оппоненту Уотсона, Тиченеру, отказавшему бихевиоризму в каком-либо значении для психологической науки, придется констатировать, что волна бихевиоризма захватила всю американскую психологию. Но почему преимущественно ее?

Мы уже видели на примере функционального направления, приобретшего совершенно различную окраску в европейских и американских условиях, а также на примере существенных различий в разработке теории научения в России и США, как тесно связаны актуальные потребности науки с потребностями общественной жизни.

Прагматическая направленность исследований психической деятельности в США была обусловлена запросами быстро развивавшейся капиталистической экономики. В бихевиористском «манифесте» Уотсона задача реформы психологии связывалась не только с необходимостью новой трактовки предмета и метода психологии, создания новой терминологии и др. Все эти преобразования, согласно Уотсону, важны не сама по себе, но для достижения другой цели: превратить психологию в область знания, способную «управлять поведением и предсказывать его». «Контроль и предсказание» — таким должен быть, с точки зрения бихевиористов, основной девиз психологии.

Неправота бихевиоризма выражалась не в защите этого принципа, а в его интерпретации, вытекавшей из определенных представлений о поведении и способах управления им.

Представления же, о которых идет речь, складывались в идеологической, философской атмосфере, отражавшей особенности развития капиталистической Америки.

Стало быть, чтобы понять генезис бихевиоризма, нам вновь следует соотнести сдвиги в логическом строе зна-

ния о психике, обусловленные естественноисторическим ходом становления этого знания, с теми конкретными социально-классовыми и идейно-философскими обстоятельствами, в которых они совершались.

Категория действия рождалась в потоке новых психологических идей. Отражая определенные объективные моменты, присущие поведению, она неотвратимо должна была войти в плоть и кровь психологического мышления.

Однако совершенно различными путями шла ее ассимиляция в психологической науке в России, где в условиях нарастающего революционного движения на передний план выступала защита достоинства и независимости человеческой личности, и в Соединенных Штатах, где доминировал утилитарный, прагматический подход к человеку.

Характер ассимиляции зависел и от методологических влияний: материалистических — у русских исследователей поведения, идеалистических (в форме философии позитивизма и неореализма) — у американских.

Эти идейные расхождения не остались внешними по отношению к разработке теории поведения как таковой. Они придали ей совершенно различную направленность.

Под психологией на протяжении веков понималось изучение явлений, процессов, актов сознания. Таково было теоретическое представление о предмете этой науки. Первым разрушил его И. М. Сеченов.

Считая величайшим заблуждением мнение о том, что психический процесс и начинается и кончается в сознании, он утверждал, что психической, именно психической (а не физической или физиологической) реальностью является целостный акт, содержащий наряду с центральным (внутренне испытываемым) звеном те моменты, которые прежде относились только к физическому миру (внешняя стимуляция) и только к физиологической среде (мышечное движение). Трехчленный психический акт мыслился как целостное образование, как своеобразная монада. Положение о его неразрушаемости (стало быть, о невозможности обособить данное сознанию от стимула и ответной телесной реакции) Сеченов считал такой же исходной аксиомой, как постулат о неразрушаемости материи в химии¹. Это

¹ См. *И. М. Сеченов. Избранные философские и психологические произведения*, стр. 252.

был настоящий переворот в трактовке предмета психологии. Вполне понятно, что отнести к области психики воздействие внешнего раздражителя и двигательный ответ на него значило отказаться от традиционных членений и утвердить принципиально новый подход. Это, в свою очередь, предполагало иной, чем прежде, взгляд на исходное звено психического акта (оно выступило в форме сигнала, различающего свойства объекта, а не в виде физико-химического, механического воздействия) и на его конечное звено (мышечная реакция рассматривалась как предметное действие, решающее приспособительную задачу).

«Гениальный взлет сеченовской мысли» (Павлов), сделавшей психический акт по образцу рефлекторного¹, был обусловлен логикой развития научного знания о поведении. Он запечатлел назревавшие в категориальном составе этого знания тенденции. Но вместе с тем он намного опередил конкретно-экспериментальные возможности психологии. С появлением павловского учения об условных рефлексах и бехтеревской рефлексологии он из общей теоретической схемы превратился в рабочую программу. Оба варианта — и павловский и бехтеревский — сыграли большую роль в движении психологической мысли к объективному и детерминистскому анализу поведения. Расхождение между этими вариантами² было обусловлено тем, что они исследовали разные фрагменты целостного психического акта: И. П. Павлов сосредоточился на сигнальном фрагменте, В. М. Бехтерев — на двигательном.

И вместе с тем оба преемника Сеченова показали уже не только теоретически, но и эмпирически, что психический акт не сводится к «явлениям сознания», что он может и должен изучаться строго объективными методами.

Информация об этом решительном сдвиге, пропавшем в русском учеными, вскоре появилась в американской печати. В 1909 г. в «Психологическом бюллетене» американский зоопсихолог Иеркс совместно с русским студентом Моргулисом опубликовали первый обзор работ, проведен-

ных павловской школой по условнорефлекторной методике. Методика толковалась как психологическая, а не физиологическая. В ней видели средство изучения ощущений и ассоциаций, т. е. психических процессов в их общепринятом тогда понимании.

При этом сторонники функциональной психологии и физико-химической трактовки поведения живых систем восприняли исследования Павлова различно. Каждый видел в них подтверждение своих взглядов. В действительности эти исследования отличались по своей теоретической направленности и от учения о психических функциях, и от учения о тропизмах как вынужденных реакциях живой ткани на физико-химические раздражители. От первого их отличал строго детерминистический подход, выраженный в идее образования временных связей между сигналами и ответными эффектами. Действие этой закономерности не зависело от психической функции в ее традиционном понимании. От второго их отличало представление о том, что образование связей основано на особых законах высшей нервной деятельности (синонимом которой Павлов считал поведение), а не на принципах физической химии.

Уотсон начал свою деятельность в обстановке непрерывных споров между функционалистами и структуралистами. Урок, который он извлек из этих споров, свелся к выводу, что оба направления бесплодны. Одни стремились изучить структуру сознания, другие — его функцию, служебную роль. Но и те и другие исходили из убеждения, что психолог — это исследователь сознания, как чего-то внутреннего, выступающего в виде субъективных образов. Вот этот-то их исходный постулат Уотсон в конце концов и отверг. Учение о том, что действия животных допускают строго механическое объяснение (без обращения к душе, психике или сознанию) выдвигалось в XVI в. испанским врачом Перейрой, а затем — в XVII в. — Декартом. Теперь же утверждалось, что не только поведение животных, но и поведение человека может стать объектом точной науки лишь после отказа от сознания и других «менталистских» понятий.

Первой попыткой представить психологию с этой точки зрения были две книги Уотсона: «Поведение: Введение в сравнительную психологию» (1914) и «Психология с точки зрения бихевиориста» (1919). Выдвигая общий план изло-

¹ Предпосылкой этой модели являлось преобразование физиологического понятия о рефлексе.

² Мы не касаемся расхождений в физиологических воззрениях этих исследователей.

жения психологических данных в терминах «стимул — реакция», «образование навыков» и т. д., Уотсон первоначально не мог указать на конкретный метод, позволяющий вести экспериментальную работу в этих терминах. Но затем, узнав об исследованиях Бехтерева и Павлова, он выдвигает метод условных рефлексов на центральное место в психологии.

Книга Бехтерева «Объективная психология» вышла в 1913 г. в немецком и французском переводах. Уотсон штудирует это издание, ссылаясь на него в своем президентском адресе американской психологической ассоциации в 1916 г. Он был знаком и с исследованиями Павлова, однако предпочитал бехтеревскую методику двигательных рефлексов павловской методике, хотя предложенный Павловым термин «условный рефлекс» и считал более удачным, чем «сочетательный рефлекс» Бехтерева.

Но в собственной экспериментальной работе он использовал не эти конкретные методики, а общий принцип выработки новых форм поведения путем воздействия на палочный запас реакций внешними раздражителями. Руководствуясь мыслью о том, что в поведении человека нет ничего прирожденного и что любое его проявление — продукт внешней стимуляции, он начал массовое изучение детей младенческого возраста. Изучая, например, вопрос о том, является ли праворукость инстинктивной либо формируется под влиянием внешних факторов, он решительно склоняется ко второму выводу.

У многих детей, как показали его опыты, первоначально вообще не обнаруживалось доминирования одной из рук. В тех же случаях, когда оно наблюдается уже при рождении, это, по мнению Уотсона, следует объяснить не инстинктивной предрасположенностью, а влияниями на зародыш в дородовой период.

С целью доказать, что предпочтение одних объектов другим, эмоциональное отношение к ним не зависит ни от чего другого, кроме повторяющихся внешних воздействий, Уотсон поставил серию экспериментов над младенцами, вырабатывая у них условнорефлекторные эмоциональные реакции. Громкий звук, вызывавший реакцию страха, сочетался с восприятием кролика. В дальнейшем та же реакция возникала при восприятии других покрытых мехом объектов, при виде человека, державшего во время опыта кролика в руках, и т. д.

Эти эксперименты рассматривались как доказательство возможности формировать по заданной программе стойкие аффективные комплексы. Идея управления поведением распространялась вслед за сферой двигательных актов на эмоциональные пристрастия и отвращения, столь важные в общей структуре личности. Что касается главной опоры субъективной психологии — процесса мышления, то он, как полагал Уотсон, может быть переведен на язык двигательных навыков — ручных и речевых.

Зависимость мышления от речи, предполагающей реальную мышечную активность человека, давно уже была зафиксирована в психологии. Но Уотсон не ограничился этим представлением. Он пришел к выводу о том, что вообще в составе мышления нет ничего, кроме речевых реакций.

С момента объявления им войны субъективной («менталистской») психологии он непрерывно вел атаки на представления об образе как ее главном оплоте. Человек, доказывал он, мыслит не образами, а мышцами.

Уже Торндайк, изучавший поведение кошек и обезьян без обращения к образам и другим «ненадежным» понятиям традиционной психологии, интерпретировал интеллект как поведение, направленное на решение проблемы путем отбора движений, случайно оказавшихся удачными. Уотсон применяет этот же принцип, распространяя его на речевые движения. Голосовая реакция связывается с определенным стимулом (вещью). Постепенно внешняя речь переходит (через шепот) во внутреннюю, скрытую (имплицитную) работу речевого аппарата, тождественную тому, что называется мышлением. Речевое научение формируется на основе тех же принципов, что и научение в лабиринте или «проблемном ящике». Но оно дает важное преимущество: пробы и ошибки производятся только на уровне речевых сигналов, т. е. более экономно и без риска, с которым связано непосредственное манипулирование материальными предметами.

Трактовка Уотсоном высших форм интеллектуальной деятельности человека являлась протестом против ряда доктрин, прочно утвердившихся в психологии. Она отклоняла противопоставление этих высших форм реальным действиям, направленным на решение практических задач, с которыми повседневно сталкивается организм. Она, далее, предполагала первичность «открытого» поведения,

которое сперва разворачивается по отношению к внешним раздражителям и лишь затем становится «скрытым» (имплицитным). Она была также протестом против взгляда на значение слова как на нечто изначально духовное, представляющее особый мир феноменов, противоположных земным, практическим связям людей с материальными вещами. Но правота по отношению к субъективистскому, интроспективному истолкованию умственной деятельности оборачивалась неправотой в отношении важнейших признаков ее самой. И прежде всего игнорировалась социально-историческая и отражательная природа этой деятельности.

«Бихевиорист в своем стремлении создать единую схему апимальных реакций, — писал Уотсон, — не признает разграничительной линии между человеком и животными. Поведение человека во всех его топкостях и сложности составляет только часть общей схемы исследований бихевиориста»¹.

Согласно Уотсону, слово — это речевая реакция, которая замещает предмет (или ситуацию) по принципу условного рефлекса. Но ведь сам предмет, с точки зрения бихевиориста, исчерпывается мышечными операциями, которые индивид способен с ним произвести. Иначе говоря, речь не может вывести за пределы двигательного опыта, которым бихевиоризм и ограничивал зону познания. Хотя и предполагалось, что первичным является открытое речевое поведение, обращенное к другим лицам и лишь затем постепенно переходящее во внутреннюю речь, это утверждение лишь по видимости «социализировало» интеллект, ибо основой коммуникации оставались непосредственные речевые сигналы, а не язык как общественно-историческая система, определяющая их структуру и значение.

Таким образом, все явления, относившиеся прежде к сознанию, переводились на бихевиористский язык, описывались как различные модификации мышечных реакций на раздражители.

О поведении как предмете психологии говорили и раньше. Функционалисты требовали, например, соотносить сознание с реальным телесным действием, трактовать психологические функции как орудия приспособления к среде. Но Уотсон придал понятию поведения однозначный

¹ J. B. Watson. Psychology as the behaviorists views it. «Psychological Review», 1913, № 20.

смысл. Из него исключались: а) факты сознания, б) их нейрофизиологический субстрат. Оставалась формула «стимул — реакция» как конечная единица отношений организма к среде.

Является ли эта формула фактивной, или в ней осело следы психической (именно психической, а не только физиологической) реальности? Идея о том, что телесная реакция в ее детерминированности внешней системой отношений является объектом психологического (а не только физиологического) познания, соответствовала логике движения этого познания.

Пороки бихевиоризма были порождены не защитой этой идеи, а ее односторонним толкованием: телесная реакция отчленилась от образа, участвующего в ее построении, и от мотива, побуждающего ее произвести. Бихевиоризм впадал здесь в такую же односторонность, как и те психологические системы, которые отчленили образ от действия или мотива (гештальтпсихология) либо мотив от действия или образа (психоанализ).

Во всех случаях расщепление единой психической реальности неизбежно влекло за собой гипертрофию одной из ее граней, а тем самым и неадекватное представление об остальных. Бихевиоризм выступил как антипод субъективной (интроспективной) концепции, стянувшей психическую жизнь к «фактам сознания», полагавшей, что за пределами этих фактов лежит чуждый психологии мир. Критики бихевиоризма в дальнейшем обвиняли его в том, что в своих выступлениях против интроспективной психологии он сам находился под гипнозом созданной ею версии о сознании. Принять эту версию за незыблемую, он полагал, что ее можно либо принять, либо отвергнуть, но не преобразовать. Вместо того чтобы взглянуть на сознание в новом ракурсе, он предпочел вообще с ним разделаться.

Эта критика справедлива, но недостаточна для понимания гносеологических корней бихевиоризма. Они заключены не только в отрицательном взгляде ложных взглядов на сознание. Если даже вернуть сознанию его предметно-смысловое содержание, испарившееся в реторте интроспективизма в призрачные «субъективные явления», из этого содержания самого по себе нельзя объяснить ни структуру реального действия, ни его детерминацию. Как бы тесно ни были связаны между собой действие и образ, они не могут быть сведены одно к другому. Следы

Фичность действия, его несводимость к предметно-образным компонентам психического и была тем реальным моментом, который неадекватно преломился к бихевиористской схеме.

Рассмотрев гносеологические корни этой схемы, следует остановиться и на ее классовой подоплеке.

Наибольшая популярность первого варианта бихевиоризма (некоторые американские авторы называют его уотсовизмом) падает на начало 20-х годов — период быстрого экономического подъема в США после мировой войны.

Академическая карьера самого Уотсона в 1920 г. неожиданно (из-за семейных обстоятельств) оборвалась, и он, перейдя на работу в рекламное бюро, сделал карьеру бизнесмена. Но вышедшая в 1925 г. его книга «Бихевиоризм» вызвала бурю не только в психологических кругах. Она стала предметом острейших споров далеко за их пределами. Газета «Нью-Йорк таймс» оценила ее как «веху в интеллектуальной истории человечества».

Какая же идея соединялась с этой «вехой»? Прежде всего мысль о том, что, манипулируя внешними раздражителями, можно изготовить человека любого склада, с любыми константами поведения. Отрицалось значение не только прирожденных моментов, но и собственных убеждений индивида, установок и отношений личности — всей многогранности ее внутренней жизни.

Дайте мне дюжину нормальных детей и специфическую среду для их воспитания, и я гарантирую, что, взяв любого из них в случайном порядке, я смогу превратить его в специалиста любого типа — доктора, юриста, артиста, кушца или же нищего и вора безотносительно к его таланту, склонностям, тенденциям, способностям, призванию, а также расе его предшественников, обещал Уотсон.

На первый взгляд принцип всемогущества внешних воздействий утверждал оптимистические надежды на человека и на возможности его развития.

Достаточно, однако, выяснить, какой эффект предусматривался бихевиористской программой, чтобы сразу же стал очевиден ее антигуманизм. Ведь эта программа строилась с расчетом на то, чтобы путем повторения внешних воздействий заложить в организм не сумму впечатлений или идей, как это в свое время предполагалось учением о том, что душа есть «чистая доска» (*tabula rasa*), на которой внешний мир оставляет свои письмена, но только

одно — набор двигательных реакций. Никакие другие свойства и проявления во внимание не принимались. Они просто игнорировались. Но разве не очевидно, что подобный взгляд на человека мог быть привлекателен только для тех, кого интересует в поведении лишь один его аспект — а именно исполнительные эффекты? Идея машинообразности поведения, возникшая в поисках путей его строго причинного анализа, будучи перенесена в социально-практический план, приобретала реакционную идеологическую функцию.

Мы остановились на Уотсоне, поскольку именно он выступил главным глашатаям бихевиористского течения. Но следует иметь в виду, что он не был одинок. С различных сторон звучали требования покончить с представлением о сознании как предмете психологии и с представлением об интроспекции как ее методе. Ряды бихевиористов быстро росли. Наиболее видными из них были А. Вейсс (1879—1931), У. Хантер (1889—1954), Э. Газри (1886—1959), К. Лешли (1890—1958) и др.

Вместе с тем в реальном составе исследований возникли отклонения от исходной программы, сформулированной Уотсоном.

Укажем, в частности, на изучение Хантером так называемой «отсроченной реакции». В 1914 г. Хантер изобрел экспериментальную схему для изучения реакции особого типа, которую он и назвал «отсроченной» (*delayed-response*). Обезьяне, например, давали возможность видеть, в какой из двух ящичков была положена пища. Затем между ней и ящичками устанавливалась ширма, которая через несколько секунд убиралась с тем, чтобы обезьяна произвела выбор. Она успешно решала эту задачу, доказав, что уже животные способны к отсроченной, а не только к прямой реакции на стимул. В дальнейшем отсроченная реакция стала рассматриваться как проявление установки, т. е. предшествующей «открытому» поведению направленности на определенный стимул. Установка «вклинивалась» между раздражителем и реакцией, ставя под сомнение уотсоновский принцип прямой детерминационной связи между ними. Лабораторный опыт вынуждал предположить реальность внутренних детерминант поведения.

Если эксперименты Хантера, проводившиеся на заре бихевиоризма, объективно (независимо от того, как они

воспринимались) противоречили той части уотсовской концепции, которая касалась структуры поведения, то исследователя К. Лешли противоречили этой концепции уже в другом плане.

Уотсон, руководствуясь позитивистской установкой на игнорирование всего, что недоступно непосредственному наблюдению, считал мозг «ташественным ящиком», соотносить с которым психологические проблемы бесполезно. Лешли же стал на путь экспериментального исследования зависимости поведения от его нейромеханизмов. Он отверг положение о том, что эта зависимость выражена в структурном обособлении мозговых путей, соединяющих рецепторные спаряды с двигательными. Выводы Лешли подверг критике И. П. Павлов. И тем не менее само по себе обращение к вопросу о соотношении между мозгом и двигательными реакциями расшатывало исходные бихевиористские позиции.

Уже в работах Хантера и Лешли — психологов, которые представляли в 20-е годы авангард бихевиористского движения, видны симптомы начавшегося вычлечения из него различных направлений.

Задача, возникшая теперь перед бихевиористами, состояла в том, чтобы, не утратив преимуществ, связанных с установкой на анализ поведения, охватить его информационный (образный) и динамический (мотивационный) аспекты. В схеме, которая не знала ничего, кроме стимула и реакции, не было места ни для одного из указанных аспектов. При приложении этой схемы к реальным свойствам приспособительного поведения, таким, как целенаправленность, избирательность, регулируемость образом, обусловленность потребностью и др., она в конце концов неизбежно должна была рухнуть.

Вместе с тем конкретные формы, которые приняла распад исходной бихевиористской концепции, были обусловлены сложным сплетением идеологических, философских и индивидуально-психологических обстоятельств.

В обстановке обострения кризиса всей капиталистической системы на рубеже 30-х годов наметилась переориентация исследований в различных областях. Испарился оптимизм предшествующего периода, когда, казалось, перед каждым человеком открыта возможность безграничного приспособления, когда, как обещал Уотсон, любого ин-

дивида можно снабдить любым набором адаптивных (приспособительных) реакций.

Массовая безработица, разорение и обнищание, классовые битвы, рост революционных настроений — все это вынуждало принять во внимание, с одной стороны, роль социальной среды, с другой — отношение к ней индивида: не только его внешние реакции, но и его мотивы, настроения, установки.

«Мы можем в большинстве случаев управлять руками, ногами и вокальными органами людей, только управляя их желаниями»¹, подчеркивал один из видных американских психологов Р. Вудворс. Резко возрос интерес к социальной психологии, а в связи с этим и к изучению установок личности по отношению к различным общественным явлениям. Таков был социальный «климат», в котором началось «размягчение» «строгости» бихевиоризма. Представление об установках, отношениях, ценностях вводило в круг интересов исследователей поведения совершенно новый пласт явлений, недоступных прямому наблюдению, действующих «внутри» индивида, «между» внешним раздражителем и двигательной реакцией.

Это «между» невозможно было совместить с бихевиористской методологией, отвергавшей все внутрисубъективное как ненаучную фикцию. Но считавшееся фикцией применительно к рефлексам крысы оказывалось реальностью социальной жизни человека. В мышлении самых правверных бихевиористов, таких, например, как Ф. Олпорт, при первых же попытках объяснить социальное поведение зарождается понятие об установке, как особом внутреннем факторе, влияющем на характер внешней реакции.

Итак, первый прорыв в прямолинейной схеме «стимул — реакция» совершился внутри самого бихевиористского лагеря в дни, когда ее популярность достигла апогея. Произошел же этот прорыв под влиянием в первую очередь социальных запросов, давление которых вынуждало обращаться к факторам, посредствующим между раздражителем и внешним поведенческим актом. Вскоре данная проблема станет центральной в развитии бихевиористских идей. Философской же предпосылкой этого стал новый

¹ C. Murchison (ed). *Psychologies of 1925*, p. 149.

вариант позитивистской концепции, так называемый операционализм.

Позитивистское направление на протяжении всей истории психологии отрицательно сказывалось на разработке ее коренных проблем.

Позитивизм Конта не признавал право психологии на самостоятельное существование. Позитивизм Вундта, а затем Маха провозглашал предметом психологии факты непосредственного опыта, познавая под ними феномены сознания субъекта. Это ввергло психологию, едва только обретшую собственную почву, в ситуацию кризиса.

Позитивизм Уотсона отрезал путь к изучению важнейших психологических областей. Правда, Уотсон полагал, что его программа не имеет никакого отношения к философии. Но откуда, как не из позитивистской философии было почерпнуто требование исключить из состава научного знания все, что недоступно прямому наблюдению? Ведь именно по этим, сугубо философским мотивам из плава конкретно-научных исследований изымались все психические явления, кроме их остатка в виде отношения: «стимул — реакция». Именно по этим мотивам отвергалось, как уже отмечалось, и конкретно-научное изучение физиологических механизмов (скрытых от непосредственного взора наблюдателя).

Позитивистская философия не могла бы удержаться, если бы не изменяла свои формы, приспособляясь к сдвигам в естественных науках. Новая форма позитивизма сложилась в конце 20-х — начале 30-х годов. Она была представлена операционализмом П. Бридджмена и логическим позитивизмом.

Операционализм, будучи философской опорой новой разновидности бихевиоризма, сам сложился под влиянием бихевиористских идей. Перед нами своеобразная картина взаимодействия между концепцией человеческого поведения и концепцией научной деятельности. Благодаря Уотсону и другим бихевиористам приобрело популярность представление о том, что первичным психическим элементом следует считать не ощущение (как полагали Вундт, Мах, Тиченер и др.), а двигательную реакцию. Но ведь и научное исследование есть своего рода «поведение». Этот вывод и извлек из носившихся в воздухе бихевиористских идей гарвардский математик и физик П. Бриджмен. Он выдвинул концепцию, согласно которой основные элемен-

ты научного знания — понятия — не содержат в себе ничего, кроме системы операций (действий ученого), посредством которых они устанавливаются. Эта точка зрения была изложена в книге «Логика современной физики» (1927). Речь шла о понятиях физического мира. Поскольку же психологи всегда воспринимали физику как идеал и образец точного знания, они, в надежде придать естественнонаучную весомость своим понятиям, стали присматриваться к учению о том, что основа научного знания, его логический костяк не имеет за собой никакой другой реальной ценности, кроме измерительных процедур и других операций исследователя. Операционализм стал философским компасом для реформаторов поведенческой психологии, среди которых наиболее значительными фигурами были Эдвард Толмен (1886—1959) и Кларк Халл (1884—1952). Они возглавили направление, получившее имя необихевиоризма.

«Строгий» бихевиоризм гордился тем, что объекты, на которые указывают его понятия, это не какие-то недоступные внешнему наблюдению загадочные явления, а то, что каждый может непосредственно увидеть, проверить, измерить. Как стимул, так и реакция существуют, подобно всем другим вещам, независимо от «прихотей» субъективного восприятия. От этих «прихотей» не зависит также и связь между стимулом и двигательным ответом.

Все эти соображения производили впечатление и на тех психологов, которые видели дефекты бихевиоризма, но в то же время считали невозможным выгнать из психологии образ, мотив и другие фундаментальные понятия и проблемы. Они задумывались над возможностью распространить методологию бихевиоризма на игнорируемые им стороны психической деятельности.

Инициатором такого исследования «медиаторов», т. е. внутренних процессов, совершающихся между стимулом и реакцией, выступил Толмен. Он исходил из того, что и для «невидимых медиаторов» должны существовать столь же объективные показатели, какими пользуются при изучении доступных внешнему наблюдению стимулов и реакций. «Медиаторы» — это не фикции, а реальные факторы поведения. Стало быть, они имеют такое же значение для объяснения наблюдаемой двигательной реакции, как и внешние стимулы. Толмен был убежден в распространяемости детерминистского анализа поведения на явления,

с которыми, по мнению Уотсона, психологии вообще нечего делать. Но, как мы уже имели повод убедиться, между стремлениями ученого и их реализацией нередко существует дистанция. Ее размеры зависят от многих обстоятельств, среди которых важнейшими являются методологические.

Свой вариант бихевиоризма, изложенный в книге «Целенаправленное поведение у животных и человека» (1932), Толмен называл «молярным». Этот термин был избран с целью противопоставить взгляд на поведение как на целостный процесс «молекулярному» бихевиоризму, трактующему поведение как совокупность изолированных актов.

Толменовское учение представляло попытку синтезировать достижения трех направлений: бихевиоризма, гештальтизма и динамической психологии. Толмен отмечал, что «молярный» подход свойствен и гештальтпсихологии. Но эта школа отягчена традицией интроспекционизма и феноменализма, тогда как целостность и осмысленность поведения должны описываться, с его точки зрения, только путем экспериментального анализа внешне наблюдаемого.

В этих целях им вводится понятие промежуточных переменных (*intervening variables*), под которыми понимается совокупность познавательных и побудительных факторов, действующих между непосредственными стимулами (внешними и внутренними) и ответным поведением. Промежуточные переменные — это детерминанты, которые опосредствуют двигательную реакцию (зависимая переменная) на раздражитель (независимая переменная)¹.

Толмен поставил большое количество экспериментов над крысами, доказывая, что объяснить, как они приобретают лабиринтные навыки, можно только с помощью промежуточных переменных. Так, в процессе научения животное обнаруживало своего рода изобретательность, решая проблему, оно намечало и проверяло «гипотезы».

Эти положения не были антропоморфизацией психической деятельности животных. Они вытекали из ее экспериментального анализа. Соответственно по-новому были оценены два главных закона «классического» бихевиоризма, сформулированные в свое время Торндайком: закон

упражнения и закон эффекта. Закон упражнения, если его трактовать как закрепление реакции в силу ее более частого повторения по сравнению с другими, не имеет, с точки зрения Толмена, большой объяснительной ценности. Истинный смысл упражнения состоит в образовании определенных познавательных структур. Крыса научается, например, находить в лабиринте путь к пище благодаря тому, что у нее складывается «познавательная карта» этого пути, а не простая сумма двигательных навыков. Устремленное к цели, животное различает сигналы среды, связывая с ними свои ожидания (*expectations*). В случае, если ожидание не подтвердится, поведение нарушается. Усвоенная животным «познавательная карта», стало быть, подкрепляется ожидаемым и его подтверждением, а не самим по себе удовлетворением потребности.

Толменом было введено также понятие о латентном научении. Под ним понималось скрытое, неаблюдаемое научение, при известных условиях проявляющееся в действии. Оно свидетельствует о том, что закон эффекта не может претворяться во универсальность. Процесс научения происходит и в тех случаях, когда подкрепление отсутствует. Животное как бы исследует ситуацию возможного действия. У него формируются познавательные структуры («знаковые гештальты»), с помощью которых в дальнейшем достигается оптимальный эффект. Этот вывод опирался на следующий эксперимент. Сравнивалось поведение в лабиринте различных групп крыс. Одна группа регулярно получала пищу, тогда как другая в течение многих проб не находила в кормушке пищи и получала ее лишь через 10 дней. Кривая научения второй группы показывала, что и в период, когда отсутствовало подкрепление, животное все же обучалось. Оно за этот период обследовало лабиринт, узнавало характер расположения в нем коридоров, строило познавательные структуры и поэтому, как только получало подкрепление, сразу же делало меньше ошибок. Хотя подкрепление и является регулятором поведения, однако само по себе, без участия познавательных моментов оно недостаточно для формирования адекватных реакций.

Эти положения Толмена дали повод назвать разработанную им концепцию научения «познавательной». Она являла собой попытку включить в систему бихевиористских понятий познавательный или, говоря языком следую-

¹ К независимым переменным были также отнесены: физиологическая потребность, последственность, прежний опыт.

щего поколения психологов, информационный фактор. Но Толмен сразу же столкнулся с трудностями, которых не существовало для последователей Уотсона. Игнорируя категорию образа, Уотсон и другие полагали, что стимул автоматически производит движение (нейвной предпосылкой этого взгляда являлось представление о рефлекторной дуге, раздражение одного конца которой непосредственно отражается на работе мышц в другом ее конце). У Толмена же прямая связь между стимулом и двигательным ответом прерывалась «познавательными картами», «гипотезами» и другими промежуточными переменными (представляющими категорию образа). Но как объяснить, не покидая естественнонаучной почвы, способность образа управлять реальным мышечным действием? Ответить на этот вопрос Толмен не мог. «Символы, по теории Толмена, — писал Гаэри, — вызывают у крысы *осознание, познание, суждение, гипотезы, абстракцию*, но они не вызывают действия. В своей заинтересованности тем, что происходит в сознании крысы, Толмен игнорирует предсказание того, что же сделает крыса. Поскольку дело касается теории, крыса остается погруженной в мысли. Если она в конце концов доберется до кормушки, это касается только ее, а не теории».

Мы уже отмечали, что категория образа и категория действия невыводимы одна из другой. Каждая имеет собственный статус. И подобно тому как анализ действия сам по себе недостаточен, чтобы раскрыть природу образа (поскольку в образе представлен внешний объект), выяснение содержания и структуры образа не дает ключ к механизмам действия (поскольку действие имеет свою особую организацию). Гаэри был прав, упрекая Толмена в том, что его «познавательная теория» бессильна объяснить, каким же образом крыса в конце концов доберется до кормушки. Между знанием (образом) и поведением (действием) по-прежнему существовал разрыв, преодолеть который с помощью тех методологических средств, которыми располагал Толмен, было невозможно.

Толмен полагал, будто посредством операций психолога-экспериментатора удастся найти объективно фиксируемый индикатор для каждой из промежуточных переменных (образа, ожидания и т. д.) и тем самым избежать субъективизма. Ему казалось, что промежуточные переменные — продукт «чистого» лабораторного опыта,

что они (считавшиеся прежде обитателями внутреннего мира сознания) могут быть определены путем некоторого набора операций, производимых экспериментатором с такой же объективностью, как и два других класса переменных (независимые и зависимые). Впоследствии же Толмен вынужден был откровенно признать, что они происходят скорее из «интуиции, общего опыта, несколько уточненной неврологии и моей собственной феноменологии»¹.

Это говорилось в 50-х годах, через 20 с лишним лет после того, как Толмен выдвинул план разработки «операционального бихевиоризма», определяющего свои понятия таким образом, что они могут быть установлены и проверены в терминах «конкретных повторных операций независимых наблюдателей». Программа оказалась невыполнимой. И уже не «конкретные повторные операции независимых наблюдателей», а «интуиция» и «собственная феноменология» становились единственным основанием для промежуточных переменных, с которыми некогда связывалась мысль о возможности превратить «субъективные» психологические понятия в «объективные».

Итак, попытка Толмена охватить в единой психологической теории (сохраняя ориентацию на бихевиористские постулаты) все, что не укладывалось в прокрустово ложе формулы «стимул — реакция», не удалась.

Другая попытка преодолеть ограниченность этой формулы принадлежала профессору Йельского университета К. Халлу.

В отличие от Толмена, не создавшего собственной школы, Халл был не только крупный исследователь — экспериментатор и теоретик, но и организатор коллективной работы, вокруг которого постоянно группировалась научная молодежь. Из окружения Халла вышли такие современные американские психологи, как К. Спенс (р. 1907), Н. Миллер (р. 1909), О. Маурер (р. 1907) и др. Под руководством Халла было выполнено несколько крупных экспериментальных программ — по профориентации, по проблеме гипноза, по исследованию механизмов научения. Система теоретических представлений Халла складывалась в 20-х годах в атмосфере, когда в центре интересов психологи-

¹ S. Koch (ed). Psychology: Study of Science, vol. II. N. Y., 1960, p. 98.

ческого мира оказались книги Уотсона. «Бихевиоризм внес больший вклад в науку, чем психология за всю ее предшествующую историю», — утверждала молодежь. Оппозиция отличалась не меньшим фанатизмом. Время, проводимое в атаках друг на друга, лучше тратить на эксперименты, призывал Торндайк. Но страсти не утихали. И не удивительно. Сама по себе экспериментальная работа, с каким бы рвением она ни велась, не могла вооружить надежной теоретической стратегией. Напротив, она сама от нее зависела. В те годы крупным событием в американо-павловской психологии стал перевод на английский язык павловских работ¹. Издание вышло в 1927 г., через два года после уотсоновского «Бихевиоризма», и глубоко повлияло на крупнейших бихевиористов новой формации — Халла и Скиннера. Все понимали, что павловская трактовка поведения отличается от торндайковской. Различие между ними дало в дальнейшем повод Скиннеру, продолжившему линию Торндайка, противопоставить условный рефлекс так называемой «оперантной реакции». Халл же исходил из того, что серьезная психологическая теория должна установить основные законы, из которых любые варианты

¹ И. П. Павлов приобрел к тому времени авторитет крупнейшего психолога мира. Именно психолога, а не только физиолога, как-то оп прославился уже в начале века, после присуждения Нобелевской премии за работы по пищеварению.

В 1929 г. в США (Нью-Хейвен, Йельский университет) состоялся IX Международный конгресс психологов. В советскую делегацию входили И. П. Павлов, И. С. Берятов, И. Н. Шпильрейн, В. М. Боровский, А. Р. Лурия, С. Г. Геллерштейн и др. Американский «Журнал философии» отмечал, что «относительно большое число представителей Советской республики (10 человек) является интересным отражением активности психологов в России». Помимо секций на конгрессе была установлена новая форма работы, которая с тех пор практикуется на международных психологических конгрессах, — вечерние лекции, читаемые виднейшими учеными. Честь прочтения первой лекции удостоился И. П. Павлов, представлявший общий очерк учения о высшей нервной деятельности. Съезд долго стоя приветствовал Павлова, имя которого стало символом детерминистического объяснения поведения. Там же, на съезде, возникла полемика Павлова с бихевиористом Лешля, доклад которого содержал критику учения об условных рефлексах. И. П. Павлов немедленно выступил с ответной речью. Он говорил столь темпераментно, что переводчик, не успев проследить за аргументацией, вынужден был ограничиться следующим резюме: «Профессор Павлов сказал: нет!» Смысл павловских возражений в дальнейшем был подробно изложен в статье «Ответ физиолога психологам».

реакций выводятся в качестве частных случаев. Он полагал, что психологи не хватает гипотетико-дедуктивных методов, о силе которых говорят исторический опыт физики. Психология не хватает также математического аппарата, позволяющего выразить в уравнениях ее первичные законы, из которых в качестве вторичных можно дедуцировать положения, объясняющие все комплексное, прихотливое поведение организма. Вслед за Толменом он принимает идею о промежуточных переменных, считая, однако, что эти переменные должны получить точную количественную характеристику. В нем жила вера в то, что математические формулы сами по себе обеспечат однозначное понимание поведения и его законов.

Промежуточные переменные приобрели у него математический облик. Главным же принципом научения он признал редукцию (ослабление) потребности, а не саму по себе смежность-стимула и реакции (Гаарн) и не познавательные факторы (Толмен). Там, где реакция на некоторый стимул ведет к ослаблению, снижению биологической потребности, сила ассоциации между стимулом и реакцией, по его мнению, возрастает.

Важным моментом в теории Халла явилось разделение первичного и вторичного подкрепления. Первичным является, например, пища для голодного организма или удар электрическим током, вызывающий прыжок у крысы. Потребность всегда связана с раздражителями, ослабление силы которых, в свою очередь, играет роль подкрепления, но уже вторичного. Голодный ребенок перестает кричать, когда мать берет его на руки. В этом случае изменение положения тела само по себе начинает приобретать мотивационную силу. Тем самым намечался переход от представления о том, что все приобретенные реакции укоренены в одной и той же основной потребности (например, пищевой), к взгляду, предполагающему, что сами потребности могут изменяться и развиваться. Если Толмен держался позитивистского «операционалистского» курса, не решаясь признать за своими «переменными» какую-либо другую реальность, кроме устанавливаемой операциями экспериментатора, то Халл считал промежуточные переменные хотя и не наблюдаемыми, но реально присутствующими организму состояниями, однако на уровне периферических, а не центральных нервных процессов.

Необихевиористские концепции породили обширную научную литературу. Чтобы понять обостренный интерес к ним, следует учесть атмосферу, в которой они развивались. Борьба между враждовавшими школами в зарубежной психологии в конце 20-х — начале 30-х годов достигла апогея. Развитие экспериментальных исследований сочеталось с резким теоретическим антагонизмом. В том же 1927 г., когда Брэдфорд опубликовал свою «Логика современной физики», вышло первое издание книги Карла Бюлера «Кризис психологии». Ее название совпадало с названием уже известной нам книги Вилли, появившейся в конце прошлого столетия. В отличие от Вилли, Бюлер говорил уже не о том, на какую философскую теорию сознания следует ориентироваться, а о том, как добиться единства психологической науки, распавшейся, по его мнению, на три основных направления: психологию сознания, психологию поведения и психологию духа. Выход же, по Бюлеру, в том, чтобы, объединив все подходы, создать единую систему понятий. В этом анализе была справедливой мысль о том, что в каждом из направлений отражался один из реальных аспектов психической деятельности. Однако с самого начала была очевидна эклектичность бюлеровского проекта, и последующая история показала его несбыточность. «Сам фундамент психологии должен быть перестроен», — утверждал в 1932 г. по поводу кризиса, в противовес Бюлеру, советский психолог Выготский.

В 1935 г. вышла работа американского психолога Э. Гейдбредера «Семь психологий». Само ее название красноречиво говорило о пестрой картине зарубежной психологии, в которой возникали все новые «микрошколы».

Задача построения единой целостной теории, способной охватить своим понятийным аппаратом и методологическими средствами все многообразие психических проявлений, приобрела большую актуальность. По существу, необихевиоризм выступил с претензией спасти психологию от окончательного распада на школы путем построения единой «большой теории». К теоретическому «синтезу» были устремлены помыслы Толмена и Халла. Халл рассчитывал, что исходя из его теорем можно объяснить все многообразие психологических фактов, не только установленных Торндайком и Павловым, но и гештальтцистами и Фрейдом. В американской психологии, с начала века пронизанной недоверием не только к констатациям, создаваемым по

прихоти теоретика, но и к теории вообще, наступает новый период, охарактеризованный С. Кечем как «век теории»¹.

По мнению Кеча, «век теории» длился около десятилетия, от середины 30-х до середины 40-х годов. Затем наступил новый период, который ознаменовался отказом от постулатов и надежд необихевиоризма.

И в «век теории» традиции «радикального бихевиоризма», на смену которому пришел необихевиоризм, продолжали жить среди американских психологов. И когда системы Толмена и Халла, оказавшись несостоятельными, утратили авторитет и влияние, когда наступило разочарование в промежуточных переменных, центральной фигурой на бихевиористской сцене стал Б. Скиннер (р. 1904), давно уже приобретший репутацию «антитеоретика». Назвав одну из своих статей так: «Нужны ли теории научения?», Скиннер ответил на поставленный вопрос решительным «нет!»². Обратим внимание на дату статьи: 1950 г. Волна необихевиоризма к тому времени быстро шла на убыль. В поведенческой психологии, главной темой которой по-прежнему оставался процесс научения, нарастал теоретический вакуум. Скиннер заявил, что теории вообще не нужны. Известно, что отрицание теории выражает определенную теоретическую позицию. Скиннер это хорошо понимал. И в дальнейшем, разъясняя смысл своего отрицательного ответа, он подчеркивал, что складывал в представлении о теории вполне определенный смысл, а именно объяснение наблюдаемых фактов путем обращения к процессам, которые происходят либо в нервной системе, либо в «концептуальной системе»³, либо в области психики (сознания). Теории, объясняющие научение этими процессами, дают, согласно Скиннеру, ложную уверенность в нашем знании о механизмах поведения и бессильны стимулировать позитивное исследование. Вместе с тем, возражая против оценки его концепции как антитеоретической, Скиннер подчеркивал, что всегда являлся сторонником теории, но «в другом смысле». Всегда — это значит с начала 30-х годов, когда операционалистское движение

¹ S. Koch (ed). Psychology: Study of Science, vol. III, p. 731—732.

² B. F. Skinner. Are theories of learning necessary, «Psychological Review», 1950, vol. 57, № 4.

³ Под «концептуальной системой» имелась в виду система понятий типа толменовской.

увлекло и Скиннера. В 1931 г. он опубликовал статью «Появление рефлекса в описании поведения». Здесь впервые условный рефлекс трактовался не как реальный акт жизнедеятельности, присущий ей самой по себе, а как производное от операций экспериментатора. Печать операционализма лежит на всех последующих его книгах: «Поведение организмов» (1938), «Наука и человеческое поведение» (1953), «Вербальное поведение» (1957), «Кумулятивная запись» (1961), «Факторы подкрепления» (1969).

К гипотезам и дедуктивным теориям, по его мнению, наука вынуждена прибегать там, где ее объектам являются микро- или макроявления, недоступные прямому восприятию. Психология же находится в более выгодном положении. Взаимодействие факторов, порождающих поведенческие реакции, можно непосредственно увидеть. Для этого, однако, требуются специальные экспериментальные установки и схемы. Они подобны оптическим приборам, позволяющим обнаружить события, скрытые от невооруженного глаза. Таким прибором Скиннер считал изобретенный им экспериментальный ящик (приобретший большую популярность под именем «скиннеровского ящика»), в котором белая крыса (или голубь), нажимая на рычажок (или кнопку), получают подкрепление. Рычаг соединяется с самописцем, регистрирующим движение. Нажатие на рычаг рассматривается в качестве образца и самостоятельной единицы «оперантной реакции» — очень удобной для фиксации, поскольку всегда можно однозначно определить, произошла она или нет. Дополнительные устройства позволяют соединять подкрепление с различными сигналами (звуковыми, световыми и т. д.). Схема опыта может быть усложнена. Например, вместо одного рычажка перед крысой выступают два, ставя ее тем самым в ситуацию выбора. Из этого довольно простого набора элементов составляются самые разнообразные планы управления поведением. Так, крыса нажимает на рычаг, по получает пищу только тогда, когда загорается лампочка. В результате в дальнейшем, при свете лампочки, скорость реакции заметно возрастает. Или: пища выдается лишь при нажатии определенной силы. В дальнейшем движения требуемой силы появляются все чаще и чаще. Можно соединить движение в цепь (скажем, реакция на зеленый цвет ведет к появлению нового раздражителя — красного цвета, двигательный ответ на который подкрепляется). Эксперимен-

татор может также широко варьировать время и порядок положительного и отрицательного подкрепления. Частоту реакций и их силу запечатлевают кривые, рассматривая которые, психолог, по Скиннеру, непосредственно видит порядок поведения во всей ее полноте и подлинности.

Экспериментальная модель Скиннера не была простой проекцией идей И. П. Павлова, хотя и сложилась под их влиянием. Признавая это, Скиннер вместе с тем противопоставил свою методику павловской, исходя из того, что каждой из них соответствует свой особый тип «обусловливания» (т. е. выработки условных рефлексов). Он предложил отвести условные рефлексы, изучавшиеся павловской школой, к типу S. Это обозначение указывало на то, что в классической павловской схеме реакции возникает только в ответ на воздействие какого-либо стимула (S), т. е. безусловного или условного раздражителя. Поведение же в «скиннеровском ящике» было отнесено к типу R и названо оперантным (или инструментальным). Здесь животное сперва производит реакцию (R), скажем, голубь нажимает на кнопку, а затем она подкрепляется. В ходе экспериментов были установлены существенные различия между динамикой реакции типа R и выработкой слюноотделительного рефлекса по павловской методике. Так, в опытах Скиннера угасание рефлекса происходило иначе, а именно, при неподкреплении реакции ее частота и сила возрастали, а не уменьшались, частичное подкрепление давало больший эффект, чем полное, и т. д.

У Павлова, подчеркивает Скиннер, собаки получали пищу вовсе не в силу того, что они что-либо делали. Они подкреплялись автоматически. Между тем в середине 20-х годов появились работы, изменившие классическую слюноотделительную методику. Ученик Павлова Ивано-Смоленский в 1927 г. сообщил об опытах, в которых дети должны были нажимать резиновую грушу, чтобы получить шоколадку. В следующем году Миллер и Конорский, экспериментируя с голодными собаками, давали им пищу в ответ на рефлекторное (или производимое экспериментатором) сгибание ноги. В конце концов собаки начинали «произвольно» сгибать лапу. Аналогичные опыты поставил: Адамс над кошками, Гриндли над морскими свинками. В этот же период и зародилась основная экспериментальная схема Скиннера. Она явилась, таким образом, отражением новых методических подходов к изучению

поведения, а не операционалистских установок. Значит ли это, что последние не имели никакого отношения к скиннеровской концепции? Нет, не значит.

Их влияние сказалось в интерпретации исследуемых явлений, в теоретических представлениях Скиннера, в частности в его утверждении, будто все реальное знание о поведении исчерпывается установлением корреляций между непосредственно наблюдаемыми переменными — реакциями организма, подкреплением этих реакций, стимулами, сопровождающими подкрепление. Строго следуя бихевиористской традиции, Скиннер исключает из психологического языка все «ментальные» понятия — образы, желая, эмоциональные состояния. Он считает также бесполезным обращаться к физиологии, расходясь тем самым со всем павловским направлением. Но в чем же тогда вклад Скиннера? Почему именно в нем американские психологи единодушно видят центральную фигуру современного бихевиоризма? Ведь ни борьба с «ментализмом», ни отрицание ценности физиологических объяснений поведения не представляют, как мы уже знаем, сколько-нибудь оригинальной позиции. Чем же в таком случае поддерживается авторитет Скиннера? Важное значение, конечно, имеет высокая экспериментальная культура его работ. Этого, однако, недостаточно. Сила научного влияния всегда обусловлена программой, разработка которой сказывается на исследовательской мысли. Вряд ли, например, можно признать существенным вклад Уотсона в экспериментальную психологию. Но его программа, выраженная в формуле «стимул — реакция», вдохновила множество экспериментальных работ. Когда рухнула надежда на принципиальную интерпретацию поведения (и управления им) исходя из отношения между двумя указанными переменными, зарождается представление о важной роли «третьей» переменной. Дискуссии о ее природе стали, как мы знаем, осью необихевиоризма, отвергнутого Скиннером. Означает ли это, что скиннеровская концепция возвратила психологическую мысль ко времени Уотсона, что бихевиоризм кончил тем, с чего начал, а именно — формулой «стимул — реакция»?

Любопытно утверждение Скиннера, что именно необихевиоризм считал указанную формулу непреложной и что оба варианта необихевиоризма — и толменовский и халловский — не что иное, как попытка ее спасти. Ограничен-

ность же этой формулы, по его мнению, состоит в том, что она не учитывает влияния результатов реакции на последующее поведение. Реакция рассматривается только как производное от стимула, только как следствие, но не как детерминанта, которая модифицирует организм. «Адекватная формула о взаимодействии организма с его средой должна всегда специфицировать три вещи: 1) событие (occasion), по поводу которого происходит реакция, 2) саму реакцию, 3) подкрепляющие последствия... Эти взаимоотношения являются более сложными, чем отношения между стимулом и реакцией».

Попытки перейти от «линейного» представления о поведении к «кольцевому», т. е. понять не только прямую, но и обратную связь в отношениях между стимулом и реакцией, предпринимались в бихевиоризме и до Скиннера. Газри, например, доказывал, что сама по себе реакция может стать раздражителем, который ассоциируется со стимулом, вызвавшим эту реакцию. Уорен выдвинул теорию «циркулярного рефлекса». В дальнейшем представление о «реафферентации», когда само ответное действие (а не внешний по отношению к нему раздражитель) становится источником сигналов, влияющих на дальнейший ход поведения, сделалось одним из центральных понятий кибернетики — понятием об обратной связи. Быть может, именно такого рода преобразование формулы «стимул — реакция» и имел в виду Скиннер? Нет. Он отгораживает свою концепцию «оперантного подкрепления» от кибернетического взгляда на управление посредством сигналов обратной связи. И для этого имеются веские основания.

В кибернетике обратная связь — это непрерывный поток в систему информации о среде, в которой реализуется программа поведения. На определенном уровне развития живой системы сигналы организуются в образ, воспроизводящий определенные характеристики своего объективного источника.

Для Скиннера же (как и для всего бихевиоризма) категория образа не существует. А бихевиористское понятие о стимуле, которое на первый взгляд может показаться некоторым подобием сигнальной (или образной) связи организма со средой, в действительности является сугубо механическим. Оно предполагает, что стимул, выполняя свою работу по типу «спускового крючка», лишь запускает в ход систему, но не передает никаких сведений о свойствах

среды, в которой эта система действует. Итак, обратная связь в понимании Скиннера не соотносится ни с психологической категорией образа, ни с кибернетической категорией сигнала. С какой же категорией она соотносится? С категорией мотивации. Ведь подкрепление, выступающее у Скиннера в качестве главного (и, по существу, единственного) фактора регуляции поведения и выработки у животного и человека новых форм реакций, представляет именно мотивационный аспект жизнедеятельности. Скиннер полагает, будто, используя подкрепление в качестве «третьей переменной» (наряду со стимулом и реакцией), он остается верен позитивистскому канону, согласно которому исследователю надлежит оставаться в пределах «непосредственного наблюдаемого». Но это иллюзия. Экспериментатору может казаться, что вся совокупность факторов находится, так сказать, перед его глазами и в его руках. Однако его истинные возможности зависят от множества обстоятельств, которые не даны его «прямому видению», но вместе с тем предопределяют все, что оказывается в поле этого видения.

В качестве главного подкрепления во всех процедурах скиннеровской школы используется пищевое подкрепление. Методика его применения, как уже отмечалось, отличается от классической, павловской схемы. Здесь экспериментатор не воздействует на организм условным раздражителем, с тем чтобы подкрепить его безусловным, а ожидает, когда животное произведет хотя бы небольшое движение в нужном направлении. Как только это произошло, реакция немедленно подкрепляется. Затем подкрепляется следующий шаг в том же направлении. И так постепенно, шаг за шагом, программируется поведение организма.

Но от чего зависят успешность действий экспериментатора? Скиннер предполагает, что от оперирования тремя «наблюдаемыми» переменными (оперативная реакция, наличные раздражители, подкрепление). Но разве, однако, не очевидно, что подкрепление может быть эффективным лишь тогда, когда организм соответствующим образом мотивирован? Мотивация в случае, скажем, пищевого подкрепления детерминирована таким «ненаблюдаемым» процессом, как обмен веществ. Эта недоступная прямому наблюдению детерминанта и служит главным мотивационным основанием приобретения животными новых форм

реакций как в павловской, так и в скиннеровской школе. Но если учение Павлова открыто соединило свою трактовку подкрепления с эволюционно-биологическим взглядом на организм, то теория Скиннера игнорирует биологические (а у человека — социальные) корни подкрепления. И не удивительно. Ведь эти корни для позитивиста суть нечто ненаблюдаемое, выпадающее из поля зрения экспериментирующего психолога. Не принимая в расчет реальные корни мотивации в своей теоретической конструкции, Скиннер тем не менее исходит из категории мотива (фигурирующей в форме понятия о подкреплении) в своих конкретных исследованиях поведения.

Категориальная схема, которой стал оперировать Скиннер, соединила, стало быть, категорию действия, какой она сложилась в «классическом» бихевиоризме с принципом подкрепления (категорией мотивации), заимствованным у Павлова. Это позволило сделать шаг вперед по сравнению с Уотсоном, научить широкий спектр отношений между двигательной активностью организма и ее мотивационной регуляцией.

Заслуживают внимания и другие моменты, отмеченные Скиннером. К ним относятся прежде всего попытки учесть активность («произвольность») приспособительных движений, понять функцию раздражителя не в качестве силового агента, вызывающего двигательный ответ по типу механического толчка (как это происходит, например, при коленном рефлексе), а в качестве условия, по поводу которого совершается реакция, объяснить избирательность этой реакции (например, игнорирование организмом определенной категории раздражителей) «характером подкрепления», а не вмешательством загадочных психических сил.

У Скиннера получила развитие линия, намеченная Торндайком, но оставленная без внимания Уотсоном и его последователями. Мы имеем в виду переход от представления об однозначной связи «стимул — реакция» к представлению о связи «реакция — стимул». Ведь оперативное поведение отличается тем, что стимул начинает влиять на него (скажем, усиливать скорость движений) не до реакции, а после того, как она произведена и подкреплена.

Почерпнув у Павлова принципы, касающиеся проблемы мотивации (подкрепления), Скиннер проявил удивительную восприимчивость к другим павловским идеям. Будучи позитивистом, он не увидел в павловском

учепии ничего, кроме описания корреляций между стимулами и количеством выделенной подопытным животным слюны. По его мнению, подопытные собаки у Павлова, будучи лишены возможности двигаться, ничего не делают для того, чтобы получить подкрепление. «Можно сказать, что в его (Павлова) основных исследованиях организм получает пищу не потому, что он что-либо сделал; слюна, вызванная условным раздражителем, не производит пищу, которая за этим следует». Верно, что крысы и голуби у Скиннера решали иные экспериментальные задачи, чем собаки у Павлова. Но неверно, будто эти последние ничего не делали для того, чтобы добыть подкрепление. В действительности они производили огромную работу, однако на уровне сенсорном, а не эффекторном. Эта работа состояла в различении раздражителей, в образовании новых сигнальных структур и их включении в процесс управления поведением.

В 1963 г. исполнилось полвека уотсоновскому «манифесту». Скиннер откликнулся на эту дату статьей «Бихевиоризм в 50». Он отмечает, что выросло новое поколение американских психологов, по закаленное, подобно предшествующему, в борьбе с «ментализмом». Взамен строгой трактовки психологии как науки о поведении большинство учебников предлагает компромисс: «и поведение и психика». Скиннер же полагает, что «радикальный бихевиоризм» по-прежнему остается единственной альтернативой анимистическому представлению о маленьком «внутреннем человечке» («гомункулусе»), который под именем души, сознания, «я» и т. п. рассматривает образы, постулированные из внешней среды или извлеченные из запасов памяти, перерабатывает их и посылает команды мышцам.

Борьба бихевиоризма против идеи о «внутреннем человечке», прихоти которого правят внешним поведением, справедлива в той степени, в какой она мотивирована потребностью в объективном, детерминистическом анализе деятельности. Но она не эффективна, как об этом свидетельствует более чем полувековая история бихевиоризма, из-за игнорирования именно тех особенностей человеческого поведения, которые дали пищу для представлений о «гомункулусе». Образ, мотив, психически регулируемое действие, все внутренние компоненты структуры в жизни личности — это не порождение мифологического мышления,

а реалии, требующие причинного объяснения. Их следы обнаруживаются и в бихевиористской теории, где суррогатом образа стал «дискриминативный стимул», мотива — подкрепление, а действия — стимул-реактивное отношение.

Ограничившись суррогатами, бихевиоризм неотвратимо вступил в конфликт с запросами научного прогресса. Он сыграл известную роль в разрушении концепций, базировавшихся на субъективном методе. Он пытался показать, что область психического простирается далеко за пределы «внутреннего поля» сознания, и укрепить репутацию психологии как дисциплины экспериментальной и точной. Но реализовать свою программу бихевиоризм смог, как мы видели, лишь в очень ограниченных пределах.

От Уотсона до Скиннера бихевиоризм усматривал главную опасность для причинного мышления в категории образа. Он доказывал, будто, обращаясь к ней, психология уходит в пучину неуловимого, мистического. Но разве не очевидно, что он воспринимал эту категорию глазами своих противников-интроспекционистов? Ведь именно она выработала представление о сознании как «вместитище образов», совершаемых и комбинируемых субъектом.

Принимая это представление за единственно достоверное, бихевиоризм положил огромные усилия на то, чтобы вытравить из психической деятельности ее образную ткань, а это неизбежно искажало всю картину психической реальности, стало бычь, также и тот фрагмент картины, который представлен категорией действия. Борьба за детерминистическую психологию могла быть успешной лишь на пути строго причинной разработки всей системы категорий, представляющих внутреннюю жизнь индивида. Бессилие бихевиоризма перед этой жизнью, его односторонность лишь укрепляли позиции сторонников субъективной психологии.

Бихевиоризм на протяжении всей своей истории выступал под лозунгом превращения психологии в естественную науку о поведении организма. Но организм, по существу, оказывался «пустым» в его схемах. Стремление разработать психологическое учение о действии, в отличие от физиологического учения о мышечном движении, привело к противопоставлению психического физиологическому. Между тем реальный организм при всем многообразии уровней регуляции его поведения целостен по своей

природе. Поэтому исследование законов его поведения может успешно вестись лишь путем сопоставления, а не разлечения психосоматических и чисто соматических компонентов жизнедеятельности.

Мы отметили выше, с чего начинал Уотсон, определяя профиль «новой» психологии: понятие о поведении трактовалось как исключаящее факты сознания (образы), их нейросубстрат. Необихевиоризм пытался внедрить в систему поведенческих понятий и образы (Толмен), и верные процессы периферического уровня (Халл). Обе попытки оказались неудачными. На смену им пришли исследования Скиппера и его последователей, придерживавшихся «радикальной» ориентации. Но на всеречисленных концепциях эволюция бихевиоризма не оборвалась. В середине века наступает новая (третья — после «уотсонизма» и необихевиоризма) фаза в развитии бихевиористского движения. И вновь сложившаяся под влиянием этого движения исследовательская мысль бьется над двумя «проклятыми» проблемами, которые Уотсон некогда надеялся раз и навсегда из психологии устранить: проблемой образа и проблемой нейромеханизмов.

Психопрактический аспект поведения не может успешно разрабатываться сам по себе, безотносительно к психогенетическому и психофизиологическому. Об этом говорят не только общие теоретические соображения, но весь исторический опыт психологии.

Проследившая перипетии бихевиористского направления, мы обнаруживаем за всеми его вариантами и фазами воздействие общих методологических начал — позитивистской интерпретации научного познания и механистической философии человека, согласно которой детерминанты поведения крысы идентичны детерминантам поведения человека в «лабиринте жизни». Но обе эти методологические установки, как показывают результаты, к которым пришел бихевиоризм, оказались несостоятельными.

ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГИЯ И КАТЕГОРИЯ ОБРАЗА

До того как выступил бихевиоризм, ощущение являлось главным объектом исследования молодой экспериментальной психологии. И вместе с тем, как это ни представится парадоксальным, образный аспект психической жизни, несмотря на все усилия, не только не раскрывался в психологических лабораториях, но, напротив, испарялся, исчезал из-под рук. Программа его исследования требовала дробить запутанный чувственный опыт с помощью тренированного самонаблюдения и специальных приборов до исходных, далее неразложимых «частей». Но эта-то программа и обнаруживала повсеместно свою непригодность. Положение усугублялось, как мы знаем, воздействием на психологию философской концепции махизма. отождествив ощущение со свойством внешнего предмета, махизм лишил реальное впечатление и то и другое. Продолжением этой линии были и нападки Авенариуса на «интроспекцию», из которых вытекало, что психологии вообще нечего делать с образом, поскольку он вовсе не является чем-то присущим мозгу или субъекту. Затем выступили прагматист Джемс, отвергнувший существование сознания как «вместилища образов», неореалисты, и последовали другие, уже хорошо нам известные события, завершившиеся «манифестом» Уотсона.

Но сквозь какие бы ложные философские призмы преломлялась психическая реальность, потребности научного развития вынуждали искать все новые и новые способы ее постижения. Тот ее аспект, на который указывает категория образа, неизбежно должен был выступить

как предмет специального теоретического анализа и эмпирического исследования. Его попытка была осуществлена гештальтпсихологией. Она формировалась в атмосфере господства идеалистической философии, и это, как мы увидим, отразилось на ее направленности и результатах.

Свое имя эта школа получила от немецкого слова «гештальт», что означает «форма», «структура», целостная «конфигурация». С перечисленными синонимами, однако, соединяются многие другие значения¹.

Предпочтем поэтому само слово «гештальт», тем более что оно давно уже превратилось в международный психологический термин.

Гештальт означает организованное целое, свойства которого не могут быть получены из свойств его частей. «Имеются целостности, чье поведение не детерминируется поведением индивидуальных элементов, из которых они состоят, но где сами частные процессы детерминируются внутренней природой целого»², — так определял гештальт один из лидеров новой школы, М. Вертгеймер (1880—1943). Целостность, тотальность, расчлененная структура, организация — эти характеристики гештальта противопоставлялись «атомистическому» подходу, неудовлетворенность которым нарастала не только в психологии. В физике возникло понятие об электромагнитном поле, в биологии разрушалось представление об организме как механическом соединении дискретных элементов. Проблема целого и части приобретала все большую остроту. В этой атмосфере и зарождался гештальтизм. Но его развитие стимулировали не только новые веяния в естествознании. Психология имела собственные проблемы и трудности.

Искусственность построений структурализма и того метода анализа сознания, который он практиковал, вызвала все более резкие возражения с различных сторон. Призывы рассматривать психическую жизнь в ее целостности, внутренней связности и т. п. раздавались повсеместно. Они принадлежали сторонникам различных па-

¹ Так, в изучении «структуры» сознания видели свою главную задачу представители вундтовско-тиченеровского направления, против которого в первую очередь и выступили гештальтисты. Точно так же термины «форма» и «конфигурация» использовались во многих других психологических учениях.

² R. I. Watson. The Great Psychologists. N. Y., 1963, p. 408.

правлений. Их можно встретить у Дильтея, Джемса, Маха и многих других. Поэтому сама по себе защита принципа целостности в противовес «атомизму» еще не говорит о своеобразии гештальтистского подхода. Джемс, например, утверждал, что отдельное, изолированное ощущение — это фикция, порожденная противоестественной процедурой, которую придумали психологи. Но, критикуя эту процедуру, он пошел не по пути утверждения целостного и структурного характера чувственных образов, а в совершенно другом направлении. «Поток сознания» был представлен им в виде непрерывной смены смутно уловимых переходных состояний. Предметно-смысловое содержание сознания оказалось у Джемса в конце концов изъятым из состава психической реальности.

Гештальтистская критика «атомизма» в психологии имела иной смысл. Она была предпосылкой переориентации эксперимента с целью выявления в сознании образных структур или целостностей. Для решения этой задачи прежний интроспективный метод был непригоден. Требовалась его модификация. Она получила название феноменологического метода.

Первая попытка превратить обычное самонаблюдение в средство экспериментального анализа принадлежала, как известно, Вундту. У Вундта и его последователей испытуемые специально тренировались с целью поиска исходных элементов сознания и устранения «ошибки стимула». Под последней понималось смешение «истинного» ощущения или чувствования с реальной вещью, которая его вызвала. Так, если испытуемому показывалась какая-либо вещь и на вопрос, что он видит, он отвечал «черпильница», то подобная реакция считалась неправильной. «Научным» ответом признавался такой, при котором детально описывались ощущения (зрительные, осязательные и т. д.), возникшие в момент восприятия предмета. Вторым вариантом интроспективного метода практиковался Вюрцбургской школой. Здесь от испытуемого требовалось расчленить течение мыслей в сознании на «фракции» и последовательно описать каждую из них.

Третий вариант интроспективного метода, получившего название феноменологического, восходит к Ф. Брентано.

Будущие гештальтисты воспитывались главным образом в двух психологических лабораториях: у ученика

Брентано Штумифа в Берлине и у Г. Э. Мюллера в Геттингенском университете, где профессорствовал другой ученик Брентано — Э. Гуссерль (1859—1938).

Мы отмечали, что объект, по Брентано, являет собой феномен, актуализируемый благодаря интенции сознания. Содержание сознания субъекта и внешний объект не различались, они трактовались как идентичные. Э. Гуссерль, вслед за Брентано считая феномены сознания первичными (и тем самым последовательно отстаивая идеалистическую установку), учил, что эти феномены достойны быть рассмотренными сами по себе. Вопрос об их происхождении и об отношении к независимой от сознания реальности был вынесен Гуссерлем за скобки. Поэтому требование вундтовцев избегать «ошибки стимула» следует, с его точки зрения, отвергнуть. Ведь оно предполагает, что всякий раз следует расчленять образ и выяснять, что в его составе представляет истинно психическое, а что — указывает на внешний раздражитель. В действительности же, согласно Гуссерлю, такой предвзятый аналитический подход только мешает понять все богатство психического мира.

Гуссерль видел свою задачу в том, чтобы реформировать логику¹, а не психологию. Но выдвинутая им идея феноменологического метода как якобы «непредвзятого», освобожденного от привычных стереотипов мышления описания сознания во всей его непосредственности и полноте произвела глубокое впечатление на молодых сотрудников Г. Э. Мюллера, занимавшихся экспериментально-психологической работой. Среди них выделялись Д. Катц и Е. Рубин.

В работах Катца «Построение мира цветов» и «Построение мира осязательных восприятий» было показано, что зрительный и осязательный опыт несравненно полнее

¹ Для этого, по плану Гуссерля, логика должна быть превращена в феноменологию, цель которой раскрыть фундаментальные феномены и идеальные законы познания. Абстрагируясь от всего, что связано с существованием человека как естественного существа, и пользуясь методом интуитивного анализа сознания, феноменология, полагал Гуссерль, постигает «чистые» сущности. Исходя из этой идеи, развернутой в его книге «Логические исследования» (1900—1901), Гуссерль подверг критике психологам — учение, которое искало для логических законов психологические основания. В современной буржуазной философии идеалистическая феноменология стала одним из основных направлений.

и своеобразнее, чем его изображение в психологических схемах, которые ограничиваются такими понятиями, как светлота, насыщенность и т. д., и что поэтому образ достоинства того, чтобы изучаться как самостоятельный феномен, а не как простой эффект стимула. Важным свойством образа является его константность, постоянство при изменяющихся условиях восприятия. Так, лист бумаги воспринимается как белый при различном освещении: и в сумерках, и при ярком солнечном свете. Условия варьируют, а чувственный образ остается постоянным. Вместе с тем константность разрушается, если объект воспринимается не в целостном зрительном поле, а вычленившись от него.

Интересные факты, говорящие о целостности восприятия и ошибочности представления о нем как о мозаике ощущений, были получены датским психологом Рубином, изучившим феномен «фигуры и фона». Фигура воспринимается как замкнутое, выступающее вперед целое, ограниченное от фона контуром, тогда как фон кажется простирающимся позади. Об их различии убедительно говорят так называемые «двойственные изображения», когда рисунок воспринимается то как ваза, то как два профиля. Катц, Рубин и другие психологи-экспериментаторы, перешедшие от «атомистического» понимания чувственного восприятия к целостному, не считали себя приверженцами особой научной школы, имеющей собственную теоретическую программу. Но вскоре такая школа появилась. Она была представлена триумvirатом: М. Вертгеймер, В. Келер (1887—1967) и К. Коффка (1886—1941). «Стратегическим» экспериментом, от которого эта школа вела свою родословную, было изучение Вертгеймером так называемого «фи-феномена».

С помощью специальных приборов (стробоскопа и тахистоскопа) он экспонировал с различной скоростью один за другим два раздражителя (прямые линии или кривые). Когда интервал был относительно большой, испытуемый воспринимал их последовательно. При очень коротком интервале они воспринимались как данные одновременно. При оптимальном интервале (около 60 миллисекунд) возникало восприятие движения, т. е. глаз видел перемещение линии направо или налево, а не наличие двух линий, данных последовательно или одновременно. В определенном моменте, когда временной интервал начинал

превышать оптимальный, испытываемый в какой-то момент воспринимал чистое движение, т. е. осознавал, что движение происходит, но без того, чтобы перемещалась сама линия. Это явление было названо «фи-феноменом». «Фи-феномен» выступал не как соединение отдельных сенсорных элементов, а как «динамическое целое». Опыты Вертгеймера опровергали «атомистическую» концепцию о «сло-жении» ощущений в целостную картину. Они были повторены многими исследователями на самом разнообразном экспериментальном материале. Были опубликованы сотни статей о восприятии движения объектов, различающихся по положению, форме, цвету и т. д. Во всех случаях наблюдался «фи-феномен».

Если первым открытием гештальтистов был «фи-феномен», то первым теоретическим трудом — трактат Кёлера «Физические гештальты в покое и стационарном состоянии» (1920). Кёлер, как и Вертгеймер, стремился перестроить психологический способ объяснения по типу физико-математического. Теория электромагнитного поля, созданная Максвеллом, новые энергетические представления, развитые Планком, — все это, по мнению гештальтистов, создавало предпосылки для смены картины организма и его психических функций. Если раньше физика Галилея и Ньютона определила склад мышления сторонников ассоциативной психологии: изолированные, тождественные самим себе частицы, движущиеся по законам механики, служили образцом, по которому выкраивались «атомы» души, то теперь физика выработала другой образец, и ориентация на него сулила, как представлялось гештальтистам, реконструкцию психологического познания.

Посредником между физическим полем и целостным восприятием должна была стать, по их мнению, новая физиология, не физиология изолированных нервных элементов и путей — верная союзница психологической схемы элементов сознания и ассоциаций между ними, а физиология целостных и динамичных структур — гештальтов. Стремясь найти материальное основание для психических гештальтов, Кёлер наметил воображаемую физиологию мозга, которая базировалась на физико-химических представлениях. В своем упомянутом выше труде он излагал физико-химические проблемы с целью развить одну из стержневых идей гештальтпсихологии — идею изоморфиз-

ма материальных (физиологических) и психических процессов.

Гештальтистам представлялось, что принцип изоморфизма, согласно которому элементы и отношения в одной системе взаимно однозначно соответствуют элементам и отношениям в другой, позволит решить психофизическую проблему, сохранив за сознанием самостоятельную ценность и в то же время утвердив его соответствие материальным структурам.

Конечно, изоморфизм как математическая категория сам по себе не является ни материалистическим, ни идеалистическим. Но он не может разрешить коренные вопросы психологической теории, в том числе психофизическую проблему, в трактовке которой гештальтпсихология следовала идеалистической традиции. Ведь отношение двух рядов явлений — психических и физических мыслилось по типу параллельности, а не причинной связи. Не порождаясь материальными структурами, а лишь соответствуя им, психические гештальты выступали как причина самих себя.

Что касается физических структур и полей, то они действительно не имеют другого основания, кроме физического взаимодействия. Но к сознанию такой подход неприменим. Оно не является самостоятельным миром, и его динамика не может быть каузально понята из него самого. Гештальтисты же превратили психические формы в своего рода сущности. Они утверждали не только несводимость этих форм к их частям, но и существование особых законов гештальта. Им представлялось, что, опираясь на эти законы, психология превратится в точную науку типа физики.

Фигура в фоне, константность, транспозиция — все это действительно фундаментальные феномены в области чувственного познания. Возникает, однако, вопрос: можно ли вместе с открытыми гештальтистами в экспериментах феноменами принять и их интерпретацию в качестве законов, предложенную гештальтизмом? Ведь указать на имманентную динамику гештальта, на то, что образ сам по себе устроен так, что «стремится» быть отчетливым, замкнутым, «хорошим» (прегнантным) и т. д., и опираться при этом на авторитет одного только сознания — значит уйти от причинного объяснения.

Это явствует из гештальтских исследований не только восприятия, но и мышления. Наиболее типичная особенность мысли — открытие нового — связывалась ими с преобразованием познавательных структур.

Вертгеймер, изучая на большом эмпирическом материале¹ способы этого преобразования, применил общую гештальттеорию к объяснению продуктивного (творческого) мышления. Он отметил несостоятельность двух подходов к мыслительной деятельности — ассоцианистского и формально-логического. От обоих скрыт ее творческий характер, ее реорганизация в новое динамическое целое. В опытах Вертгеймера, так же как и в предшествующих работах Кёлера, Дункера и др., обнаруживалось отрицательное влияние привычного способа восприятия структурных отношений между компонентами задачи на ее продуктивное решение. Вертгеймер, в частности, подчеркивал, что у детей, обучавшихся геометрии в школе на основе чисто формального метода, несравненно труднее выработать продуктивный подход к задачам, чем у тех, кто вообще не обучался. Он стремился выяснить специфически психологическую сторону умственных операций, отличную от логической. Его термины «реорганизация», «группировка», «центрирование» описывали реальные моменты интеллектуальной работы. Однако до их причинного объяснения было далеко. Факторы, определяющие возникновение и трансформацию гештальтов, остались невыясненными.

Трактруя интеллект как поведение, направленное на решение проблем, Кёлер провел свои знаменитые опыты над человекообразными обезьянами. Создавались ситуации, в которых подопытное животное для достижения цели должно было найти обходные пути (например, построить пирамиду, чтобы достать подвешенный к потолку банан). Вопрос, на который отвечал эксперимент, состоял в выяснении того, каким способом решается задача: происходит ли здесь слепой поиск со случайной удачей (как у торндайковских кошек), или обезьяна достигает цели благодаря внезапному, спонтанному схватыванию отношений, пониманию (инсайт). Кёлер решительно высказался за второе. Он объяснил удачные решения животного тем,

¹ Он использовал, в частности, свои беседы с Эйнштейном о лутях, приведших к теории относительности.

что поле его восприятия обретает новую структуру, адекватную проблемной ситуации. Безразличные до того предметы приобретают «функциональную ценность» орудий решения проблемы.

Гипотеза инсайта (внезапного постижения) вызвала длительные дискуссии. Ее реальный смысл состоял в том, что она вскрыла ограниченность концепции «проб, ошибок и случайного успеха». Но само по себе указание на инсайт не проливало свет на механизмы интеллекта.

Гештальтстскую концепцию инсайта подтачивало противоречие между исходной феноменологической посылкой и фактическим составом исследований.

Исследования, проведенные гештальтистами, оказали влияние на экспериментальное изучение познавательных процессов, внутреннего плана поведения. В психологических лабораториях не задавались больше вопросом: «Как обнаружить в данном восприятии исходные чувственные элементы, из которых оно построено?» Стала складываться новая экспериментальная практика изучения чувственных образов в их целостности, динамике, трансформациях. По типу преобразования сенсорных структур стала объясняться динамика мышления. Важной особенностью этого процесса является его упорядоченность, целенаправленность. Гештальтисты выступали против того, чтобы относить ее за счет особого внутреннего агента (скрывающегося под разными именами — души, субъекта, «Я» и т. д.), как бы дирижирующего ходом мыслей.

Мы уже отмечали, что бихевиористы выступали против идола субъективной психологии — пресловутого «гомункулуса», «маленького человечка», появлявшегося каждый раз, когда требовалось объяснить, каким образом организм производит выбор нужной реакции, изменяет способ поведения и т. д. Ведь потому бихевиористы и обрушились на понятие о сознании в его основном компоненте — образе, что считали его псевдонимом все того же незримого «гомункулуса» — загадочной внутренней силы, которая все объясняет, не нуждаясь сама в объяснении. Между тем «гомункулус» прочно окопался в учении не только о действии, но и об образе. Представление об ощущениях как исходных, непредметных элементах сознания дополнялось представлением об особой силе, соединяющей их в предметный образ. Гештальтисты выступили против этого способа объяснения, принятого некогда во многих

лабораториях экспериментальной психологии¹. Если бихевиористы, считая образ опасным балластом, требовали избавиться от него, то гештальтисты выступали за такой подход к образу, который был бы совместим с объяснительными началами естествознания. В этих целях широко использовался метод моделирования. Навейное физикой модельное представление о перцептивном поле и его преобразованиях (заменившее представление об элементах сознания, комбинируемых «гомункулусом» — субъектом) стало одним из источников современной информационной трактовки познавательных процессов (нашедшей свое применение, например, в кибернетике). Почему же, однако, гештальтистская теория образа не выдержала испытания временем и гештальтизм перестал соответствовать новым научным запросам? Причина этого в методологической слабости, которая была обусловлена феноменологическим взглядом на сознание и неспособностью выйти за пределы параллелизма в объяснении связи душевных и телесных актов. Под влиянием феноменологической традиции и психофизического параллелизма он не смог реализовать стремление к целостной системе, охватывающей как внешнее, так и внутреннее, и, по существу, не вышел за пределы психических структур и их динамики.

Гештальтизм, так же как и бихевиоризм, с которым он соперничал, претендовал на общую теорию психической жизни в целом. Но его реальные достижения группировались в пределах исследования одной из сторон психического, а именно той, на которую указывает категория образа (образно-смысловой аспект психической деятельности). Пытаясь распространить свои объяснительные схемы на явления, которые не могут быть представлены в категории образа, он сразу же наталкивался на огромные трудности. Если на заре своей истории он самоутверждался в противовес «атомистической» психологии сознания, то в дальнейшем его главным противником становится «атомистическая» психология поведения.

Гештальтизм объявил войну структуралистской психологии под тем предлогом, что ее главный принцип — первичность части над целым — является несостоятельным. В действительности же он целился в ее представление о

непредметности сознания, понимая, однако, под влиянием феноменологических воззрений образно-смысловой аспект сознания как обусловленный особыми законами самого сознания — законами гештальта.

В своей критике психологии поведения гештальтизм дисконтировал усилия на защите идеи целостности в противовес бихевиоризму, трактовавшему сложную реакцию как сумму простых, далее неразложимых.

Но бихевиоризм игнорировал, как мы знаем, и образ, видя в нем не психическую реальность, не регулятор поведения, а неуловимый, приврачный продукт интроспекции. Для гештальтизма же учение о двигательных актах, лишенной образной ориентации на среду, представлялось игнорирующим самую сердцевину психической деятельности.

Расхождение между гештальтистами и бихевиористами наиболее резко выразило противопоставление келеровского понятия «инсайт» торндайковскому понятию «пробы и ошибки». На первый взгляд противопоставление этих понятий определяется различием между мгновенным решением проблемы и постепенным. В одном случае (при инсайте) нужный вариант находится сразу же, в другом — он отбирается путем длительных поисков. Но не только по этому признаку «инсайтное» поведение противопоставлялось «пробам и ошибкам». Ведь инсайт означал для гештальтистов переход к новой познавательной, образной структуре, соответственно которой сразу же меняется характер приспособительных реакций. Первично понимание (сдвиг в образном аспекте), вторично двигательное приспособление (перестройка в исполнительных аспектах действия). Концепция же «проб и ошибок» игнорировала понимание (т. е. образно-ориентировочную основу действия), каким бы оно ни было (мгновенным или постепенным). Адаптация считалась достижимой за счет тех же факторов, которые обеспечивают приспособление организма к среде на всех уровнях жизнедеятельности, в том числе и на уровнях, где образ вообще отсутствует. Ведь «пробы», «ошибки», «случайный успех» — это термины, применимые к общебиологическому приспособлению!

Пытаясь показать односторонность бихевиоризма, его неспособность охватить своими объяснительными понятиями образно-смысловую регуляцию действия, гешталь-

¹ Наиболее ярко его отразило вундтовское учение об апперцепции, о котором говорилось выше.

тизм, однако, оказался беспомощным перед этой регуляцией, ибо он так же, как и его противник, разъединил образ и действие. Ведь образ у гештальтистов выступал в виде сущности особого рода, подчиняемой собственным имманентным законам (прегнантности, константности и т. п.). Его связь с реальным, предметным действием оставалась ничуть не менее загадочной, чем соотношение между действием и образом у бихевиористов.

Неспособность соединить эти важнейшие категории, разработать единую схему анализа психической реальности в нераздельности ее внутренне связанных компонентов явилась логико-исторической предпосылкой распада обеих школ — и гештальтизма, и бихевиоризма. Ложная методология — в одном случае феноменологическая концепция сознания (у гештальтистов), в другом — прагматистская, механо-биологическая концепция поведения (у бихевиористов) — явилась непреодолимым препятствием для подлинно научного синтеза.

ФРЕЙДИЗМ И КАТЕГОРИЯ МОТИВАЦИИ. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Ни одно психологическое учение не вызывало столь резких расхождений в оценках, столь ожесточенных споров, как учение Зигмунда Фрейда (1856—1939). Объясняется это его огромным социальным резонансом, обусловленным претензией фрейдизма на создание новой «картины человека», нового мировоззрения.

В марксистской литературе как в нашей стране, так и за рубежом показана несостоятельность этих претензий, несовместимость теории Фрейда с научными представлениями о социальной природе человека и закономерностях его психического развития.

Одним из давних психологических приемов является так называемый ассоциативный эксперимент. Он состоит в том, что испытуемому предъявляют какое-либо слово, требуя возможно более быстро ответить на него любым другим, первым пришедшим в голову. Если, проводя этот эксперимент с современным человеком, назвать имя Фрейда, то можно предвидеть, что чаще всего наш воображаемый испытуемый отреагирует на это имя такими словами, как «половой инстинкт» либо «бессознательное». Эта ассоциация, прочно затвержденная под влиянием всего, что писалось и продолжает писаться о Фрейде, имеет за собой веские основания. Но ею невозможно ограничиться при характеристике сути и функции психоанализа.

Понятие о бессознательной психике сложилось за несколько веков до Фрейда. Не говоря уже о философской традиции, в рассмотрение которой здесь входить не место, к представлению о бессознательных психических проявлениях пришли, как мы уже знаем, многие физиологи и

психологи — до Фрейда и независимо от него¹. Не общими соображениями о природе души, а эмпирическая работа в лаборатории и клинике обратила взоры исследователей к тому уровню психической активности, о котором рефлектирующее сознание с его аппаратом «слежения» субъекта за собственными мыслями и переживаниями ничего сообщить не может. Чтобы понять своеобразие подхода Фрейда к проблеме бессознательного, нужно вычленив аспекты, на которых он впервые сконцентрировал внимание.

Далеко за пределами психологических клиник и лабораторий широкую известность приобрел пансексуализм Фрейда — учение о всемогуществе полового влечения (сексуальную энергию Фрейд обозначил термином «либидо»).

Именно то, что эта часть фрейдистского учения оказалась столь популярной в определенных кругах в капиталистическом обществе, объясняется определенными классовыми причинами, на которые указал В. И. Ленин в беседе с Кларой Цеткин:

«Мне кажется, что это изобилие теорий пола, которые большей частью являются гипотезами, притом часто произвольными, вытекает из личных потребностей. Именно из стремления оправдать перед буржуазной моралью собственную ненормальную или чрезмерную половую жизнь и выпросить терпимость к себе. Это замаскированное уважение к буржуазной морали мне так же противно, как и любовное копание в вопросах пола. Как бы бунтарски и революционно это занятие ни стремилось проявить себя, оно все же в конце концов вполне буржуазно. Это особенно излюбленное занятие интеллигентов и близко к ним стоящих слоев»².

¹ Возможно, что определенную роль в утверждении мнения, согласно которому именно Фрейд, а не кто-либо другой превратил область бессознательного в объект специального исследования, сыграл утверждение самого Фрейда, неоднократно писавшего о том, что психоанализ — это «наука о бессознательных психических процессах». Известно, однако, что о любой концепции нужно судить не по тому, какой она представляется ее авторам и сторонникам, а по ее объективным особенностям, раскрываемым только в реальном историческом контексте. Тогда и становится очевидным, что реальный смысл того, что в действительности сделано Фрейдом (в отличие от его притязаний), состоял не в создании науки о бессознательных психических процессах, а в постановке и клиническом анализе ряда проблем мотивации и структуры личности.

² «Воспоминания о В. И. Ленине», т. 5. М., 1969, стр. 43.

Вместе с тем пансексуализм фрейдистской доктрины не может рассматриваться как причина и источник ее влияния на конкретную научную работу в области психологии¹.

Давно уже нет ни одного серьезного исследователя, который бы, используя то или иное фрейдовское понятие, принимал принцип пансексуализма и совершенно фантастическую схему эволюции полового инстинкта. Это вовсе не означает, что стоит только отделить от фрейдистской концепции принцип пансексуализма, как она приобретет строго научный характер.

Многие из тех, кто учился у Фрейда, в дальнейшем разошлись с ним именно из-за несогласия с верой во всемогущество либидо. Но, устранив либидо, они не избавились от коренных методологических изъянов фрейдизма. Разработанная Фрейдом «картина человека» являлась по своей идеологической сути, как мы дальше увидим, глубоко реакционной, пессимистической, антиисторической. Но Фрейд был не только выразителем ненаучных идеологических представлений. Он являлся исследователем психической реальности, впервые обратив внимание на некоторые из ее граней, хотя эта реальность и преломлялась у него в неадекватных формах.

В оценке фрейдизма следует руководствоваться ленинскими принципами критического подхода к тем несовместимым с нашим мировоззрением теориям, в которых односторонне, преувеличенно, а потому неправильно отражаются реальные стороны, грани, оттенки сложного противоречивого процесса познания².

Фрейд начал свой научный путь (еще в годы студенчества) в Вене, в физиологическом институте Брюкк — крупного представителя физико-химической школы в физиологии. Вся работа этой школы шла под девизом

¹ По свидетельству американских историков, обзоры научной литературы 40—50-х годов показывают, что Фрейд являлся чаще всего цитируемым автором во всех областях психологии (за исключением физиологической психологии и исследований интеллекта) и что его имя возглавляло список лиц, названных американскими психологами в качестве оказавших на них наибольшее влияние. (Sexton and Misiak. History of Psychology. N. Y., 1966, p. 392).

Если учесть, что основные положения Фрейда сложились в начале века, то уже сам по себе факт их продолжающегося в середине века влияния на американских психологов (в том числе на крупных экспериментаторов и сторонников объективной психологии) требует анализа и объяснения.

² См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 29, стр. 322.

незыблемости закона сохранения энергии, и соответственно физиологические процессы и функции мыслились в терминах энергетических превращений.

Взгляд на организм как на энергетическую величину глубоко укоренился в сознании Фрейда, и в дальнейшем, перейдя к психологии, он представил движущую силу поведения в виде особой энергии. Но энергетический подход, входя в состав общих представлений о природе органической жизни, вовсе не был рабочей установкой, направлявшей повседневные лабораторные занятия молодого студента-медика. В лаборатории он просиживал за микроскопом, изучая устройство тканей и органов, а не изменение их энергетических потенциалов.

Когда Фрейд стал практикующим врачом-невропатологом, перед его глазами появились новые объекты, отличные от тех, с которыми он работал в лаборатории.

Прогресс медицины всегда зависит от уровня развития естественных наук. Достижения гистологии и цитологии стимулировали формирование новых взглядов на сущность болезней, в том числе и нервных. Однако пациенты Фрейда страдали не чисто нервными, а нервно-психическими расстройствами. Нельзя было понять причины их страданий из устройства нервной системы.

Гистология нервной системы не проливала свет на психику: переживания, навязчивые мысли и провалы в памяти. Вопрос же о том, каким образом душевная жизнь влияет на телесные расстройства, вообще ставил в тупик.

До Вирхова мнение о том, что переживания человека отражаются на состоянии его здоровья, принималось многими медиками. Но успехи патологии привели к убеждению, что если под микроскопом невозможно обнаружить изменения в клетках, то нет оснований говорить о болезни.

Фрейд познакомился с другим практикующим врачом, И. Брейером, с успехом применявшим гипноз для лечения истерии — одного из тех заболеваний, обсуждение симптомов которого положило, как мы уже отмечали, водораздел между неврологами, утверждавшими решающее значение органических причин, и неврологами, ориентировавшимися на психологические факторы.

Брейер требовал от больных рассказывать в состоянии гипноза о своих тревогах и неприятных переживаниях. Иногда этот рассказ сам по себе оказывался достаточным для того, чтобы исчезали патологические симптомы. Брейер

называл феномен освобождения от этих симптомов, от инфлюктов путем вспоминания о вызвавших их обстоятельствах древнегреческим термином «катарсис», применимым в свое время Аристотелем для обозначения «очистившей души» от страстей при восприятии трагедии.

Из совокупности связанных с лечением и изучением истерии фактов вытекало, что: а) аффекты, вытесняемые в силу каких-то причин из сознания, продолжают оказывать влияние на поведение и могут придать ему патологический характер; б) источник патологических изменений для самих больных неизвестен, ими в обычных условиях не осознаваем; в) чтобы добиться лечебного эффекта, нужен гипнотический сон, при котором возможно освобождение от травмирующих эмоций путем «катарсиса».

Какие-то мысли или импульсы оказываются неприемлемыми для индивида, несовместимыми с обычным строем его сознания. Они задерживаются, но не исчезают. Их заместителем становятся симптомы истерии. Но если этим мыслям или импульсам предоставить возможность вновь появиться на психологической сцене, наступает облегчение, и заменявшие их симптомы либо исчезают, либо становятся менее реактивными.

В этой картине можно различить намеки на многие представления будущего психоанализа: и о бессознательных импульсах, про которые индивид не знает не из-за слабости своей памяти, а из-за их несовместимости с установками его сознания, и о динамике этих импульсов, прорывающихся наружу в виде странных расстройств движений или восприятий, и об «очистительной» роли воспоминания и рассказа о ситуациях, некогда нанесших травму.

Но из фактов как таковых и даже приемов их добывания сами по себе теоретические идеи не вырастают. За объяснением демонстраций доктора Брейера и своего собственного врачебного опыта Фрейд поехал в Париж к Шарко, который, как отмечалось, не признавал других причин истерии, кроме органических, чисто телесных. Однажды Шарко сказал Фрейду, что странности в поведении невротики могут иметь сексуальные основания¹. Роль

¹ Признать роль сексуального фактора еще не значило становиться на позицию «психологического» течения в неврологии, ведь действие этого фактора можно объяснить чисто соматическими причинами — функционированием половых желез, нервных центров и т. д.

сексуальных моментов в происхождении неврозов отмечалась и другими врачами. Никто из них до Фрейда, однако, не акцентировал эту роль и тем более не считал сексуальное влечение главным двигателем поведения.

Но ни предположение о бессознательных переживаниях (на которое наталкивала неврологическая практика), ни использование гипноза с целью обнаружить вытесненные из памяти аффекты, ни упор на сексуальный фактор — ни один из этих моментов сам по себе (ни их совокупность) не привели Фрейда к психологическому объяснению, осмысленному в виде общей теоретической схемы. Более того, воспитанный в традициях механистического естествознания, Фрейд не сразу произвел свой выбор в пользу такого объяснения.

Дилемма, возникшая тогда перед врачом, была того же типа, что и дилемма, с которой сталкивались натуралисты при изучении мозга, органов чувств, мышечных реакций. Естественнаучным считалось лишь такое объяснение психических явлений, которое выводит их из устройства тела и совершающихся в нем физиологических (физио-химических по природе) процессов. Психические явления темны, неопределены, запутанны. Видя их причину в строении нервных клеток (нейрогистология, с изучения которой Фрейд начинал свою карьеру, быстро развивалась в рассматриваемый период), врач остается на твердой почве. Обращаясь к психическому как таковому, он попадает в выскую область, где нет опорных точек, которые можно проверить микроскопом и скальпелем. Но естественнонаучный опыт выпуждал, как мы видели, признавать за психическим самостоятельное значение таких исследователей, как Гельмгольц, Дарвин, Сеченов, в строго научном складе мышления которых никто не сомневался. Какую позицию занять натуралисту и врачу при столкновении с фактами, которые не могли быть объяснены в анатомо-физиологических понятиях? Упорствовать в своей объяснительной схеме или идти за опытом, который вступает в противоречие со схемой?

Эта общая дилемма конкретизировалась в различных вопросах, возникавших при изучении различных сторон психической реальности. Для Гельмгольца этот вопрос звучал так: если образ невыводим из устройства сетчатки, а старое представление о сознании как конструкторе образа не может быть принято, чем заменить это представ-

ление? Для Сеченова вопрос имел сходный смысл, но применительно к действию, а не к чувственному образу: если целесообразное действие не выводимо из простой связи нервов, а старое представление о сознании и воле как регуляторах действия не может быть принято, чем заменить это представление?

Аналогичный вопрос, но уже в отношении третьей грани психической реальности — мотива, возникал у неврологов, поставленных перед необходимостью понять побуждения своих пациентов. Воспитывавшийся у Шарко, который не признавал другой детерминации, кроме органической, Жане отступает от символа веры своего учителя и выдвигает понятие о психической энергии.

Фрейд — ученик физиолога физико-химической ориентации Брюкке, — будучи поставлен логикой своей работы перед все той же дилеммой: подойти к механизмам мотивации (побуждений, влечений, аффектов) с анатомо-физиологической схемой или обратиться к неопределенным психологическим факторам, сперва склонился в сторону первого. Об этом говорит первоначальный, неопубликованный план его исследований, так называемый «Проект», относящийся к 1895 г.¹ «Проект» характеризует Фрейда как сторонника объяснения человеческого поведения связью и взаимодействием нервных структур. Но вскоре в воззрениях автора «Проекта» происходит резкий перелом. Его запечатлела книга «Толкование сновидений» (1900). Совместно с другой работой — «Психопатология обыденной жизни» (1904) — она содержала основные идеи новой концепции — психоанализа². Зарождение и развитие этой концепции было обусловлено сложным сплетением социально-идеологических и логико-научных обстоятельств.

Пастушья эпоха империализма, резко обострившая классовые противоречия. На философской сцене стали доминировать иррационализм, мистицизм, учение о том, что перед голосом «расы и крови» бессилена ничтожный голос

¹ Опубликованный только в 1954 г., «Проект» представляет собой умозрительную попытку вывести динамику психических состояний из соотношений между процессами возбуждения и торможения в нейронах.

² Самым первым выражением этих идей принято считать написанные Фрейдом совместно с Брейвером «Этюды об истерии» (1895).

сознания. Экономические и политические перемены породили в мелкобуржуазной среде чувства беспокойства, подавленности, неуверенности в будущем. В этой атмосфере и складывалась система взглядов Фрейда на строение и динамику психической деятельности. Представление о том, что поведением людей правят иррациональные психические силы, а не законы общественного развития, что интеллект — аппарат маскировки этих сил, а не средство отражения реальности с целью ориентации в ней, что индивид и социальная среда находятся в состоянии извечной и непрерывной тайной войны, — все эти представления говорили о том, что философия психоанализа шла в фарватере реакционных идеологических течений эпохи империализма. Философская доктрина психоанализа деформировала его конкретные научные факты, методы и модели.

В результате деформированным оказался и ответ на запросы логики развития науки. Они были связаны с необходимостью разработки категориального строя научно-психологического мышления, в частности категорий мотивации и личности. Ответ на эти запросы и пытался найти Фрейд, когда в его взглядах совершился перелом, когда он перешел от физиологических объяснений к психологическим, от представлений о нейродинамике к представлениям о психодинамике.

Подобно бихевиористам и гештальтистам, Фрейд поднимал «бунт» против традиционной психологии с ее интроспективным анализом сознания.

Разрушая, так же как и они, прежние объяснительные схемы, он выдвинул новые. Психологические проблемы были разрешены чисто физиологическими средствами не из-за слабости этих средств в эпоху, когда Фрейд отказался от своего «Проекта», а из-за подчиненности психических явлений закономерностям, отличным от физиологических¹. Разработка новых проблем требовала новых методов и теоретических моделей. Хотя использование гипнотического внушения с целью выявления неосознанных переживаний и оказало влияние на взгляды Фрейда не только на природу невроза, но и на строение душевной

¹ Различие между психическими и физиологическими закономерностями не означает их обособленности друг от друга и тем более антагонизма. «Чисто» психических процессов не бывает, но всякий психический процесс по своей онтологической природе является психофизиологическим.

действительности в целом¹, от метода гипноза он все же отказался.

Обычно это объясняют тем, что Фрейд в отличие от Лейбнера не мог столь же удачно применять гипноз к лечению своих больных. Возможно, однако, что имелись и другие основания. При гипнозе внушаются команды, исходящие от врача, а это может оказать блокирующее воздействие на спонтанные, свободные от чужого бы то ни было внешнего давления, тенденции личности.

Вместо гипноза Фрейд стал широко применять методику «свободных ассоциаций». К ней он пришел в ходе своих психотерапевтических сеансов. Первоначально во время этих сеансов он быстро задавал вопросы пациентам, время от времени перебивая их ответы своими замечаниями. Однажды он столкнулся с пациенткой, которая протестовала против того, что ей мешали беспрепятственно изменять поток своих мыслей. После этого случая Фрейд изменил тактику и перестал вмешиваться в спонтанный рассказ больного. Он начал требовать, чтобы пациенты в ответ на какое-либо слово свободно продуцировали любые другие слова, приходящие им в голову, какими бы странными эти ассоциации ни казались. Очевидно, что за измененной тактикой стояли определенные взгляды на детерминацию речевого потока. Предполагалось, что его течение не случайно и не хаотично, а определенным образом детерминировано. Каждая ассоциация возникает под действием каких-то причин. В самом по себе мнении о строго причинном характере ассоциаций ничего оригинального не было. С момента своего возникновения ассоциативная теория являлась не чем иным, как распространением принципа причинности на область психических явлений.

Но традиционная ассоциативная школа исходила из предположения, что связи между отдельными элементами

¹ Опыты с гипнозом (в частности, изучение так называемого постгипнотического внушения) показали, что чувства и стремления могут направлять поведение субъекта без того, чтобы быть им осознаваемыми. Так, если внушить пациенту, чтобы он по пробуждении от гипнотического сна раскрыл зонтик, то он выполнит это приказание, однако объяснить мотив своих действий не сможет, так как никакого знания о нем не сохранил. Подобного рода феномены и стали для Фрейда отправной точкой в развитии учения о том, что сознание подобно небольшой вершине айсберга, основную часть которого составляет глыба неосознаваемой психической действительности.

сознания, психическими «атомами» возникают в силу частоты повторения, смежности во времени и пространстве и т. п. Что же представляют собой перечисленные факторы? Что означают частота или смежность? Очевидно, что это моменты, которые зависят не от внутренних тенденций психической деятельности, а от внешних обстоятельств. Частота — это количественная характеристика формирования ассоциаций: чем чаще сочетаются психические элементы, тем прочнее связь между ними. Смежность или сходство, в свою очередь, говорят об объективных свойствах связываемых элементов, а не об их значении для конкретного индивида.

У Фрейда же ассоциации выступили не как проекция объективной связи вещей, а как симптомы мотивационных установок личности. Особое внимание он обратил на замешательство, которое (неожиданно для самих себя) испытывали его пациенты при свободном, неконтролируемом ассоциировании мыслей.

В этом замешательстве он увидел намек на события, некогда нанесшие человеку душевную рану. Предполагалось, что особый механизм «вытеснения» не допускает травмирующего представления в сознание. События прошлого не вспоминались не из-за слабости ассоциаций (обусловленной недостаточной частотой повторения, непрочностью «следа» в мозгу и другими не зависящими от субъекта причинами), а из-за нежелания вспомнить.

Трудности ассоциирования Фрейд и отнес за счет этого неосознанного нежелания. В пунктах, где испытываемый начинал смущаться, где он отказывался от дальнейшего ассоциирования, Фрейд искал кончик нити, ведущей к вытесненным влечениям, на которое бдительное сознание наложило свое табу.

Принцип ассоциации, как уже не раз отмечалось, являлся основополагающим для всей психологии нового времени. Он служил объяснению процессов, которые совершаются между сенсорным «входом» организма и его моторным «выходом». Из ассоциации выводилось все, что лежит за пределами простейших ощущений. Память, мышление, воображение представлялись в виде потоков ассоциаций различного характера и степени сложности. С ассоциацией начиналась экспериментальная психология. Применительно к человеку она превратила в предмет экспериментального анализа ассоциации между словами. Мы

знаем, что Эббингауз в целях раскрытия закономерностей научения устранил из этих ассоциаций смысловое содержание, изобретя «бессмысленные слоги». Фрейд прибег к «свободным ассоциациям» с совершенно другой целью. Ему важно было проследить ход мысли своих пациентов, скрытый не только от врача, но и от них самих. Поэтому для него самым важным в ассоциациях являлось именно то, что мешало Эббингаузу найти «чистую культуру» сенсорных связей, а именно — смысловое содержание. Эббингауз, как мы помним, его устранил, Фрейд же искал в нем ключ к бессознательному.

Для смыслового содержания, как известно, определяющим служит отношение к реальным объектам, к внешним ситуациям, которые складываются безотносительно к частным интересам конкретного индивида. Порядок и связь идей, подчеркнул в свое время Спиноза, соответствует порядку и связи вещей. Но задача, которую стремился решить Фрейд, обращаясь к методу свободных ассоциаций, состояла совсем в другом, а именно в том, чтобы выяснить, чему соответствуют эти ассоциации не в мире внешних объектов, а во внутреннем мире субъекта. Любые связи мыслей, взятые не отрешенно от личности, а как кусочек ее настоящей жизни, имеют двойную отнесенность — они относятся и к предметной реальности, существующей на собственных основаниях, и к реальности психической, воспроизводящей (отражающей) первую и вместе с тем наделенной собственными признаками, подобными признакам, которые отличают живую систему от всякой другой. Фрейд искал в ассоциациях смысловое содержание, но не предметное, а личностное.

Первоначально он представил психическую жизнь построенной из трех уровней: бессознательного, предсознательного и сознательного. Источником истинного заряда, придающего мотивационную силу человеческому поведению (как в его моторных, так и мыслительных формах), является бессознательное. Оно насыщено сексуальной энергией. Эта сфера закрыта от сознания в силу запретов, налагаемых обществом. Второй уровень — предсознательное. Здесь накапливаются психические содержания, которые непосредственно не осознаются, но легко могут стать таковыми. И, наконец, сознание, которое не является пассивным отражением процессов, совершающихся в сфере бессознательного, а находится с ними в состоянии

антагонизма, конфликта, вызванного необходимостью подавлять сексуальные влечения.

Эта схема и была приложена к объяснению клинических фактов: симптомов истерии, забывания травмировавших событий (амнезии), катаракса и др. Затем она была перенесена на некоторые обычные проявления психической жизни: сновидения, обмолвки, описки, ошибки памяти, шутки и т. д.

Во всех случаях предлагалась одна и та же модель: вытесненное влечение, сталкиваясь с внутренней «цензурой» сознания, ищет различные обходные пути и разряжается в формах, внешне нейтральных, по существу же имеющих второй символический план.

Сновидения, например, подобно невротическим симптомам, выражают на особом символическом языке подавленные влечения, вытесненные желания. Импульсы, о которых идет речь, проявляются и в состоянии бодрствования в виде различных обмолвок, описок, забывания определенных вещей и т. д. Для всех этих явлений объяснение, согласно Фрейдю, нужно искать не в недостатках памяти и не в случайных, не имеющих отношения к системе мотивов субъекта отклонениях от двигательных стереотипов, а в той же области функционально напряженных импульсов, сдержанных «цензурой» сознания, но получивших выражения в явлениях, которые приобретают смысл симптома и символа. Наконец, шутки или каламбуры также объясняются по типу невроза. Они не что иное, как мгновенная разрядка напряжения, созданного ограничениями, которые накладывают социальные нормы, в том числе логико-грамматические. Такая разрядка вызывает чувство удовлетворения.

Итак, факты, на которые опирался Фрейд, были получены первоначально в результате анализа поведения психоневротиков с помощью гипнотического внушения и свободных ассоциаций. Затем круг этих фактов был расширен, включив феномены, наблюдаемые в обычном человеческом поведении.

Очевидно, однако, что все эти феномены вызывали интерес с незапамятных времен, их открытие не принадлежит Фрейдю. Сновидения или ошибки памяти как таковые сам по себе еще не являются научными фактами, но становятся ими, когда включаются в объяснительную систему. Древние толкования, относившие сновидения или

иллюзии памяти за счет деятельности души как внетелесной сущности, не могли быть совмещены с естественнонаучным подходом к жизни. Их оттеснили физиологические схемы: картины сновидений — это прихотливая игра физиологических импульсов в отдельных нервных клетках при общей повышенной активности мозга, забывание — заторможенность «следов» в коре и т. д. Фрейд пришел к выводу о том, что за внешне бессмысленными образами и действиями скрыта работа психологического механизма, решающего определенные задачи, значимые для личности. Коренной дефект его теоретической конструкции, хорошо видимый с позиций современной науки, состоял не в указании на важность психической детерминации, не совпадающей с детерминацией чисто физиологической, а в превратных представлениях о самой психике, о механизмах ее развития, об ее зависимости от социальных и физиологических причин.

Ведь Фрейд не ограничился общим положением о том, что сновидения, ошибки памяти и т. п. нужно соотносить не только с процессами возбуждения и торможения в коре больших полушарий, но и с интересами, стремлениями, мотивами поведения человека. Сама эти мотивы он выставил в ложном свете. Соответственно и его толкование фактов «психопатологии обыденной жизни» оказалось подчиненным таким теоретическим представлениям, которые научная психология (несмотря на все заверения Фрейда в том, что, разрабатывая их, он строго следовал опыту) решительно отвергла.

Центром этих представлений служила идея метаморфоз, претерпеваемых сексуальным инстинктом, появление которого датировалось моментом, когда ребенок касается материнской груди.

Согласно фрейдистской концепции об инфантильной сексуальности, ребенок проходит до 5—6-летнего возраста сквозь ряд фаз: оральную, анальную и фаллическую. Между шестью годами и юностью — период, когда половой инстинкт находится в латентном, скрытом, состоянии. Задача психоаналитической процедуры усматривалась в том, чтобы «раскопать» в раннем детстве те сексуальные нарушения, которые становятся источником невроза. Особое место отводилось так называемому «Эдипову комплексу», под которым понималась определенная мотивационно-аффективная формула отношений ребенка к своим родите-

лям. В греческом мифе о царе Эдипе, убившем своего отца и женившемся на матери, скрыт, по мнению Фрейда, ключ к якобы вечно тяготящему над каждым мужчиной сексуальному комплексу: мальчик испытывает влечение к матери, воспринимая отца как соперника, вызывающего одновременно и ненависть и страх.

Фрейдистская теория сексуального развития ребенка и «Эдипова комплекса» была построена на рассуждениях и аналогиях, ничего общего не имеющих с принятыми наукой критериями достоверности, проверяемости и доказательности фактов и выводов. Поэтому она представляет собой не науку, а мифологию, не контролируемое экспериментом, логической аргументацией знание, а игру изощренного ума. Отвергнутая научно-психологическими кругами, эта «игра» получила широкое распространение за их пределами, в особенности среди художественной интеллигенции в капиталистических странах.

Психоанализ не ограничил своих претензий областью психического развития индивида. Он распространил их на всю историю человеческой культуры, ища в ее продуктах (мифах, обычаях, памятниках литературы, искусства, науки) воплощение все тех же комплексов, все тех же сексуальных сил. Фрейд рассчитывал, что тем самым, благодаря использованию обширного материала, почерпнутого из совершенно другой, чем сновидения, поведении невротиков и т. д., области, будет подтверждена общезначимость психоаналитических схем.

В действительности же распространение объяснительных приемов психоанализа на историю культуры, представив последнюю в совершенно мистифицированном виде, лишь усугубило недоверие и к самим этим приемам.

Тем временем в психологических воззрениях Фрейда произошли в 20-х годах некоторые сдвиги. Они коснулись, в частности, вопроса об основных побудительных силах поведения.

После первой мировой войны, истребившей множество людей и культурных ценностей и породившей неврозы особого рода, Фрейд присоединяет к инстинкту самосохранения и половому инстинкту — инстинкт разрушения (служащий мотивом агрессивного поведения). Представление об исконной агрессивности человека было использовано апологетами империалистической доктрины о неотвратимости войн. Оно еще резче обнажило антигисторизм

и оптигумализм фрейдистской концепции, пропизанной поворием в общественный прогресс, в возможность устранения причин, порождающих агрессию и насилие.

Известные изменения претерпевают в этот период взгляды Фрейда и на структуру человеческой личности.

Напомним, что первоначально она представлялась в виде иерархии бессознательного, предсознательного и сознательного. В дальнейшем же в работах «По ту сторону принципа удовольствия» (1920) и «Я и Оно» (1923) предлагается иная модель, оказавшая существенное влияние на психологические учения о личности.

Теперь утверждается, что личность строится из трех основных компонентов, обозначенных терминами: ид (оно), эго (я) и супер-эго (сверх-я). Ид — наиболее примитивный компонент, носитель инстинктов. Будучи иррациональным и бессознательным, ид подчиняется принципу удовольствия. Вынужденное служить требованиям ид, эго (я) вместе с тем следует принципу реальности, а не удовольствия. Оно учитывает особенности внешнего мира, его свойства и отношения. Наконец, супер-эго служит носителем моральных стандартов, это та часть личности, которая выполняет роль критика и цензора. Если эго примет решение или совершит действие в угоду ид, но в противоборстве супер-эго, оно испытывает наказание в виде чувства вины, укоров совести. Поскольку требования к эго со стороны различных инстанций — ид, супер-эго, внешней реальности — несовместимы, оно неизбежно пребывает в ситуации конфликта, создающего невыносимое напряжение. От этого напряжения эго спасается с помощью специальных «защитных механизмов» — вытеснения, регрессии, сублимации и др.

Вытеснение означает активное, но неосознаваемое самим индивидом устранение из сознания чувств, мыслей и стремлений к действию. Перемещаясь в область бессознательного, они продолжают мотивировать поведение, оказывают на него давление, переживаются в виде чувства беспокойства, прорываются в патологических симптомах и т. д. Регрессия — это соскальзывание на более примитивный уровень поведения или мышления. Сублимация — один из механизмов, посредством которых запретная сексуальная энергия разряжается в форме деятельности, приемлемой для индивида и общества. Разновидностью сублимации является творчество.

Новая «топография» душевной жизни изменяла прежний взгляд на соотношение между бессознательным и осознаваемым. За «порогом сознания» как непосредственного знания индивида о самом себе оказывались не только подсудные влечения, но и «верхний этаж» в структуре личности — супер-эго и даже часть эго, а именно та часть, которая ускользает от рефлексии.

Эта модель личности содержала намек на многоплановость мотивационных структур человеческого поведения, на представленность в этих структурах биологического (ид), индивидуально-личностного (эго) и социального (супер-эго) уровней организации. Однако все указанные компоненты выступали в мистифицированной форме — биологическое сводилось к энергии либидо, социальное — к сексуальной направленности ребенка (здесь опять-таки приоритет отдавался пресловутому «Эдипову комплексу»), а «бедному эго», как называл его Фрейд, оставалось лишь непрерывно согласовывать требования, властно предъявляемые с трех сторон: бессознательным, реальностью и супер-эго.

Обратим внимание вместе с тем на трактовку сознания как своего рода системы, стремящейся к самосохранению. Психоанализ отверг не только отождествление психики с сознанием, но и популярный в его эпоху взгляд на сознание как на поток мыслей и представлений (Джемс). Сознание живет, борется, сопротивляется, накладывает вето. Оно — особая система, а не плоскость, где проходят веревочки, соединяясь по законам ассоциации, образы и идеи. В «традиционной» психологии было принято считать, что работа сознания сводится к «внутреннему восприятию» своих содержаний. Фрейд же доказывал, что она жизненно важна для сохранения личности, человеческого «Я». Тем самым вводилось представление о психических механизмах, обслуживающих систему личности с целью ее сохранения, решения ее собственных задач, а не только задач чисто предметного характера¹.

Все это были проблемы, отнюдь не сводившиеся к вопросу о соотношении сознания и бессознательного.

¹ В предшествующей психологии психические механизмы (главным образом механизм ассоциации, которым объяснялись восприятие, память, мышление, воображение) считались работающими только над решением предметных задач.

Мы видели, что формирование категориального строя психологического знания шло неравномерно, что в различных теоретических схемах завязывались различные узелки этого строя. Основной категорией, просвечивавшей за построениями психоанализа, была категория мотива. Подобно всем другим, эта психологическая категория представляет реальный аспект поведения, иначе говоря, такой, который имеет собственный статус, независимый от характера и степени его отраженности в сознании конкретных людей.

Как известно, познавательные средства, находящиеся в распоряжении последних, ограничены. Утверждать, что кроме этих средств не существует никаких других способов приобретения информации о психической реальности (компонентом которой является мотив) — значит возвратиться к интроспекционизму с его постулатом о тождестве психического и субъективно-осознаваемого, постулатом, с преодоления которого начиналось развитие новой психологии.

Подобно тому как образ и действие суть реалии, выполняющие жизненные функции в системе отношений индивида и мира, а не внутри замкнутого в самом себе рефлектирующего сознания, точно так же одной из главных реалий является мотив. Интроспективная психология отождествила образ с феноменами сознания, действие — с операциями «внутри ума», а мотив соответственно представила как акт хотения (или желания), исходящий от субъекта.

Этой концепции издавна противостояло естественнонаучное воззрение, стремившееся свести образ к внешним раздражителям, действие — к рефлексам, мотивацию — к телесным импульсам (аффективным, инстинктивным и т. п.). Нетрудно видеть, что это противопоставление запечатлело дуалистический способ понимания жизнедеятельности. Формировавшаяся психология, как мы знаем, находила «третий» путь, смысл которого состоял в том, чтобы, сохраняя верность естественнонаучным принципам, постичь психическую реальность в ее своеобразном строении, отличном от чисто физиологических регуляций. На этом пути складывались новые собственно психологические методы, теории, схемы. Они воспроизводились под различными углами зрения и с различной степенью правдоподобия тот уровень жизнедеятельности, который

представляют психические явления и формы как таковые. Одной из них является мотивация. С ней сталкивалась биология, как мы это видели на примере дарвиновских представлений об инстинктах. С ней сталкивалась психоневрология, вспомним учение Жане о психической энергии. От психоневрологии отпирался и Фрейд, выдвинувший на передний план мотивацию, а в ней — энергетический аспект поведения.

В мышлении современного исследователя, благодаря успехам кибернетики, понятия об энергии и информации разграничиваются очень четко. Но совсем иная ситуация существовала на рубеже века. Тогда, согласно традиционным схемам, движущие силы поведения распределялись по трем разрядам. Они относились либо к области сознания (волевое усилие, исходящее от поставившего перед собой определенную цель субъекта), либо к воздействию внешних толчков, запускающих в ход двигательную машину тела, либо, наконец, к сфере инстинктов — врожденных сил, придающих поведению стремительность и направленность. Учение о воле (хотении, желании) как особом духовном начале, коренящемся в субъекте, было совершенно бесперспективным, и мы знаем, какие усилия пришлось прилагать естествоиспытателям, чтобы справиться с этим учением, всегда служившим главным бастионом индетерминизма. Представление о раздражителе как «спусковом крючке» двигательного устройства помещало энергетический вал на не внутри, а вне организма и поэтому игнорировало проблему мотивации. Прямое отношение к этой проблеме имела концепция инстинктов в ее дарвиновском варианте. Однако в ней энергетические (побудительные) моменты не отчленились от исполнительно-двигательных. Понятие об инстинкте в эволюционно-биологической интерпретации не содержало психологического признака, который позволил бы объединить все многообразие вариантов врожденного и приобретенного (индивидуального) поведения. Общей особенностью инстинктов считался их наследственный характер, их формируемость в процессе борьбы вида за существование, т. е. ряд биологических, а не собственно психологических характеристик. К этому присоединилось разделение и противопоставление инстинкта и сознания, в силу чего телесно-энергетическая сторона признавалась за первым, тогда как стимулирующим началом сознательных актов (как инстанция, ответ-

ственной за изменчивое индивидуальное поведение) по-прежнему считалась имеющая основания в самой себе чисто духовная сила воли.

Понятие о влечении отразило в превращенной форме важный момент мотивационной стороны поведения — ее энергетический потенциал. Конечно, термин «энергия» в данном контексте может быть употреблен только в переносном, метафорическом смысле. Нет никаких оснований предполагать, будто наряду с электрической, химической и другими видами энергии существует в качестве особой, сходной с ними по типу разновидности энергия психическая.

Любая попытка представить последнюю не в переносном, а в прямом значении чревата серьезными опасностями для причинной трактовки не только психики, но и мира в целом. Однако сплошь и рядом мышление вынуждено прибегать к метафорам. Кстати, и такие термины, как «энергия» и «спла», приобретшие ныне однозначность, свойственную физико-математическому знанию, заимствованы из запаса представлений, которые некогда также являлись метафорами. Если говорить о психической энергии в переносном смысле, то очевидно, что, подобно другим метафорическим оборотам, слово «энергия» в данном контексте вовсе не является пустышкой. Оно указывает на реальные особенности мотивации, существующие независимо от того, какова их проекция в сознании. Глубокой ошибкой Фрейда являлось его убеждение, будто проекция в сознании носит иллюзорный характер, будто она всегда маскирует подлинную игру мотивов. Но рациональный момент содержала идея о том, что для научного объяснения динамики мотивов недостаточно свидетельств самонаблюдения.

Энергия и динамика мотива — таково реальное зерно, скрытое в плетелях психоанализа. Какие бы действия ни предпринимал человек, сколь высокой ни была бы степень их осознанности и логической продуманности, ни один внешний или внутренний акт поведения не может произойти без его мотивационной и, стало быть, энергетической обеспеченности. Без энергетического аспекта психическая деятельность также невозможна, как и без информационного. И подобно тому как образ-сигнал, хотя и нематериален без физического носителя, но ему не идентичен, подобно тому как действие, хотя и предполагает соматиче-

ские измепения (в частности, мышечные), но к ним не сводится, точно так же и мотив, имея своей предпосылкой физико-химическую энергию организма, представляет не биоэнергетику, а своеобразную «психоэнергетику» и «психодинамику» организма¹.

Реальная вещь неизмеримо богаче ее представленности в системе психических образов, а эта система, в свою очередь, неизмеримо сложнее того, что говорит о ней рефлектирующее сознание на языке своих понятий. Точно так же реальные жизненные отношения неизмеримо шире их представленности в системе мотивов, а эта система, в свою очередь, неизмеримо шире той информации о ней, которую собирает и использует сознание индивида с его ограниченными средствами.

Психоанализ претендовал на то, чтобы рассказать людям о пружинах и «горючем топливе» их поведения больше, чем им известно из собственных представлений о самих себе. Но Фрейд противопоставил мотивацию сознанию, энергетическую сторону психической деятельности — информационной. Энергия у него слепа, а информация не способна управлять. Носитель знания о внешней среде — сознание, это — само по себе бессильно. Вся его энергия черпается в конечном счете из глубин бессознательного.

Динамика, описанная Фрейдом, являлась по своей сути психологической. Иногда источник его заблуждений видят в том, что он использовал взамен физиологических понятий психологические. Поставь он на место психодинамики баланс между возбуждением и торможением в нервных клетках, предполагают некоторые критики, вернись к идеям, высказанным в «Проекте» 1895 г., и наука получила бы не идеалистическую, а материалистическую модель психоанализа. За этой аргументацией стоит отрицание психической реальности как такого уровня жизнедеятельности, который представляет своеобразный детерминационный ряд, не идентичный физиологическому (хотя и не отделимый от него). Иначе говоря, за ней стоит взгляд на психическое как на эпифеномен, истинно каузальную трактовку которого способна дать только физиология. Но

¹ Во избежание недоразумений еще раз подчеркнем, что о психической энергии следует говорить в переносном смысле, не соединяя с этим выражением (по крайней мере при современном состоянии знаний) никаких гипотез об особой самостоятельной разновидности энергии, аналогичной физической.

мы уже знаем, что альтернатива: либо физиологическое объяснение, либо психологическое — является ложной. Все ошибки и тупиковые ходы Фрейда возникли не из-за признания причинной роли психических явлений (мотивов, структуры личности), а из-за ее неправильной интерпретации.

Абсолютизируя психическую причинность, Фрейд расширил ее действие далеко за пределы того отрезка жизнедеятельности, применительно к которому она в действительности имеет силу. Психический фактор (к тому же представленный в ложном свете) оказался определяющим для законов как телесной, так и общественной жизни. Но тогда-то его трезвое осмысление стало невозможным. Ибо только в системах физиологических и социальных связей психическое обнаруживает свою реальную функцию.

У Фрейда же психическая энергия, с одной стороны, подменяла биологическую, с другой — выступила в роли главного двигателя общественного развития. И организм и общество оказывались не чем иным, как материалом, из которого либидо лепит свои формы. К этому нужно присоединить, что, хотя Фрейд претендовал на учение психической деятельности в целом, фактически разработанным у него был лишь один ее аспект — мотивационный.

Фрейд стремился включить в свое учение не только мотивационное начало психики, но и другие ее аспекты. Он не ограничился анализом мотивации как энергетической потенции, а пытался представить ее зависимость от отношений индивида с другими людьми, раскрыть ее многоплановость, коренящуюся в структуре личности. Однако эти аспекты из-за шаткости его исходных методологических позиций оказались мистифицированными: главной формулой отношений индивида к другим людям стал пресловутый «Эдипов комплекс», а личность была расщеплена на три непрерывно враждующих между собой агента.

Нередко дефекты теории, слабость ее идейного потенциала ярко обнаруживаются при стремлении ее сторонников восполнять пробелы первоначального «классического» варианта новыми представлениями, призванными принести этот вариант в соответствие с прогрессом знаний и требованиями времени.

Ничто так не обожгло методологическую несостоятельность фрейдизма, как бесчисленные попытки его модернизировать. Более чем полувековая история учений,

ответившихся от «канонического» фрейдизма, наглядно продемонстрировала его бесперспективность. Преемники Фрейда, хотя и попытались очистить исходную схему психоанализа от многих одиозных и предполагавших насилие над эмпирическим материалом построений, почти ничем не обогатили категориальную основу психологического знания.

Вся история психоаналитического движения, которой мы дальше коснемся, полна бесконечных распрей, взаимных обид, претензий на единственно правильное понимание природы и символики бессознательного, динамики влечений и других центральных для учения Фрейда пунктов. Многолетний опыт развития психоанализа не укрепил, а оковчательно расшатал его позиции.

В 1908 г. была организована Международная психоаналитическая ассоциация. Одним из наиболее активных деятелей этой организации становится К. Юнг (1875—1961) — швейцарский психиатр, еще до сближения с Фрейдом приобретший известность изобретенным им тестом на ассоциацию слов.

Тест требует от подвергаемого испытанию лица возможно более быстрой реакции на предъявляемое слово любым другим словом. Заторможенность этой реакции, непонимание слова-раздражителя или же его механическое повторение — все это (совместно с другими реакциями, в частности изменением пульса, электрического сопротивления кожи и т. д.)¹ рассматривалось как «индикатор комплекса», т. е. указание на эмоционально окрашенные представления, сообщение о которых является для испытуемого нежелательным.

Юнг работал под руководством известного психиатра Е. Блейлера², а также Жана. Мысль о том, что ассоциации могут быть использованы для изучения скрытых тенденций личности, а не только памяти и мышления, носилась тогда в воздухе. Юнг пришел к ней независимо от

¹ Изменение электрического сопротивления кожи как своеобразная реакция на безразличные для испытуемого раздражители получила название психогальванического рефлекса (открыт русским ученым И. Р. Тархановым и французским физиологом Фере). Эта методика широко используется и в настоящее время.

² Блейлеру принадлежат большие заслуги в изучении душевных болезней, в особенности шизофрении. Он, кстати, ввел и сам термин «шизофрения».

Фрейда. Познакомившись же с теорией Фрейда, он стал применять ее в психиатрической клинике.

Через несколько лет Юнг разошелся с Фрейдом, выдвинул собственную систему, названную им «аналитической психологией»¹. Одним из ее центральных пунктов стало «учение о коллективном бессознательном». Наподобие инстинктов животных, у человека, согласно Юнгу, врожденными для различных рас являются архетипы, представляющие не индивидуальное, а коллективное бессознательное. Архетипы — априорные организаторы нашего опыта, невидимый ультрафиолетовый конец психического спектра. Они обнаруживаются в сновидениях, фантазиях, галлюцинациях, психических расстройствах, а также творениях культуры. В качестве объекта своих спекуляций Юнг выбрал историю алхимии, символы которой, по его мнению, запечатлели стремление к «индивидуации», выражающей потребность индивидуальной души синтезировать присущее ей коллективно-бессознательное начало с элементами собственного сознания.

Характерный для всего психоаналитического движения антиисторический подход не только к индивидуальному сознанию, но и к развитию культуры ярко выступил в юнговской концепции. Эволюция культурных ценностей выволилась ею из мифических вневременных свойств человеческой души.

Если юнговское учение об архетипах, коллективном бессознательном и т. д. не было принято научной психологией, то разработанная им типология характеров приобрела популярность и попытке используется некоторыми психологами в исследованиях личности. Мы имеем в виду разделение человеческих типов на экстравертивный (обращенный вовне, увлеченный социальной активностью, чуждый самосозерцанию) и интравертивный (обращенный вовнутрь).

Итак, концепция Юнга ничем позитивно не обогатила понятие о мотивации, зато утратила важное разграничение двух ее аспектов, энергетического и смыслового, и провоз-

¹ Юнг отказался от трактовки полового влечения как стержня личности и источника конфликтов. Он предложил понимать под либидо любую потребность, а не только сексуальную. Фрейд обвинил Юнга в десексуализации психоанализа, увидев в этом измену школе.

гласила последний изначально, генетически заложенным в конструкции мозга.

Другой крупный участник психоаналитического движения, А. Адлер (1870—1937), так же, как и Юнг, отверг пансексуализм Фрейда и выдвинул ряд идей, повлиявших в дальнейшем на зарождение неофрейдизма. Среди этих идей отметим: принцип единства личности (в противовес ее разделению на ид, эго и супер-эго), а также подчеркивание роли социального, а не биологического фактора в мотивационной структуре человека. От Адлера идет «социологизация» психоанализа, которая, однако, мало продвинула реальное исследование вопроса о соотношении различных детерминативных факторов в поведении личности. Это видно из того, как Адлер понимал социализацию. Согласно его учению (названному «индивидуальной психологией»), индивид из-за дефектов в развитии его телесных органов испытывает «чувство неполноценности». Стремясь преодолеть это чувство и самоутвердиться среди других (здесь и выступает социальный фактор), он актуализирует свои творческие возможности. Компенсация и сверхкомпенсация — таковы движущие силы психического развития. Иногда попытки освободиться от чувства неполноценности ведут к невротическим срывам, смысл которых в том, чтобы добиться доминирования над другими путем вызывания у них симпатий к своей персоне. Сверхкомпенсация — это особая форма реакции на чувство неполноценности. Она порождает людей, отличающихся исключительными достижениями. Так же, как и Фрейд, Адлер считал, что формирование характера падает на первые пять лет, когда у ребенка развивается свой стиль поведения, определяющий его мысли и действия во все последующие периоды.

Хотя Адлер и настаивал на том, что индивид не может рассматриваться независимо от общества, представление о социально-исторической природе человеческой личности было ему так же чуждо, как и Фрейду. Он видел в личности продукт ее собственного индивидуального творчества, стмулируемого ее незащищенностью перед враждебным миром, неполноценностью, стремлением укрепиться путем превосходства над другими.

Само по себе утверждение Адлера о том, что личность существует только в контексте социальных отношений, неспособно пролить свет на ее реальные движущие силы,

пока остается нераскрытой природа этих отношений и механизм их детерминационного воздействия на личность. Ведь и у Фрейда в роли источника конфликтов выступала динамика мотивов ребенка не изолированного, а вынужденного считаться с требованиями и запретами ближайшего социального окружения.

Определяется ли социализация вытеснением влечений и переклочением энергии на санкционированные общественные объекты (Фрейд) или она рассматривается как результат стремления компенсировать и даже сверхкомпенсировать неполноценность личности (Адлер) — и в том и в другом случае делается упор на антагонизме индивида и «контекста социальных отношений», не раскрывается подлинная картина взаимодействия между личностью и обществом.

В поисках новых подходов зародились два ответвления психоанализа, известные как неофрейдизм и «психология эго». Неофрейдизм главным упор сделал на социальной детерминации неврозов, конфликтов, вытесненных влечений и т. д. Важное значение было придано межличностным отношениям (психосоциальным отношениям). «Психология эго» главное место отдала личности как целостной системе.

Лидерами неофрейдизма принято считать К. Хорни (1885—1953), Г. Селливена (1892—1949) и Э. Фромма (р. 1900). В 20-х годах Хорни и Фромм были практикующими психоаналитиками в Берлине. Они испытали в известной степени влияние марксизма. Однако действительный смысл марксистского мировоззрения, его революционная сущность остались ими непонятыми. Их знакомство с марксистской теорией было весьма поверхностным. Тем не менее оно не прошло бесследно. Оно побудило подвергнуть критике фрейдистский постулат о фиксированных биологических влечениях и обратить внимание на роль социальных факторов.

В начале 30-х годов группа западноевропейских психологов переехала в США. Это был период крупных потрясений в мировой системе империализма. В Германии пришел к власти фашизм. Соединенные Штаты только что пережили жесточайший экономический кризис. Во всем капиталистическом мире классовые и национальные противоречия приобрели исключительную остроту. Общественно-политическая атмосфера придавала исследованиям

психической деятельности новую направленность. Быстрыми темпами развивается социальная психология, ставшая на путь эмпирического изучения «человеческих отношений», анализа общественного мнения, выявления установок и т. д.

Практика изучения людей (в том числе страдающих невротическими расстройствами) говорила о зависимости их душевных травм не от сексуальных пертурбаций в детстве, а от реальной угрозы благополучию в условиях фашизма и экономического кризиса. Перед глазами психологов проходили люди с совершенно другими симптомами, чем те, от которых страдали пациенты Брейера и Фрейда в конце прошлого века. Смехотворно было искать источники их тревог в инфантильной сексуальности, когда фашисты установили режим тотального террора, устраивали погромы и костры из книг неарийских авторов, когда прокатилась эпидемия самоубийств разорившихся держателей акций, когда экономические и политические потрясения угрожали самим основам капиталистического общества.

Хорни подвергла критике биологическую ориентацию Фрейда, выраженную в его трактовке влечений, в утверждении приоритета конституции организма и наследственности. Она возражала также против представлений о том, что после пяти лет в мотивационном развитии индивида ничего не происходит. Сведение этого развития к метаморфозе сексуальных влечений извращает, по Хорни, определяющую роль общественно-культурных воздействий, в ложном свете представляет характер человеческих конфликтов и соответственно причину неврозов.

Чтобы раскрыть ее, следует обратиться к социальному окружению, которое и обуславливает поведение, принимаемое за невротическое¹. Всем невротикам свойственны, считает Хорни, ригидность реакции (неспособность быстро приспособиться к новым условиям), а также разрыв между потенциальными возможностями и реальными достижениями. Источник этих симптомов не «Эдипов комплекс», а чувство тревоги. Психические расстройства вызываются страхом и стремлением защититься от него, попыткой при-

¹ По мнению Хорни, разделяемому многими неофрейдистами, поведение, считающееся нормальным в одних культурах, вовсе не признается за таковое в других.

мирить конфликтные тенденции. Фокусом, в котором наиболее ярко обнаруживаются эти тенденции, является расхождение между реальным положением личности и ее идеализированным образом, т. е. воображаемым нереальным представлением о самой себе.

Чтобы понять корни этого расхождения, нужно не только погрузиться в прошлый, детский опыт человека, но и выяснить особенности тяготеющей над ним в данный момент конкретно-социальной ситуации. Все это были нововведения, плохо согласующиеся с постулатами Фрейда. Как же в таком случае основанию считать Хорни преемницей последнего? Она сама так отвечала на этот вопрос: «Поскольку многие из моих интерпретаций отличаются от фрейдовских, некоторые читатели могут спросить, надо ли считать мою теорию психоанализом. Ответ зависит от того, что принимать за главное в психоанализе. Если понимать под психоанализом все до одной теории, выдвинутой Фрейдом, тогда изложенная мной концепция не есть психоанализ. Если, однако, считать, что основные идеи психоанализа заключаются в определенной системе взглядов относительно роли бессознательных процессов и путей их выражения, а также в определенной форме терапии, с помощью которой эти процессы доводятся до сознания, то тогда моя система есть психоанализ».

Взгляды Фрейда на одиночество личности, антагонистический характер ее отношений с социальным окружением, неосознаваемость мотивации оставались определяющими для Хорни, как и для других психоаналитиков-неофрейдистов. Ведь повсеместно в неофрейдизме речь шла о том, чтобы учесть культурные, исторические, социальные и другие влияния на мотивацию, а не о том, чтобы преобразовать само понятие о мотивации как аспекте психической реальности.

Убеждение Фрейда в спонтанности мотивации, которое базировалось на принципе полярности индивида и среды, личности и общества, оставалось непререкаемым для неофрейдистов. Они пошли по пути модернизации психоанализа за счет факторов исторического, культурного, межличностного порядка, принимая за непоколебимую истину учение Фрейда о психодинамике. Тем самым неофрейдизм оказался, по существу, определенной концепцией о психосоциальном контексте, в котором живет личность, и по принципиально новым теоретическим взглядом на

механизмы ее поведения, ее мотивационную структуру и динамику. Поскольку же указанный контекст трактовался идеалистически, т. е. рассматривался в качестве первоначала, но не функции реального общественно-исторического развития, подчиненного собственным закономерностям, то идея зависимости неврозов, конфликтов, психических травм от продуцирующих их социальных влияний переросла в идею психотерапевтической регуляции самих этих влияний. Иначе говоря, воздействие на межличностные отношения стало рассматриваться как средство излечения «больного общества».

Изучение зависимости мотивационного потенциала личности от ее включений в процесс общения с другими людьми — одна из основных проблем психологии.

Однако попытка присоединить к фрейдистскому взгляду на мотивацию принцип межличностных связей, представленный в категории психосоциального отношения, привела к тому, что в этих связях растворились как мотивация в ее своеобразном, несводимом к другим категориям значении, так и личность. К такому результату пришел, например, Селливен.

Отправной точкой для него, так же как и для других неофрейдистов, служило представление о мотивах, вытесненных в тайники бессознательной психики.

Сознание подобно восприятию водителя машины в условиях темной ночи. Фары его машины направлены только на часть ландшафта, хотя, если водитель пожелает, он сможет осветить и другую часть, которая до того не воспринималась или, говоря в терминах Фрейда, находилась в сфере предсознательного. Но позади машины лежит область полной темноты, которая не может быть освещена никакими маневрами водителя. Здесь скрыты мотивационные системы или комплексы, которые находятся в состоянии диссоциации. Они проявляются в свах, ошибках, фантазиях и отношениях к другим. Без такой разрядки произошла бы дезинтеграция личности в результате нестерпимого давления со стороны бессознательной мотивации. Рисуя эту картину, копирующую фрейдовскую модель, Селливен полагает, что от межперсональных отношений зависит, разовьется ли индивид свое настоящее интегрированное «Я» или нет. То, что мы думаем о себе, зависит от того, что другие думали о нас в годы формирования нашей личности. Все внутреннее в личности, таким образом, по-

черпнуто из истории ее общения с другими людьми. Интраперсональное — продукт интерперсонального. Но что же в таком случае представляет сама личность? Она, по Селливену, не что иное, как квазистабильный фокус в сплетении межперсональных отношений. В результате оказалась поправной главная характеристика изучаемого объекта — индивидуальность личности. Индивидуальность рассматривается как ненаучный миф. Селливен сводит ее к функции персонификации в системе эго.

Так стремление преодолеть антагонизм между личностью, представшей в «классическом» психоанализе в виде замкнутой системы, и социальным окружением, будто бы изначально ей враждебным, привело Селливена к тому, что сама среда испарилась в сеть межличностных психологических отношений, а личность оказалась лишь проекцией этой сети.

Большую популярность среди некоторых кругов интеллигенции капиталистических стран приобрели работы другого неофрейдиста, Э. Фромма.

Если Фрейд считал единственным двигателем поведения примитивные биологические силы, то Фромм расширяет иначе: «Хотя и имеются некоторые потребности (need), общие для всех людей, такие, как голод, жажда, секс, но те потребности (drive), которые создают различия в характере человека, — любовь и ненависть, вождение власти и стремление подчиняться, наслаждение чувственным удовольствием и страх перед ним — все это продукты социального процесса. Наиболее прекрасные и самые безобразные склонности человека представляют собой не композиты фиксированной и биологически заданной человеческой природы, а результаты социального процесса, который творит людей»¹.

Однако понимание Фроммом характера социального процесса и его творческой роли по отношению к психике свидетельствует об антиинформизме его концепции и его верности фрейдистскому постулату о первичности психических сил и механизмов.

Выделившись из животного царства, человек, согласно Фромму, навсегда становится рабом «дихотомии существования» («экзистенциальной дихотомии»). Он имеет много потенций, но не в состоянии их реализовать за

¹ E. Fromm. Escape from Freedom. N. Y., 1941, p. 12.

короткую жизнь, он — часть общества, но никогда не живет в гармонии с ним, поскольку представляет отдельную сущность.

В первобытном обществе его спасают: идентификация с группой или кланом, мифология и магия. В истории европейской цивилизации периодом солидарности и социальной безопасности было средневековье. Каждый знал свое место в социальной системе и не испытывал поэтому чувства одиночества, оторванности от других.

Ренессанс и Реформация разрушили стабильность средневековья. Человек обрел свободу, но вместе с ней исчезла социальная безопасность. Резко усилилась зависимость индивида от других, от того, как он будет ими принят. Это привело к возникновению механизмов «бегства от свободы». Их четыре: садизм, мазохизм, деструктивизм и автоматический конформизм. Садизм проявляется в стремлении иметь неограниченную власть над другими, мазохизм — подчинить себя другим, деструктивизм — разрушить мир, чтобы он не разрушил меня, конформизм — быть в таком согласии с социальными нормами, которое отрицает все оригинальное и независимое.

В этой схеме нет ни социально-исторической, ни психологической правды. Конечно, на протяжении веков человеческие характеры изменялись, и эти изменения были обусловлены образом жизни людей. Но реальная история ничем не напоминает умозрительную конструкцию Фромма, в которой средневековье предстает в виде эпохи всеобщего благоденствия и согласия, а Возрождение, давшее титанов действия и мысли, рисуется как период разрушения связей между личностью и социальным миром. Развитие индивидуальности оказывается не признаком прогресса, а всего лишь источником извращенных склонностей к насилию, агрессии, подавлению творческого начала. Выведя из ложно интерпретированного исторического процесса патологические механизмы «бегства от свободы», Фромм затем совершает «маневр» в обратном направлении — к общественным явлениям и процессам. Фазизм объясняется по классово-историческим обстоятельствам, а мнимой психологической готовностью людей отказаться от свободы с целью обеспечить свою безопасность. Культивируемый буржуазным обществом конформизм выводится опять-таки из действия психологических, а не социальных

факторов — желания спастись от постылой свободы путем бездумного, автоматического подчинения лидеру или принятым нормам.

В итоге фроммовская декларация об определяющем воздействии социального начала на формирование человеческого характера оказывается фикцией, не способной объяснить исторические или психологические факты.

У Фромма отчетливо намечалась тенденция к преобразованию психоанализа в своего рода религию. Чтобы справиться с «экзистенциальной дихотомией», у человека, согласно Фромму, есть один путь — реализовать свои внутренние потенции. Фрейд исходил из пессимистического взгляда, полагая, что индивид по своей природе антисоциален, а общество искусно контролирует его основные неконтролируемые импульсы, тормозит их или преобразует соответственно своим запретам. Фромм полагает, что на человека можно смотреть более оптимистически. Ошибка современной культуры не в том, что люди слишком много заняты собственными интересами, а в том, что они слишком мало интересуются своим реальным «Я». Они не любят себя и потому вырабатывают «механизмы бегства», вместо того чтобы заняться истинной самореализацией.

Лучший же путь к этому указывают восточные религии, в особенности дзен-буддизм. Только на этом пути, утверждает Фромм, достижимо здоровое общество, где «существует такая система ориентации и полной отдачи себя (devotion), при которой человек не нуждается в том, чтобы искажать реальность и творить идеалы»¹. Так линия неофрейдизма у Фромма завершилась открытым отказом от самой идеи формирования личности с помощью средств, проверенных общественно-историческим опытом и рациональным анализом. Теперь надежда возлагается на средства, выработанные древневосточными религиями. А ведь некогда преимущества своего подхода Фромм видел в том, что в отличие от Фрейда, объяснявшего историю, культуру подспудными влечениями субъекта, он намечает противоположное направление: от объективного социально-исторического процесса к внутреннему строю личности.

В отличие от неофрейдизма, который сделал упор на социально-культурные, межличностные процессы, опреде-

¹ E. Fromm. The Sane Society. N. Y., 1955, p. 362.

ляющие поведение личности и придающие ему при нарушении нормального течения этих процессов невротический характер, другое направление психоанализа, известное под именем «психологии эго», в качестве своей основной темы избрало анализ строения самой личности. Его главные представители — Анна Фрейд (р. 1895), Эриксон (р. 1902), Гартманн (р. 1894) и Д. Раппопорт (1911—1964).

У Селлшвена личность превратилась в фикцию — условную точку пересечения множества актов общения, для сторонников же «психологии эго» характерно стремление восстановить в правах самостоятельность и стабильность личности.

Какое, однако, отношение имеют эти поиски к исходной схеме Фрейда? Понятие личности у Фрейда, как уже отмечалось, выступило в трехчленной формуле, где безличностное, бессознательное (ид) и надличностная совесть (супер-эго) играют роль внешних по отношению к самой личности (эго) факторов. Приверженцы «психологии эго» пытаются преодолеть расщепленность человеческой индивидуальности, декларируя Фрейдом.

Фрейд, по их мнению, описал функции эго, роль, выполняемую им в действиях человека, но ничего не сказал о строении этого внутреннего психического агента, если не считать понятия о «механизмах защиты». Чтобы восполнить этот пробел, необходимо придать эго некоторые структурные характеристики, снабдить его такими аппаратами: механизмом ориентации в среде (перцепции), построения понятий, а также управления двигательными актами. Для Фрейда изначально присущими организму являлись только влечения. Сторонники концепции «автономии эго» полагают, что наряду с первичными влечениями природными следует считать также ряд систем: двигательных, перцептивных, мнемических, относящихся к сфере эго, а не к бессознательному. Если у Фрейда все структуры рассматривались лишь в одном измерении, а именно — в их отношении к влечению и конфликту, то теперь предполагается, что функции эго не зависят от влечений. Они автономны. Влечения запускают в ход аппараты эго, т. е. процессы восприятия, памяти, действия, однако не определяют характер их функционирования.

Если эти аппараты работают автономно (т. е. независимо от энергии влечений), то где же тогда они черпают свою энергию? Неопсихоаналитиков этот вопрос, по их соб-

ственному признанию, ставит в тупик. Они пытаются отвести на него либо предположением о том, что сами аппараты являются источником энергии, либо указавшим на возможность переключения первичной энергии влечений на нужды эго.

У сторонников «психологии эго» нет другого выхода, кроме того, чтобы присоединить к фрейдовским посылкам взгляды, извлеченные из других психологических систем. Ведь возможности самого фрейдизма, как уже отмечалось, не выходили за пределы мотивационного плана поведения (притом лишь эго энергетического, динамического аспекта). Тщетно было бы искать в воздвигнутой Фрейдом теоретической конструкции средства для разработки позитивного учения о перцептивных, двигательных, интеллектуальных, мнемических «аппаратах» личности как таковых. Он не смог дать общей теории психических процессов вопреки надеждам сторонников «психологии эго» извлечь такую новую из его наследия.

Появление «социологизированного» фрейдизма, как п «психологии эго», можно рассматривать лишь как симптом изначальной неспособности фрейдизма стать учением, охватывающим структуру и способ регуляции психической деятельности в целом. Самим последователям этого учения, а не только противникам стала очевидна его ограниченность, его бессилие перед реальными проблемами и запросами научно-психологического знания. Появление неофрейдистов и постфрейдистов мы вправе трактовать как симптом распада исходной концепции психоанализа перед лицом этих запросов. Психологи, социологи, психиатры, ориентировавшиеся на Фрейда, не смогли выдвинуть конструктивных идей, способных стимулировать разработку психологической теории. Вместе с тем критика фрейдизма со стороны тех, кто привнес его в качестве генеральной линии исследования поведения человека, весьма поучительна. Она обнаружила в ней слабые пункты изнутри, как бы следуя внутренней логике его объяснений.

Главные возражения обрушились на мысль о предопределенности человеческого поведения органическими факторами. Теория инстинктов была объявлена устаревшей, и в связи с этим отвергнуты положения о всепальности половости влечения и о врожденной агрессивности. Пальма первенства передавалась факторам культуры, межличностным отношениям и другим социальным моментам. Тем

самым механизмы мотивации и построения личности ставились в зависимость от внешних, а не внутренних детерминант. В этом содержался намек на необходимость преобразовать категорию мотивации¹, проследить ее внутренние связи с другой категорией — психосоциального отношения. Однако решить эту задачу неофрейдисты были бессильны, поскольку для научного анализа процессов общения требовалось понимание их своеобразной социально-исторической природы, их укорененности в реальных, практических связях между людьми. Точно так же и стремление отстоять целостность личности не могло быть реализовано в пределах психоанализа. Ведь недостаточно декларировать эту целостность. Нужны рабочие понятия, позволяющие ее раскрыть в условиях реальной многоплановости мотивов и других признаков личности в отличие от «величностных» сторон психической деятельности. Наконец, уверенность представителей «психологии эго» в том, что крупные пробелы в учении Фрейда, связанные с игнорированием перцептивных, моторных и других механизмов, можно восполнить, оставаясь на почве этого учения, была явно призрачной. Ведь ни категория образа, ни категория действия не были, да и не могли быть разработаны психоанализом, поскольку обращение к этим категориям требовало совершенно иных подходов, несовместимых с категориальными предпосылками фрейдизма².

Итак, психоаналитическое движение, различные «рукава» которого были попытками так или иначе преобразовать основную схему Фрейда, оказалось теоретическим тупиком.

¹ О прикованности неофрейдистов к взглядам Фрейда на мотивацию и их неверных воззрениях как на характер самих социальных процессов, так и на возможность управления ими говорилось выше.

² Фрейд ограничивался общим положением о том, что эго вынуждено считаться с реальностью (в отличие от бессознательного ид, знающего только один принцип — удовольствие). Однако для понимания процессов, посредством которых познается независимая от личности и ее мотивационных импульсов реальность, в его учении никаких данных не содержалось. Что касается такой категории, как действие, то и в нем Фрейд видел лишь средство реализации (прямым или обходным путем) влечений, вопрос же о построении действия как такового им не рассматривался.

«ТЕОРИЯ ПОЛЯ»

(Левин и его школа)

Близкой к гештальтпсихологии по методологическим установкам, но отличной от нее по характеру преобразований, произведенных в научно-категориальном строе психологии, была экспериментальная школа Курта Левина (1890—1947).

В свое время Левин был студентом Вертгеймера, а затем преподавал психологию в Берлинском университете — штаб-квартире гештальтистского движения. Понятие «динамического поля», где каждый пункт взаимодействует с другими и где изменение напряжения в одном из пунктов немедленно порождает тенденцию к устранению этого напряжения и восстановлению динамического равновесия, это понятие, заимствованное Келлером, Вертгеймером и др. из физики, служило ключевым и для Левина. Его роднила с гештальтистами и общая ориентация психологического исследования на физико-математические, а не на биологические науки.

Левин также исходил из определенных философских воззрений, из определенного мнения о структуре и процедурах мышления. Говоря о воздействии одной области научных исследований на другую (в нашем случае физики на психологию), следует иметь в виду, что наряду с прямыми формами этого влияния могут быть и влияния, опосредствованные философскими, методологическими изданиями. Именно таким опосредствованным, а не прямым было в 20-е годы воздействие методологических дискуссий в области физики на психологические идеи (в отличие от предшествующего периода, когда понятие о поле было

почерпнуто из физики непосредственно). Теперь к физике обращались не за сведениями о «фактуре» физического мира, с тем чтобы использовать эти сведения для определения реального субстрата психики, а за сведениями об умственных приемах, обеспечивших блистательные успехи физических наук.

Но очевидно, что без специальной мотивации ученый не мог погрузиться в таинственный вопрос об умственных механизмах и приемах построения научного знания вообще. Для этого нужна соответствующая потребность, в свою очередь создаваемая состоянием конкретной исследовательской работы, ее запросами и трудностями.

Левин был экспериментатор до мозга костей. Разработанная им методика экспериментального изучения мотивации человеческого поведения прочно вошла в состав современной науки, о чем известно каждому психологу. Вместе с тем предпосылкой его экспериментальных программ служил определенный методологический подход. Находясь под впечатлением идеи философа-неоканта Э. Кассирера о том, что прогресс естествознания зависит от изменения в характере понятий и что симптомом прогресса, в частности, является переход от «вещных» понятий к «реляционным» (относительным), Левин считал, что психология должна заимствовать у естествознания общий способ объяснения явлений, интерпретировать их в категориях «отношений», а не изолированных «вещей». Он задумывался над возможностями построения «сравнительной науки о науках», в которой психология черпала бы объяснительные принципы, обогащенные методологическим опытом других наук. Не сведение понятий к операциям экспериментатора, как предлагал операционализм (ср. Толмен и др.), и не перевод высказываний о феноменах сознания на физический язык, как требовали Карвас и другие неопозитивисты, а перестройка самого типа психологического мышления по образцу мышления в точных науках — таков, по Левину, смысл обращения к достижениям физики.

Свою позицию он разъяснил в работе «Об аристотелевском и галилеевском способе мышления». Учение Галилея открыло эру новой физики, сменившей аристотелевскую физику, которая базировалась не на эксперименте и математическом обобщении, а на житейских наблюдениях и на выделении из отдельных случаев некоторой общей, наиболее

чаще встречающейся тенденции. Так, по Аристотелю, дым имеет тенденцию подниматься вверх из-за того, что он содержит в качестве основного элемента воздух, тяжелые же тела падают вниз, поскольку их основной элемент — земля и, чем больше в них этого элемента, тем они тяжелее.

Объяснение, которое аристотелевская физика предлагала для конкретных явлений материального мира, имело своей предпосылкой определенные интеллектуальные приемы. Они касались прежде всего трактовки детерминации поведения вещей. Причиной движения считались внутренние, присущие каждому объекту неизменные свойства. Предполагалось, что «естественное» движение «земных» объектов (содержащих землю в качестве главного элемента) совершается в вертикальном направлении вниз, к центру Земли, считавшейся тогда центром Вселенной¹. Тем самым физические объекты выделялись не только неизменными свойствами, но и внутренним стремлением к цели.

С этим соединялось положение о том, что движение небесных и земных тел совершается по совершенно различным законам. Первым приписывалось круговое движение, считавшееся совершенным, тогда как перемещение вторых относилось к явлениям низшего порядка.

Итак, придание изолированным объектам внутренних свойств и стремления к заранее заданной цели, а также группировка этих свойств по классам, каждый из которых существует на собственных основаниях, — таковы отличительные особенности аристотелевского «способа мышления», ограниченность которого наиболее ярко сказалась в учении о физическом мире².

«Способ мышления» Галилея был принципиально новым. В противовес Аристотелю, он показал зависимость движения тел от непосредственных внешних условий, от

¹ Все остальные движения, кроме естественных («натуральных»), требуют, согласно Аристотелю, постоянного приложения некоторой внешней силы.

² Аристотелевское учение о неорганической природе сложилось под влиянием представлений о поведении объектов органической природы, которым действительно свойственно стремление к цели. Эта «телологичность» поведения организмов, однако, пуждается в причинном объяснении, впервые предложенном, как отметил Маркс, Дарвином.

пространственно-временного контекста (лишив тем самым физические вещи стремлений к цели и имманентных свойств, которые якобы изначально детерминируют характер движения). Галилей утвердил совершенно новую картину физического мира.

У Аристотеля этот мир был гетерогенным, разделенным на ярусы, в каждом из которых поведение физических тел имеет собственные правила. У Галилея мир стал однородным. Любое движение любого объекта — небесного и земного — подчинено одним и тем же законам. С этим был связан еще один существенный момент. Для Аристотеля, объединившего путем индукции эмпирически наблюдаемые явления в отдельные классы, закономерными считались только те признаки, которые присущи всем индивидам данного класса. Отклонения от общего относились за счет случайных возмущений, не имеющих отношения к закономерному действию основных причин. Напротив, по Галилею, одному и тому же объяснительному принципу подчинено как сходное, так и различное. Из этого единого принципа должно быть дедуцировано любое индивидуальное различие, каким бы уникальным оно ни казалось. Тем самым причинное объяснение оказывалось действительным для каждого эмпирического факта без исключения.

Физика после Галилея и его преемника Ньютона стала точной наукой, образцом для всех других. Что же касается психологии, то она, по Левину, задержалась на аристотелевском уровне мышления. Она ищет детерминанты поведения внутри изолированно рассматриваемого индивида. Чем, например, понятие об инстинктах или об основных свойствах личности как изначально данных регуляторах поведения лучше догалилеевских представлений о том, что целенаправленная активность имманентно присуща вещам природы? Чем разделение движущих сил человеческого поведения на отдельные разряды (бессознательные влечения, эмоции, волю и т. д.), для каждого из которых указывается особое основание, лучше аристотелевского противопоставления движения земных тел движению небесных? Свойственное психологическим классификациям объединение явлений в общие группы напоминает аристотелевские индуктивные обобщения. Все индивидуально-неповторимое отбрасывается. Отклонение от совокупности

признаков, характеризующих группу, трактуется как случайная вариация. Мир современной психологии, согласно Левину, так же гетерогенен, как и мир физики аристотелевских времен. И если физика XX в., следуя галилеевской традиции, пришла к Эйнштейну, то психология, хотя и восприняла такие атрибуты послегалилеевской науки, как экспериментальные и математические методы, по воспринятым ею приемам причинного анализа поведения во многом осталась на предгалилеевских рубежах.

Насколько справедливой была критика Левина?

Действительно ли древний аристотелевский способ объяснения отличал быстро развивающуюся психологию? В отношении исследовавший двух аспектов психической реальности — действия и образа — это явно было несправедливо. Изучение двигательной активности, хотя бы в русле рефлекторной схемы, было именно «галилеевским», а не «аристотелевским». За организмом не признавалось никаких «скрытых качеств», никакого изначально заложенного стремления к цели. Схема образования временных связей считалась универсальной, действительной для любого уровня и любой формы поведения. Индивидуальные вариации и уникальные случаи рассматривались не как случайное нарушение общих законов, а как результат их действия. Что касается образа, то, хотя здесь детерминистическое воззрение и не укрепилось столь же прочно, как в отношении действия, представление о том, что внешние раздражители посредством ряда нервных структур производят строго определяемые сенсорные эффекты, намечало путь для причинного изучения ощущений и восприятий.

Какую же в таком случае область психологии мог иметь в виду Левин, если не исследования двигательных реакций и не исследования сенсорных процессов? Он имел в виду господствовавший в ту эпоху способ анализа мотивации поведения.

Именно применительно к проблеме мотива новая психология оставалась, по его мнению, в пределах античного мышления. Вся последующая работа Левина была направлена на то, чтобы утвердить «галилеевский» подход к мотивации. Несмотря на некоторые пункты, объединявшие его с гештальтпсихологией (прежде всего в концепции «динамического поля»), его учение и школа должны рассматриваться как самостоятельное направление. Его

отлично от гештальтистской школы было обусловлено уже тем, что для нее стержневой являлась категория образа, тогда как для Левина — категория мотива. Хотя образ и мотив суть различные стороны единой психической реальности, они в силу ряда обстоятельств превратились в самостоятельные, лишенные внутренней связи научные объекты. Подобно тому как гештальтпсихология рассматривала образ безотносительно к мотивационным факторам его построения, Левин, как мы дальше увидим, игнорировал предметно-смысловое содержание ситуации, в которой реализуется мотивационная динамика. А содержание это может выступить для субъекта только в форме образа (чувственного или умственного).

Левин считал, что необходимо преодолеть взгляд на мотив как скрытую внутреннюю силу, действующую независимо от среды. Поведение должно всегда рассматриваться как результат взаимодействия между индивидом и его непосредственным окружением. Всю совокупность факторов, влияющих на субъекта в конкретный отрезок времени, Левин назвал «жизненным пространством».

Посредством этого термина общее представление о «поле» как «динамическом целом» применялось к описанию взаимоотношений между субъектом и его непосредственным окружением. Для гештальтистов «поле» в психологии — это перцептивная структура, это то, что воспринимается в качестве непосредственно данного сознанию. Для Левина «поле» — это структура, в которой совершается поведение. Она охватывает в нераздельности мотивационные устремления (намерения) индивида и существующие вне индивида объекты его устремлений.

Положение о том, что субъект и объект нераздельны, что они образуют единое «поле», давно использовалось идеализмом, утверждавшим, будто формула «нет субъекта без объекта и нет объекта без субъекта» — единственный способ преодолеть дуалистический взгляд на познание. Под влиянием этой формулы находились многие психологи, в том числе и Левин. Следует, однако, иметь в виду, что его психологическая система охватывала не гносеологический, а мотивационный аспект субъектно-объектных отношений. Оба аспекта тесно связаны. Ведь реальная деятельность познания (построения образов) всегда чем-то мотивирована. Мотивация же всегда предполагает определенную (различной степени осознанности) форму представлен-

ности в организме тех целей, в достижении которых индивид испытывает нужду. Но вместе с тем аспекты, о которых идет речь, не идентичны. Объект познания — реальность, какой она существует независимо от познавательных способностей человека. Непременным же условием приобретения объектом мотивационной значимости является его отношение к побуждениям, запросам, интересам личности. Осознание вещи в форме образов (чувственных и умственных) и отношение этой вещи к потребностям личности не совпадают. Не все осознаваемое имеет мотивационную силу. Для ее пробуждения, для приобретения вещами, представленными в чувственных или умственных образах, влияния на динамику поведения недостаточно самой по себе информации об этих вещах.

Конечно, игнорирование информационных (познавательных) процессов сразу же делает реакции «слепыми». Однако никакая полноценная психологическая характеристика поведения не может ограничиться ставшими столь модными ныне моделями «приема и переработки информации». В прежние времена такое ограничение называлось интеллектуализмом, т. е. сведением всех детерминант поведения к деятельности интеллекта, познавательным актам. Интеллектуализму противостоял волюнтаризм, полагавший, что началом всех начал является воля. В представлениях о воле наиболее ярко сказывался «аристотелевский способ мышления». Воля описывалась в виде особой скрытой силы, изнутри направляющей действия человека. Она в своей высшей, наиболее типичной форме противопоставлялась низменным чувственным влечениям (подобно тому как некогда круговые движения небесных тел противопоставлялись менее совершенному движению земных).

Левин и направил свои усилия на то, чтобы преобразовать психологическое знание о мотивационной сфере (включая все уровни ее организации). Ко всем проявлениям этой сферы — от элементарных влечений до «высших» волевых актов — был применен один подход. Все эти явления выводились из общей формулы: поведение есть функция личности и среды. Эмпирически данные особенности поведения не объяснимы ни из личности самой по себе, взятой в качестве самостоятельной сущности, ни из среды как таковой.

Психолог должен отказаться от того, чтобы представлять объекты исходя из категории «вещи», и перейти к мышлению «отношениями». Понятие «единое поле», «жизненное пространство», по плану Левина, и должно было утвердить новый «реляционный» способ описания реального поведения.

Принцип непосредственного взаимодействия организма (индивида) и среды служил, как мы знаем, после Дарвина вехой для многих психологических теорий. Левин пытался распространить его и на сферу мотивации. Мотивационный фактор учитывался в дарвиновском учении об инстинктах, в павловском понятии о подкреплении, в торндайковском «законе эффекта». Все перечисленные концепции исходили из того, что организм непосредственно связан со средой и в своих действиях детерминирован этой связью. Вместе с тем во всех случаях мотив понимался как некоторый стабильный фактор — удовлетворение пищевой или другой органической потребности, чувство удовольствия и т. п., на котором в конечном счете «держится» поведение, но который вовсе не является неизменным участником любого поведенческого акта в любой момент времени.

Попытку утвердить сплошную зависимость поведения от внутренних мотивационных сил предпринял Фрейд. Однако у него, как мы знаем, мотивация свелась к нескольким изначальным, биологическим по своей сути влечениям, объекты которых фиксируются в детстве. Исходя из этого, предполагалось, что наличная мотивация человека детерминирована его инфантильными влечениями и соответственно, чтобы понять эту мотивацию, следует «раскапывать» далекое прошлое личности. В противовес Фрейду Левин выдвинул тезис о том, что объяснить поведение можно только из тех отношений, которые складываются у личности с ее непосредственной конкретной средой в данный микроинтервал времени. Прошлый опыт может влиять на субъекта лишь в том случае, если сохраняется его актуальность «здесь и теперь».

Стремясь изобразить мотивационное отношение индивида и среды в их нераздельности, Левин обратился к математике, а именно к таким ее разделам, как топология (изучающая преобразования различных областей пространства) и векторный анализ. Одну из своих книг он так и назвал — «Принципы топологической психологии»

(1936). Обращение к топологии позволило применить графическое описание вместо слов и чисел. Графические символы обозначали «жизненное пространство», в котором совершается психологическое движение¹, разделенность этого пространства на районы, локализацию целей, барьеры на пути к ним и т. д. Для обозначения психологических сил в «жизненном пространстве» Левин использовал математическое понятие о векторе. Направление силы обозначалось стрелой, ее величина — длиной вектора, точкой приложения являлся какой-либо район «жизненного пространства». Не следует забывать, что левиновская попытка разработать аппарат описания поведения падает на тот период, когда идея о необходимости формализации психологических исследований лишь зарождалась в психологии. Левин был одним из первых, кто вышел на путь построения схем, которые в дальнейшем стали называться математическими моделями. За ним последовали необиористы, Пиаже и другие исследователи. Какие же преимущества обещало применение указанных схем? Оно, согласно замыслу Левина, должно было дать возможность, оставаясь на естественнонаучной почве, отобразить целенаправленный характер психической деятельности. Ведь не прибегает же механика к гипотезе о цели, когда объясняет направленное перемещение тела из одной точки в другую.

Чтобы объяснить «локомоцию» индивида в «жизненном пространстве», нужно по типу физических сил представить силы психологические. Но последние это не «намерение», «желание», «хотение» традиционной психологии, полагавшей, что они не могут иметь другого источника, кроме самого субъекта. Психологические силы возникают и изменяются только внутри «поля» («жизненного пространства»), поэтому мотивационные изменения, которые испытывает индивид, должны быть объяснены исходя из динамики целого. Индивид действует в определенной среде. Одни ее районы притягивают, другие — отталкивают. Это качество объектов Левин назвал «валентностью» (положительной или отрицательной). «Валентный» район является

¹ Под психологическим движением («локомоцией») Левин понимал не только реальное (мышечное) перемещение по направлению к району, где локализована цель, но и движение внутреннее, т. е. преобразование мыслей, представлений и т. п. Движение трактовалось как изменение структуры ситуации.

центром силового поля. При позитивной валентности все силы устремлены к данному району, при негативной — от него. Среда заряжена «плюсами» и «минусами», направляющими «локомоции» личности. Что касается самой личности, то она предстала в концепции Левина в виде «систем напряжения».

Понятие «системы напряжения» стало отправным для большого цикла экспериментальных исследований мотивации. Первое из них было проведено ученицей Левина, советским психологом Б. В. Зейгарник.

Испытуемым предлагался ряд заданий, часть которых они могли полностью завершить, тогда как работа над другой частью заданий под различными предлогами прерывалась. Затем испытуемых просили вспомнить обо всем, что они делали во время опытов. Предполагалось, что в случае прерванной, незавершенной деятельности ее мотив, не получив разрядки, должен сохранить свою актуальность и тем самым обусловить лучшее воспроизведение в памяти именно этой деятельности по сравнению с деятельностью, доведенной до конца и, следовательно, исчерпавшей свой мотивационный потенциал.

Результаты представлялись в виде отношения:

воспроизведенные незавершенные действия

воспроизведенные завершенные действия

Руководствуясь идеей Левина, Зейгарник предсказывала, что отношение должно превышать единицу. Эксперимент дал средний показатель 1,9. Иными словами, число воспроизведенных незавершенных заданий почти вдвое превысило число завершенных¹.

Вскоре другой психолог, М. Овсянкина, используя тот же прием прерывания незавершенных действий, приступила к экспериментальной проверке гипотезы о «системе напряжений» на материале реальной деятельности, а не ее воспроизведения в памяти. Выяснялось, как будет вести себя испытуемый в условиях, когда какие-либо обстоятельства (якобы случайные) приостановят работу над заданием, но вместе с тем ему будет предоставлена возможность действовать по собственному усмотрению. Из концепции Левина вытекало, что мотивационное напряжение

¹ Установленная зависимость приобрела в психологии известность под именем «эффекта Зейгарник».

вынудит субъекта «спонтанно» (без всякой стимуляции со стороны экспериментатора) завершить начатое действие. Экспериментальные факты Овсянкиной подтвердили эту мысль. Почти во всех случаях испытуемый возвращался к прерванному заданию. Развитием этой линии исследований явилось изучение «замещающей деятельности». Схема новых опытов была в принципе той же, что и предшествующих. Ставился барьер (в виде прерывания действия), препятствующий разрядке напряжения. Но если прежде Овсянкина, приостанавливая выполнение задания, создавала условия, при которых испытуемый мог по собственному почину его завершить, то теперь ему немедленно предлагалось другое задание с целью выяснить, приобретет ли оно замещающую ценность. Если испытуемый вновь займется по своей инициативе заданием, которое он вынужден был оставить, то очевидно, что замещающая ценность второго задания невелика, и наоборот.

В экспериментах левинской школы был вскрыт ряд факторов, определяющих «силу» замещающей деятельности. Сперва выяснилось, что сходство между первоначальной деятельностью и замещающей, а также высокая степень трудности последней придают ей большую ценность. Затем было установлено, что эта ценность тем выше, чем меньше временной интервал между двумя деятельностями и чем привлекательней замещающая деятельность. Замещающая ценность зависит также от социальных и личностных моментов.

С концепцией «системы напряжения» был связан еще один экспериментальный проект: изучение так называемого «насыщения». В отношении органических потребностей (в частности, потребности в пище) общеизвестными являются состояния, связанные с депривацией (лишением пищи), насыщением и пресыщением. Для Левина феномены, наблюдаемые в сфере элементарных потребностей, лишь частное проявление общей мотивационной динамики. Из этого следовало, что «голод», «насыщение», «пресыщение» могут рассматриваться как параметры не одних только органических вождлений, но любых «систем напряжения». Феномен «насыщения» с точки зрения левинской схемы объясняется тем, что уровень напряжения в мотивационной системе данного действия в результате его непрерывного повторения падает, становится ниже, чем в других «системах напряжения». Соответственно

именно эти другие «неистощивые» системы начинают определять структуру «жизненного пространства». Поэтому субъект и отказывается выполнять задание, предпочитая переключиться на другое¹.

Преращение мотивации в предмет экспериментально-го исследования было важной заслугой левиновской школы. Известно, что ничто так тесно не связано с самыми интимными сторонами жизни личности и ничто не интересуется нас в ней так глубоко, как мотивы ее поведения. Однако являлись ли экспериментальные достижения простой проекцией теоретических установок школы? Известно, что любой эксперимент имеет теоретические предпосылки и призван их проверить. Но плодотворность эксперимента была бы ничтожной, если бы его смысл ограничивался подтверждением или опровержением готового теоретического знания. Сталкиваясь это знание с реальностью, эксперимент вырубает из нее новые «куски», вводящие в оборот новые проблемы. В концепции Левина мотивационные связи индивида со средой представлялись по типу силовых отношений. Это и побудило изобретать такие экспериментальные проекты, которые позволяли бы проследить динамику поведения, его «силовые» параметры — напряженность, разрядку напряженности, ее блокируемость, переключаемость с одного направления на другое и т. п. В центре размышлений левиновской школы была мотивация, притом в системе человеческого поведения в целом, а не только на уровне органических потребностей.

Но экспериментальная работа показала, и в силу природы психической реальности не могла не показать, что мотивационная динамика человеческих действий включается в новую структуру, представленную жизнью личности как особого образования. Вот тут-то и обнаружилась непоправимая слабость левиновской схемы, бессильной объяснить реальность, фиксируемую категорией личности. Личностный фактор выступил уже в экспериментах Зейгарник, Карстен и других сотрудников Левина, хотя они

¹ Психологическое «насыщение» (и «перенасыщение») изучалось первоначально в работе ученицы Левина Карстен. Испытуемые должны были повторять одно и то же задание: читать стихи, рпсовать, вращать колесо и т. п. Симптомы «перенасыщения» выражались в распаде деятельности, в утрате его смысла, стремлении варьировать характер задания, эмоциональных вспышках и др.

и не имели никакой другой экспериментальной задачи, кроме выявления динамики мотивационных сил. Выводы Зейгарник показывали лучшую воспроизводимость в памяти незавершенных действий по сравнению с завершенными. Но за общим процентом скрывался один существенный момент: когда незаключенное действие имело для испытуемого личностную значимость (например, было связано с его честолюбием), оно воспроизводилось несравненно лучше, чем в том случае, когда испытуемый, выполняя задание, не переживал его как личное достижение. В работе Карстен по проблеме «насыщения» имелся такой вывод: если деятельность при прочих равных условиях является для личности важной, существенной, то «насыщение» наступает быстрее, чем тогда, когда деятельность является несущественной, «периферийной».

Еще в большей степени выступила роль личностного фактора в новом цикле исследований левиновской школы, объединенных понятием об «уровне притязаний».

Это важное понятие впервые ввел Т. Дембо для обозначения степени трудности цели, к которой стремится испытуемый. Общий план опытов по изучению уровня притязаний состоял в следующем: испытуемому давалось задание, допускающее различные уровни выполнения (например, ряд математических задач возрастающей степени трудности). Принимаясь за работу, он намечал для себя одну из градуированных задач, т. е. выбирал определенный уровень, после достижения (или недостижения) которого его просили сообщить, задачу какой степени трудности он выберет в качестве следующей. Этот выбор после предшествующего успеха (или неуспеха) и фиксирует его уровень притязаний. Очевидно, что возникновение и изменение уровня притязаний сталкивает с рядом важнейших психологических вопросов — выбора, конфликта, притязания, принятия решения, успеха, неуспеха и др. Нетрудно понять, что центром всех этих вопросов является личностный фактор, ибо уровень притязаний устанавливает сам субъект, а его надежды, ожидания, переживания, удачи или неудачи, последующий выбор и т. д. зависят от своеобразия его личности и не могут быть объяснены общими особенностями мотивационной динамики, подобными «эффекту Зейгарник», «эффекту насыщения», «эффекту замещения» и др. Уровень притязаний зависит не от «систем напряжений» и «валентности объектов», а от установок

и ценностей личности, по отношению к которым сами эти «системы» и «валентности» оказываются производными. Но в проблеме личности левиновская мысль и дала осечку. Никакие законы «динамического поля» не могут объяснить своеобразие жизни в развитии человеческой личности, ее структурную целостность, ее индивидуальность, ее стойкость по отношению к «силам поля», способность им противостоять. Для того чтобы понять различия в уровнях притязаний, реакциях на успех и неуспех и т. д., нужно было перейти от категории мотива к категории личности. Разработка последней в свою очередь требовала новых понятий и схем, способных, в частности, распространять приемы детерминистического анализа на индивидуальные и личностные различия, способных учесть постоянство, стабильность этих различий. Ни относительное постоянство личности как системы, ни стойкие различия в поведении у испытуемых, включенных в одну и ту же экспериментальную ситуацию, не могли быть объяснены левиновской теорией.

Левин отстаивал единство психологических объяснений, справедливо возражая против раскола психологии на две дисциплины: изучающую общее в поведении и изучающую индивидуальные и типологические особенности людей. Эти два направления, подчеркивал он, взаимосвязаны, и «исследование одного не может происходить без исследования другого»¹. Но между этим утверждением и реальным смыслом исследований Левина согласия не было. Относительно постоянные свойства субъекта, личностные константы поведения во внимание не принимались. Не к новому, более прогрессивному пониманию этих констант, а к их игнорированию привела Левина борьба против идеи об изначально присущих индивиду инстинктах, способностях, стремлениях. Левин рассчитывал, что его математические модели позволят построить теорию целостного поведения во всех его формах и проявлениях. В действительности же они оказались плодотворны лишь в ограниченных пределах, а именно применительно к мотивационной динамике. Конечно, вне этой динамики немислим ни один момент реальной психической жизни, ни один акт

¹ K. Levin. Behavior and development as a function of the total situation. In: Carmichael L. (ed). Manual of Child Psychology. N. Y., 1946, p. 794.

поведения. Но она не исчерпывает многогранности этого акта, которому, наряду с мотивационным напряжением (или раздраждкой), свойственно многое другое. Левин сделал шаг вперед по сравнению с Фрейдом, перейдя от представления о том, что энергия мотива сжата в системе организма, к представлению о системе «организм — среда». Противоположение внутреннего внешнему снималось. Они выступали как разные полюса единого поля. Подобно тому как понятие о сигнале (в отличие от понятия о раздражителе) указывало на представленность в поведении внешнего объекта с точки зрения его (объекта) познавательных характеристик, понятие о мотиве (в отличие от прежних понятий об инстинкте, воле и т. п.) указывало на представленность в поведении внешнего объекта с точки зрения его побудительных характеристик.

Казалось бы, вводя среду (окружение) в качестве детерминанты мотивации, Левин покончил с субъективизмом. Напомним, однако, что все его построения группировались вокруг одной категории — мотива. Оказавшись отщепенной от других категорий и превратившись в единственный объяснительный принцип, она уже не могла адекватно отображать психическую реальность. В своих экспериментах он и его сотрудники наталкивались на различные проявления этой реальности, не покрываемые категорией мотива. При изучении процесса поведения им приходилось иметь дело и с образами (чувственными и умственными), в которых индивиду дано его «жизненное пространство», и с действиями (внешними и внутренними) в этом «пространстве», и с личностными аспектами мотивации.

Ни то, ни другое, ни третье не могло быть описано исходя из топологических схем и векторного анализа. Никаких же иных приемов анализа Левин предложить не мог. Он попытался представить движение к цели (или от нее) как «локомоцию». Но это был всего лишь умозрительный суррогат реальных действий, имеющих свои механизмы, свои способы построения. Он попытался представить зависимость мотивации от «повзвательной» (когнитивной) структуры среды. Здесь, казалось бы, и должна была выступать роль образа. Однако все свелось к общему положению о том, что при недостаточно структурированной среде, когда индивид не знает, «что к чему ведет», его действия становятся хаотичными, неэкономными и т. д.

О возникновении же и изменении познавательных структур, воспроизводящих объективную реальность, Левин ничего сказать не мог.

Нерасчлененность в его учении категорий образа и мотива привела к субъективации внешней среды поведения. Объекты этой среды выпадали из контекста познавательных отношений к индивиду и выступали лишь в одной «ипостаси» — в качестве отрицательно или положительно «заряженных» активаторов «локомоций». Но тогда объективный мир приобретал довольно странный облик. Он оказывался построенным из «вещей» или ситуаций, существующих не на собственных основаниях, а только «по милости» их способности притягивать и отталкивать субъекта. Откуда же могла взяться эта способность? Ведь ее нет в природе вещей как таковой, безотносительно к пугающемуся в них человеку. Получался своеобразный «мотивационный идеализм», гносеологическим истоком которого являлся тот реальный факт, что внешние предметы обнаруживают в системе взаимоотношений человека с миром дополнительную ценность, которая может замечаться или не замечаться, оказывать влияние на поведение или нет в зависимости от мотивационной динамики.

Ограниченность теоретической концепции Левина обусловила то, что к середине 30-х годов экспериментальные проекты, которые на ней базировались, по существу, себя исчерпали. Заложив основы экспериментальной психологии мотивации, они широко использовались многими исследователями и в дальнейшем. Но все свелось к аэробации установленных феноменов, их уточнению, тщательному, настойчивому варьированию одних и тех же по своей сути экспериментальных схем.

Когда теоретико-экспериментальная схема в ее приложении к определенному кругу объектов себя исчерпывает, имеется две возможности: либо изменить схему, либо изменить круг объектов, к которым она применяется.

Левин выбрал второй вариант. Он перешел от изучения мотивации индивида к изучению психосоциальных отношений. Его главной темой сделалась групповая динамика — то, что стало вскоре одним из главных разделов социальной психологии, известным под именем исследования «малых групп». На этот новый объект Левин распространил прежние принципы динамического подхода. Они относились уже не к «полям», «векторам», «напряже-

нием», возникающим в системе взаимодействий индивида со средой, а к внутригрупповому взаимодействию между индивидами. Изучение малых групп, роли лидера, микро-социальных отношений — все это было мотивировано прямыми запросами общественной среды.

Левин, к тому времени покинув ставшую фашистской Германию, начал работать в научных учреждениях США. Здесь он занялся проблемой «человеческих отношений», экспериментальным изучением таких вопросов, как типы конфликтов, стиль руководства коллективом и др. У него сложилась новая школа, новые конкретные методики и модели. Он исходил, однако, из ложной идеи, будто, изучая конфликтные ситуации в лабораторных или полевых условиях, удастся найти средства спасения общества от неразрешимых противоречий и конфликтов. Как и большинство психологов капиталистического мира, он смешивал психологические факторы с социально-историческими. Это методологическое смешение имело определенный классовый смысл. Если признать, что источник человеческого неблагополучия не имеет иных причин, кроме структуры «полей» межличностных отношений или стиля лидерства в «малой группе», то чужна реорганизация этих полей, структур и групп, а не коренное преобразование общественного строя — всей социальной системы, в конечном счете определяющей жизнь и группы, и личности.

Наряду с указанной социально-психологической проблематикой Левин продолжал заниматься общей теорией регуляции человеческого поведения. Он входил в возглавляемый Н. Винером научный коллектив, усилиями которого были разработаны принципы кибернетики. Путеводной нитью для Левина служили: понятие о «динамическом поле» как целостной самоорганизующейся структуре и математическое моделирование. Они представляли одну из линий, приведших к кибернетическому синтезу.

УЧЕНИЕ О СТАДИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ИНТЕЛЛЕКТА (Пиаже и женеvская школа)

За свою полувековую историю учение известного женеvского психолога Жана Пиаже (р. 1896) испытало ряд изменений, в которых находили отражение как логика формирования собственной мысли исследователя, так и движение психологического знания. Важнейший постулат Пиаже — положение о взаимодействии живой системы со средой как нераздельности двух непрерывно совершающихся процессов — ассимиляции и аккомодации. При ассимиляции организм как бы накладывает на среду свою структуру, свои схемы поведения, при аккомодации — перестраивает эти схемы соответственно особенностям среды.

Если трактовать теоретическую систему как своеобразный «организм», то применительно к учению самого Пиаже можно заметить, что оно, с одной стороны, ассимилировало события, происходившие в научной среде, от концепций Жана, Фрейда, швейцарского психолога Клапареда до кибернетики, с другой — аккомодировалось к этим событиям. Происходили сдвиги и в философской ориентации. Симпатии молодого Пиаже на стороне позитивизма, более зрелого — на стороне диалектического материализма. Вместе с тем его учение сохраняло и свои константы в вихре преобразований, потрясших самые основы науки за эти полвека. Главной из констант являлся принцип развития.

Этот принцип служил центральной осью множества психологических учений. С ним нераздельно связаны имена Дарвина и Сеченова. Для Пиаже-биолога по первоначальным интересам, занятиям и образованию этот принцип оставался непреложным.

Эмпирический материал, на котором раскрываются закономерности развития, может быть самым различным. Он может касаться психических проявлений предчеловеческого уровня — жизнедеятельности животных. Его можно черпать в психоневрологической клинике, трактуя патологические феномены как симптомы распада сложившейся в ходе эволюции «пирамиды», уровней поведения (этим путем, в частности, шел один из учителей Пиаже — Жаке). Можно обратиться и к историческому развитию психики. В 20-х годах живой интерес вызвали работы французского ученого Леви-Брюля о так называемом первобытном мышлении как качественно особом способе мышления, при котором идеи вырабатываются и соединяются согласно принципам, совершенно отличным от нашей логики. Наконец, богатейшие россыпи представляет психология ребенка. К этой области и относились труды Пиаже. Как известно, ребенку отводилось центральное место в основных психологических концепциях — функциональной, психоаналитической, гештальтистской. Даже бихевиористы, уверовавшие, что всеобщие законы поведения могут быть установлены на белой крысе, проверяли свои гипотезы в детских комнатах и приютах. Капитальные исследования по детской психологии принадлежали Бине, Штерну, Бюлеру, в нашей стране — Выготскому, Басову, Блонскому.

Психологические занятия Пиаже имели общепсихологический подтекст и вместе с тем мотивировались философской «сверхзадачей». Развитие понималось им не как спонтанное выявление изначально заложенных форм (априоризм, преформизм), но и не по типу «чистой доски» (эмпиризм, представление о том, что развитие — накопление «отпечатков» среды), а как единство ассимиляции и аккомодации. Этот взгляд направлял на раскрытие моментов, зависящих не от «запрограммированных» в телесном устройстве генетических факторов и не от окружающей среды самой по себе, а от деятельности организма, посредством которой он ассимилирует среду и к ней аккомодируется.

Из общего понимания органической жизни следовала интерпретация ее психического уровня. При объяснении этого уровня отправным также являлось понятие об адаптации как взаимосвязи ассимиляции и аккомодации. При

этом под адаптацией понималось достижение равновесия¹. Устремляясь ко все более совершенным и устойчивым формам равновесия со средой, организм и создает познавательные структуры. Здесь начиналась область философии (теории познания) и логики (учения о структуре мысли).

Величайшие философы пытались объяснить, как вырабатывается удивительное творение природы — человеческая мысль. Бессилие многих из них перед ее загадками объясняется, по мнению Пиаже, тем, что они обращались к собственной интуиции, самонаблюдению. Но ведь интуиция и самонаблюдение не первичны. Они лепестки на огромном сложнейшем древе интеллектуального развития индивида. Как же в таком случае принимать их за исходную точку работы ума и возводить на этом шатком основании все учение о человеческом познании — эпистемологию?

Начинать нужно не с лепестков, а с корней. Раскрыть же эволюцию древа способна только наука с ее точными — эмпирическими и математическими — методами. Таков был общий замысел Пиаже, вдохновлявший его и в первые годы научных занятий, когда от поведения моллюсков он перешел к поведению ребенка, и в 50-х годах, когда он организует в Женеве (в 1955 г.) Международный центр генетической эпистемологии. Под последней понималась комплексная (междисциплинарная) разработка учения о познании на основе генетических принципов и методов.

Первые книги Пиаже вышли в 20-х годах. Это «Речь и мышление ребенка» (1923), «Суждение и умозаключение у ребенка» (1924), «Представление ребенка о мире» (1926), «Физическая причинность у ребенка» (1927). Именно эти работы имел в виду Выготский, когда писал: «Исследования Пиаже составили целую эпоху в развитии учения о речи и мышлении ребенка, о его логике и мировоззрении... В то время как в традиционной психологии детское мышление получало обычно негативную характеристику, составлявшуюся из перечня тех изъянов, недостатков, минусов детского мышления, которые отличают

¹ Оптимальной формой равновесия Пиаже в дальнейшем признавал взаимное сохранение в структуре и целом, и частей в отличие от неоптимальных форм, когда либо деформируется целое, либо оно сохраняется ценой деформации частей.

его от взрослого мышления, Пиаже попытался раскрыть качественное своеобразие детского мышления, с его положительной стороны... В центр внимания было поставлено то, что у ребенка есть»¹.

На пути от младенца к взрослому мысль претерпевает ряд качественных преобразований — стадий, каждая из которых имеет собственную характеристику. Пытаясь раскрыть их, Пиаже сосредоточился первоначально на детских высказываниях. Он применил метод свободной беседы с ребенком, стремясь, чтобы вопросы, задаваемые маленьким испытуемым, были возможно ближе к их спонтанным высказываниям: Что заставляет двигаться облака, воду, ветер? Откуда происходят сны? Почему плавает лодка? и т. д. Нелегко было найти во множестве детских суждений, рассказов, пересказов, реплик объединяющее начало, дающее основание отграничить «то, что у ребенка есть», от познавательной активности взрослого. Таким образом знаменателем Пиаже считал своеобразный эгоцентризм ребенка. Маленький ребенок является бессознательным центром собственного мира. Он не способен стать на позицию другого, критически, со стороны взглянуть на свою мысль, понять, что другие люди видят вещи по-иному. Поэтому он смешивает субъективное и объективное, переживаемое и реальное. Он приписывает свои личные мотивы физическим вещам, переносит внутренние побуждения на независимую от них причинную связь явлений природы. В его мышлении обнаруживается и своеобразная магия — словам и жестам придается способность воздействовать на внешние предметы, анимизм — эти предметы наделяются сознанием и волей, артифициализм — явления окружающего мира считаются изготовленными людьми для своих целей и т. д. Все это отражается в детской речи. В присутствии других ребенок рассуждает вслух, как если бы он был один. Его не интересует, будет ли он понят другими. И его эгоцентрическая речь, выражающая его желания, мечты, «логику чувств», служит своеобразным спутником, аккомпанементом его реального поведения. Но жизнь вынуждает ребенка выйти из мира грез, приспособиться к среде, сменить, говоря языком Фрейда, «принцип удовольствия» на «принцип реальности».

¹ Л. С. Выготский. Избранные психологические исследования. М., 1956, стр. 56—57.

И тогда детская мысль утрачивает свою первоизданность, деформируется и начинает подчиняться другой, «взрослой» логике, почерпнутой из социальной среды, т. е. из процесса речевого общения с другими человеческими существами.

Учение Пиаже об эгоцентрической речи (речи, которая не выполняет коммуникативную функцию) сталкивает нас с вопросом о соотношении факта и теории. Сама по себе констатация у маленького ребенка высказываний, отнесенных Пиаже к ряду эгоцентрических, еще никакой теории не содержит. Теория извлекалась не из этих фактов. Она была проекцией представлений о природе ребенка как существа, душа которого бьется на пороге «двойного бытия» — биологического и социального. Согласно Пиаже (и другим сторонникам функционального направления, к которому он принадлежал вначале), мысль, не имеющая опоры в социуме, может происходить из единственного источника — спонтанной жизни организма. В эгоцентризме и усматривалось проявление этой спонтанности. Стало быть, игнорировалась не только изначальная включенность человеческой мысли в социальный контекст, но и столь же изначальная ее зависимость от реальных объектов, которыми оперирует индивид. Таков был ранний Пиаже, пересмотревший в дальнейшем свою трактовку эгоцентризма¹.

На исследовательскую работу Пиаже в 30-е годы повлияла борьба между гештальтизмом и бихевиоризмом. Гештальтизм импонирует ему своими положениями о целостном, структурном характере психической жизни. Бихевиоризм побуждал обратиться к актам поведения и их роли в построении психических структур. Однако обе школы оставляли чувство неудовлетворенности: гештальтизм — статичностью, автотенетизмом своей концепции, бихевиоризм — виталистическим отношением к внутреннему, познавательному плану поведения.

Вместе с тем стали складываться некоторые новые подходы. Появилась так называемая общая теория систем (одним из инициаторов ее был биолог Л. Берталяпфи), утверждавшая идею структурности, целостности на осно-

¹ Он заменяет его термином «центризм», которому противопоставлена «децентрация», освобождающая мысль от господства односторонней точки зрения.

ваниях, ставших близкими Пиаже, но отличных от гештальтистских воззрений. Гештальтизм, как уже отмечалось, ориентировался на физику, а не на биологию. Понятие о гештальте (структуре) строилось по типу физического представления об электромагнитном поле. Соответственно «нервные» и «психические» поля (гештальты) трактовались исходя из физических принципов равновесия, наименьшего действия и т. д.

Принимая понятие структуры и тесно связанный с ним принцип равновесия, Пиаже в то же время отклонил взгляд на гештальт как на «вечную», неразвивающуюся форму¹, а взгляд на равновесие как состояние покоя. Равновесие в биологии и психологии должно быть представлено не по образцу устранения напряжения в неуравновешенной системе, а по типу гомеостаза, где оно достигается непрерывной, напряженной работой по преодолению внешних возмущений. Стабильность системы, по Пиаже, есть синоним активности, высшего напряжения жизненных сил, вековой борьбы организма с разрушающими влияниями среды.

Активность и ведет к развитию познавательных органов или систем. Проявлением активности ребенка служат направленные на объекты движения глаз и рук, различные «локомоции». Бихевиоризм выступил с требованием оставить за психологией только эти двигательные, доступные объективному наблюдению реакции. Пиаже, считая двигательную активность важнейшим компонентом психической деятельности и рассматривая реальные внешние действия с точки зрения их координации в целостные системы, взял курс на выведение внутреннего из внешнего, незримых умственных актов из зримых внешних действий. Этот процесс становления внутренних психических структур из внешних приобрел широкую известность под именем «интерпривации».

Принцип «внутреннее из внешнего» приобрел у Пиаже особый смысл в силу обращения к формальной логике с целью описания структуры психических актов. Внешнее поведение он признавал объективно имеющим свой логиче-

¹ Гештальтпсихологи утверждали, например, что такие особенности чувственного познания, как константность (постоянство) восприятия величин предмета, его формы и т. д., с возрастом не изменяются. Серия экспериментальных работ, проведенных Пиаже и другими психологами, не подтвердила эти положения.

ский рисунок. Из системы реальных действий, которые, согласно Пиаже, исполнены интеллектуального содержания и вовсе не являются (вопреки рефлексологии и бихейвиоризму) механическими актами, возникает логико-математическая «складка» человеческого ума. Ее контуры как бы намечены «прожилками» в детских реакциях, и соответственно к анализу последних может быть приложен такой точный инструмент, как формальная логика¹.

Сохраняя общие представления об адаптивности, активности, структурности, стадийности детской мысли, он начинает ее исследовать в иной системе координат.

Иными становятся стадии, их содержание и смысл. Иным представляется и направление развития. Если прежде речь шла о переходе ребенка от собственной эгоцентрической точки зрения к социализированному мышлению, то теперь умственное развитие оказывается устремленным к логико-математическим структурам. Не общение с другими людьми, не лингвистическая связь, а операция занимает теперь ключевую позицию в детерминации познавательной активности ребенка.

Наступил, как потом в шутку сказал Пиаже, «операциональный» период в его развитии (имелось в виду, что и у ребенка стадия операций возникает позже, начало которого обозначили две книги — «Генезис числа у ребенка» (1941, совместно с А. Шемпинской) и «Развитие количества у ребенка» (1941, совместно с Б. Инельдер).

В центре второй работы вопрос о том, как ребенок открывает инвариантность (постоянство) некоторых свойств объектов, как его мышление усваивает принцип сохранения вещества, веса и объема предметов. Основной экспериментальный прием состоял в следующем: ребенку дают шарик и просят сделать из пластилина другой — такой же величины и веса. Затем один шарик остается неизменным, а другой экспериментатором уплощается, разрезается и т. д. Ребенок должен ответить, изменились ли количество, вес и объем исходного материала. Выяснилось, что принцип сохранения формируется у детей постепенно, причем сперва они начинают понимать инвариантность массы (к 8—10 годам), затем веса (к 10—12 годам) и на-

¹ Пиаже предпринял даже попытку разработать собственную логическую систему, которую можно было бы использовать для решения психологических задач.

конец объема (около 12 лет). Чтобы прийти к идее сохранения, детский ум, согласно Пиаже, должен выработать логические схемы, представляющие уровень (стадию) конкретных операций.

Эти конкретные операции, в свою очередь, имеют длительную предысторию. Их предваряют структуры, которые Пиаже назвал сенсомоторными группами. Элементы групп — действия, производимые сперва реально, с непосредственно воспринимаемыми предметами, а затем «в уме». Важную роль в переходе от внешнего действия к внутреннему играет речь, овладевая которой ребенок представляет события и предметы уже не в реальном, а во внутреннем, символическом плане. Но умственное действие (возникающее из внешнего, предметного действия и, стало быть, интериоризованное) это еще не операция. Чтобы стать таковой, оно должно приобрести совершенно особые признаки. Операции отличаются тем, что они обратимы и скоординированы в системы. Для каждой операции имеется противоположная, или обратная, ей операция, посредством которой восстанавливается исходное положение и достигается равновесие. Взаимозависимость операций создает устойчивые и вместе с тем подвижные целостные структуры.

У старшего дошкольника имеются умственные (интериоризованные) действия, но система операций еще не сформировалась. Множество экспериментов свидетельствует о необратимости его умственных действий. Так, если попросить его перелить жидкость из высокого и узкого сосуда в низкий и широкий, то ребенок скажет, что количество жидкости уменьшилось. Прямое действие по переливанию еще не может быть обращено в уме. Мышление ребенка находится под впечатлением непосредственно воспринимаемого. Глаз видит, что уровень жидкости при переливании в широкий сосуд стал ниже. И, подчиняясь впечатлению, дошкольник говорит: «Воды стало меньше». Он не в состоянии осмыслить взаимную компенсацию параметров сосудов (высокий и узкий равен широкому и низкому). Положение изменяется с переходом на стадию конкретных операций (падающую, согласно Пиаже, на младший школьный возраст). Теперь умственные действия превращаются в операции, т. е. становятся обратимыми, скоординированными, и задачи, подобные приведенной выше, решаются безошибочно. Постепенно нарастает способность

к дедуктивным умозаключениям и построению гипотез. Мышление ребенка после 11 лет переходит на новую стадию — формальных операций, завершающуюся к 15 годам.

В ряде трудов Пиаже и его сотрудников концепция операционального интеллекта получила в 40—50-х годах новое экспериментальное оснащение и дальнейшую теоретическую разработку. Общий итог тех взглядов на умственное развитие, к которым пришел Пиаже в рассматриваемый период, представлен в его трактате «Психология интеллекта»¹ (1946).

Развитые Пиаже идеи об операциональных группировках интеллекта, системный подход, использование формально-логического аппарата для описания психологических структур и их преобразований, взгляд на мышление как на форму регуляции отношений между живой системой и средой — все это подготовило сближение с появившейся на научной арене кибернетикой.

Успех Пиаже определялся спятием ряда противопоставлений, доведших над умами психологов. Многим из них спонтанная активность казалась несовместимой с рецептивной, генетический подход представлялся несовместимым со структурным, а изменение внешнего поведения, моторики, реальных движений было принято рассматривать как самостоятельный ряд, отличный от внутренней динамики мышления. В противовес этому в учении Пиаже утверждалось единство ассимиляции и аккомодации, равнство представлялось как последовательная смена целостных структур, а не отдельных элементов или процессов (учение о стадиях). Взамен этого и выдвигался принцип иптериоризации — положение о том, что познавательная работа совершается в первичных целесообразных действиях, что корни логики скрыты в двигательных актах, которые, таким образом, отличаются от простых реакций на стимулы.

Сложившееся благодаря критическому освоению достижений других психологических школ учение Пиаже вместе с тем само находилось и продолжает находиться под критическим огнем.

Первым критиком Пиаже был Л. С. Выготский, исходивший из марксистского учения об изначально социальной и отражательной природе человеческого сознания.

¹ См. Ж. Пиаже. Избранные психологические труды. М., 1969.

С этих позиций Выготский указал на ошибочность представления о ребенке как асоциальном существе, мышление которого ориентировано первично не на предметный мир, а на царство грез.

Ознакомившись с критическими замечаниями Выготского (когда книга последнего «Мышление и речь» вышла в английском переводе), Пиаже признал, что они во многом справедливы. С тех пор и сам Пиаже далеко продвинулся вперед от первоначального варианта своей схемы. Но если некоторые положения этой схемы, касающиеся социализации, несли печать дуализма, то из этого вовсе не следовало, что сам вопрос о приобретении индивида к социальному опыту является псевдопроблемой.

В то время как в первый период творчества на магистральную линию умственной эволюции ребенка Пиаже принимал адаптацию к суждениям других людей, то во второй — адаптацию к реальным объектам. При этом стадии выступили в виде смены структур, необратимость которой не может быть изменена никаким социальным окружением или воздействием. Самое большое, на что способно последнее, — несколько замедлить или ускорить рост интеллекта. Это дало повод обвинить Пиаже в том, что он принижает роль обучения в умственном развитии. Другое обвинение связано с тем, что Пиаже избрал логику в качестве главного критерия. Ведь высший уровень, согласно его концепции, достигается тогда, когда подросток овладевает формально-логическими операциями. Но, как известно, для продуктивного, творческого мышления оперирование формально-логическим аппаратом недостаточно. Оба обвинения имеют, следовательно, основания. Однако они не должны перетеркнуть значимость вклада Пиаже в постановку и разработку проблемы стадий интеллектуального развития — качественно своеобразных структур, которые могут быть описаны с помощью формально-логических средств. Ни одна концепция интеллекта как перестраивающегося в ходе развития системного образования (а не мифической внутренней «способности») не может обойти вопрос о стадиях. А в современной психологии не существует другой экспериментально и математически обоснованной стадийной схемы формирования умственных действий и операций от младенчества до юности, кроме созданной Пиаже.

Вместе с тем ценность ее ограничена общими недостатками объяснительной системы Пиаже. Это недостатки,

как писал французский психолог Валлон, «любой психологии, сфера изучения которой ограничивается индивидуумом, а в индивидууме абстрагированными от него проявлениями сознания»¹. Здесь указаны три наиболее уязвимых пункта пиажистской концепции. Во-первых, объект анализа — не целостное психофизиологическое существо, а познающий ум, развитие которого описывается безотносительно к созреванию ребенка, биологическим факторам, неврологическим механизмам. Во-вторых, у Пиаже речь идет об интеллекте как таковом, о чисто умственном общении с предметами и их знаками, тогда как действительная интеллектуальная жизнь неотделима от мотивационной, аффективной. И, наконец, индивид, в трактовке Пиаже, остается один на один с окружающим миром. Но ведь даже в условиях эксперимента, искусственно создающего подобную ситуацию, поведение испытуемого регулируется другим человеком — экспериментатором. Что же тогда говорить об обстоятельствах, в которых реально протекает человеческая жизнедеятельность?

Наивно было бы полагать, что Пиаже не задумывался над аспектами, на которые указывала критика, что он игнорировал биологические, социальные, аффективно-мотивационные факторы. Напротив, в своем теоретическом анализе психического развития он неизменно подчеркивал их силу, но теоретический анализ и работающая в исследовании категориальная схема, как уже отмечалось, не идентичны. Схема, которая направляла исследовательский поиск Пиаже, успешно зондировала лишь определенный пласт психической реальности, представленный категорией действия. Генетический подход позволил перебросить мост между внешним и внутренним действием, наметить вехи на пути от моторных схем ребенка к логико-математическим структурам, в оперировании которыми и состоит, согласно Пиаже, то, что обозначается обычно неопределенным словосочетанием «зрелый ум». Следует, однако, иметь в виду, что действие неотделимо от образа, от воспроизведения (отражения) объектов.

В системе Пиаже объяснен переход от внешнего действия к внутреннему (и дальше — к операции), но нет перехода от действия к образу. А это сразу же накладывает серьезные ограничения на всю конструкцию. Абсолютно

ция действия за счет образа неотвратно ведет к субъективизации знания¹. Ведь если действие, какой бы глубокой ли являлась его зависимость от объективных обстоятельств, исходит от субъекта, то образ определяется внешней реальностью, существующей на собственных основаниях. Действие «не изготавливает» образ, а как бы позволяет непрерывно «снимать» его с реальности. В пиажистской же системе у умственного образа не оказалось другой детерминанты, кроме действий (операций) субъекта. И действие, и образ являются общепсихологическими категориями. Однако с переходом к человеку они приобретают качественно новые характеристики в силу того, что взаимосвязи между индивидом и средой радикально преобразуются. Определяющим фактором становится общественный опыт. Валлон был прав, упрекая Пиаже в том, что он «ограничивается индивидуумом». Казалось бы, «робинзонада», неприемлемая в социальных науках, безвредна для психологии, объектом которой является не общество, а индивид. Но ориентировавшийся на диалектический материализм Валлон понимал, что любая точка зрения на индивида подразумевает, хотя бы неявно, оценку его отношений к социальной среде. Конечно, представление о самой среде нуждается в уточнении. Ведь социальный мир, в который человек погружен с момента рождения, может трактоваться по-разному. Не отрицание священной рождающейся мысли с этим миром, а ограниченность взгляда на них препятствовала Пиаже раскрыть ее общественно-историческую природу. Еще в свой ранний «предоперациональный период» он полагал, что общение с другими людьми имеет могущественное значение для крепнущих познавательных сил ребенка. В дальнейшем выдвигается тезис о том, что закопы логической группировки определяют одновременно и индивидуальную мысль и социальное взаимодействие (кооперацию). Только социальная жизнь позволяет ребенку соорганизовать свои операции в единое целое. И с другой стороны, социальная

¹ Об этом говорил и отмеченный выше опыт операционализма. Безотносительно к личным убеждениям Пиаже (который, в отличие от операционалистов, неоднократно говорил, что он, как естественный экспериментатор, исходит из реальности внешнего мира, его независимости от нашего сознания), сосредоточенность на действиях в ущерб образу вела к выводам, сходным по своей гусеологической сути с операционалистскими.

¹ А. Валлон. От действия к мысли. М., 1956, стр. 60.

жизнь как обмен мыслями предполагает логическую группировку¹.

Но социальность не ограничивается обменом мыслями, она имеет глубинные основания, благодаря которым возможна сама интеллектуальная кооперация. Это основание — общественно-исторический опыт. Его логическая структура закрепила успехи практики освоения мира на протяжении всей истории человечества. Ребенок не заново создает эту структуру, а воссоздает ее. Конечно, не пассивно и созерцательно, но ценой огромных усилий, заблуждений, мук творчества. И тем не менее воссоздает, а не конструирует собственными операциями из собственного крохотного опыта, хотя бы и предполагающего непрерывное общение с окружающими людьми. Ребенок у Пиаже, таким образом, хотя и не асоциален, но тем не менее, строго говоря, аисторичен. Между тем путем изучения этого ребенка Пиаже рассчитывал проникнуть в интеллектуальную эволюцию человеческого рода, в закономерности развития философской и научной мысли. Вспомним о «сверхзадаче» его исследований: на место философских представлений о познании, порожденных изощренным интеллектом, поставить строго научные.

Декарт полагал, что самое непогрешимое — это свидетельство самонаблюдения. Кант считал, что пространство и время — априорные формы созерцания. Бергсон доверился откровениям интуиции. Гуссерль утверждал, что в феноменах «чистого» сознания прозревается сущность вещей.

Но все они, прежде чем заняться философским творчеством, прошли возрастные классы в школе взаимодействия организма со средой. Когда-то ни интроспекции, ни интуиции у них не было, а мнимоаприорными пространством и временем и даже самим представленным о том, что конкретная вещь в различных условиях остается той же самой, им пришлось овладеть с огромным трудом. Наука с помощью большого количества искусных экспериментов доказала, что такие понятия, как вещь, причинность, пространство, время, количество, вероятность — вся совокупность наиболее общих разрядов человеческой мысли, — не

даны индивиду изначально, а приобретаются им в ходе развития.

Вместе с тем какую бы степень достоверности ни приобрели наши сведения о механизме формирования детской мысли, они не раскроют причины зарождения научных и философских идей, подчиненных в своем генезисе и развитии совершенно иному детерминационному ряду — общественно-историческому. Да, Декарт, Кант, Бергсон в качестве индивидов прошли весь многотрудный путь становления логической мысли, различные стадии которого отображены, в частности, в учении Пиаже. Имеются ли, однако, основания трактовать их взгляды на интуицию и априорность, пространство и время как итоговый продукт индивидуального развития? Возможно ли, исходя из онтогенеза мысли, проникнуть в тайны ее филогенеза (исторического становления)? Остро поставив вопрос о соотношении между онтогенезом и филогенезом, Пиаже удовлетворительный ответ на него не дал. Более того, формулируя идею о сходстве и параллельности между индивидуальным и родовым, Пиаже тем не менее в силу того, что его главным объектом являлся ребенок, оказался под сильным влиянием такой «центрации», которая сдвинула всю перспективу.

За этим просвечивает крупный просчет Пиаже, обусловленный тем, что его руководящий принцип — адаптация индивида, а не историческое творчество общества. Девиз Пиаже — взаимодействие. Исходный пункт познания не субъект и не объект, а их нерушимая взаимосвязь. Такую точку зрения можно назвать диадической, поскольку процесс познания (мышления) считается исчерпывающе представленным отношением (взаимодействием) двух членов. Диадическая схема, однако, не позволяет перейти в мир истории, где поведение личности конституируется не диадическим, а триадическим отношением: субъект (изначально социальный индивид) — орудия и продукты исторического творчества — объект.

«История творений», определяющая развитие индивидуальной мысли, совершается по своим законам, отличным от индивидуально-психологических. За этой историей стоит общественная практика, производственная деятельность людей, природу которой открыл марксизм.

¹ См. Ж. Пиаже. Избранные психологические труды, стр. 218—220.

экспериментально-психологических методов характера «диких» народов. В составе экспедиции был психолог Мак-Дауголл (1871—1938), опубликовавший впоследствии книгу «Социальная психология» (1908), которая стала на два десятилетия главным учебным пособием по этому предмету в американских колледжах. Мак-Дауголл считал, что движущими силами поведения людей являются социальные инстинкты (стадности, страха, самоутверждения и др.), понимаемые как изначально заложенные в организме побуждения, направляющие к определенным целям¹.

Психология зарождалась как наука о душевных проявлениях отдельного индивида, и это определило исходный уровень разработки ее категориального аппарата. На рубеже века, как мы видели, намечается тенденция к тому, чтобы перейти к изучению психологического аспекта социальных объединений, связей и структур. Новый «культурологический» подход к психике складывался под влиянием крупных социально-экономических сдвигов, происходивших в капиталистическом мире в эпоху империализма. Захватнические войны, борьба за рынки, порабощение экономически отсталых народов создавали атмосферу, в которой исследование своеобразия психики этих народов (запечатленной в языке, мифах и т. д.) соотносилось с общими целями империалистической политики. Резкое обострение классовых противоречий внутри самих развитых капиталистических стран активизировало революционное самосознание пролетариата. Ширится влияние марксистского учения. Противодействие этому учению становится одним из главных векторов буржуазной идеологии. Понятия о «стадном инстинкте», «душе народа», «коллективных представлениях» и др., противопоставлялись марксистскому объяснению социальной регуляции человеческого поведения.

Общей для всех буржуазных концепций являлась идея об особой сверхиндивидуальной психике, первичной и определяющей по отношению к умственным и волевым процессам отдельного индивида. Эта идея проводилась в различных формах в Германии, Франции, Англии соответственно особенностям и традициям развития философско-научной мысли в этих странах.

¹ Иногда концепцию Мак-Дауголла называют «гормической психологией» (от греч. *hormé* — побуждение).

Англичанин Мак-Дауголл, например, опирался в своей социально-психологической концепции на дарвиновский вывод о том, что сложившиеся в ходе естественного отбора инстинкты обеспечивают выживание вида.

Немецкие авторы в разработке понятия о сверхиндивидуальной психике отталкивались не от Дарвина, а от Канта, Фихте, Гегеля, В. Гумбольдта. Учение о надиндивидуальном разуме, воплощающемся в национальной культуре, языке и государственности, привело в Германии к представлению о «душе» или «духе» народа как особой сущности, которой определяются впечатления и переживания индивида.

Во Франции исследования зависимости индивидуального сознания от общественного вдохновлялись идеями Огюста Конта (1798—1857), призвавшего создать особую науку о социальных фактах — социологию.

Призыв Конта первоначально получил отклик в работах Герберта Спенсера, который попытался объяснить эти факты в терминах эволюционной биологии. В противовес этому Э. Дюркгейм настаивал на том, что социология должна быть не биологической, а именно социологической¹. На роль ключевой категории новой дисциплины он выдвинул «коллективные представления». Речь шла именно о представлениях, т. е. интеллектуальных образованиях. Им, однако, в отличие от традиционного

¹ С этих позиций Дюркгейм критиковал популярное в то время во Франции учение Тарда (1843—1904) о том, что ключом к социальным тайнам служит психологический механизм подражания (имитаций). Тард, в свою очередь, выступал против так называемой итальянской школы (Ломброзо и др.), объяснявшей общественные явления биологическими факторами (наследственностью). Человеческий мир, согласно Дюркгейму, отличается от природного, но его законы не могут базироваться на психологических принципах, которые (как полагал Дюркгейм, не представлявший собой психолога, кроме ассоциативной) одни и те же для людей всех времен и народов, тогда как в реальности существует множество обществ и культур, каждая из которых существует на собственных основаниях. Социальное, по Дюркгейму, также невозможно сводить к психическому, как само психическое — к физиологическому. «Подобно тому, — писал Дюркгейм, — как вы не можете определить вклад каждой нервной клетки в образ, вы не можете определить вклад индивида в коллективное представление» (*E. Durkheim. Représentations individuelles et représentations collectives. «Revue de Métaphysique», 1898, p. 296*). Социальные факты при этом рассматривались не только как независимые от индивидуального сознания, но как и внешние по отношению к нему.

взгляда на психическое, придавался надиндивидуальный статус. Тем самым предполагалась их доступность для экстропекции — объективного наблюдения и анализа, и это, согласно Дюркгейму, обещало поставить социологию в один ряд с науками о внешнем мире.

Введенные Дюркгеймом новые единицы анализа — «коллективные представления» — напоминали о категории образа, успешная разработка которой определялась достижениями физиологии органов чувств и экспериментальной психологии. Но Дюркгейм резко выступил против принятых в психологии воззрений на компоненты и структуру сознания. «Коллективные представления», согласно Дюркгейму, являются собой независимые по отношению к индивиду сущности, извне входящие в субъективный мир человека и принуждающие его действовать в заданном социумом направлении. Как же, в таком случае, соотносится в голове отдельного человека индивидуальное и социальное? Позитивного решения этой проблемы (читатель помнит, что мы называли ее психосоциальной) Дюркгейм дать не мог¹.

Но теперь к ней было привлечено внимание исследователей человеческого поведения в его отличии от животного. Их усилия сосредоточиваются на объяснении социализации как процесса подчинения индивидуальной психики общественным нормам и императивам. В частности, рассмотренные нами работы Пиаже и его школы имели первоначально своей предпосылкой дюркгеймовский, дуалистический подход к структуре человеческого сознания.

Дуализм и интеллектуализм Дюркгейма отвергли также французские психологи, как Пьер Жаке (1859—1947), Шарль Блондель (1876—1939), Анри Валлон (1879—1962) и др. Социальное, с их точки зрения, не внешняя сила, под давлением которой трансформируется внутренняя жизнь личности, имеющая якобы независимую

¹ Он открыто постулирует дуалистический взгляд на человеческую психику. «Мы сделаны из двух частей, мы подобны двум существам, которые, хотя и тесно связаны между собой, построены из совершенно различных элементов и ориентированы нас в противоположных направлениях. Страсти и эгоистические тенденции происходят из нашей индивидуальной конституции, в то время как рациональная деятельность — теоретическая и практическая — зависит от социальных причин» (E. Durkheim. The dualism of human Nature. In: E. Durkheim. Ed. by K. H. Wolff, Ohio State University Press, 1960, p. 338).

от социального природу, но первичная детерминанта психических актов этой личности, причем не только интеллектуальных (выраженных в представлениях), но и двигательных, аффективных и др. Общество творит индивида уже на уровне простейших форм поведения, когда, вступая в мир человеческих отношений, ребенок воспроизводит этот мир: сперва посредством практических, затем умственных действий.

Это направление исследований, сложившееся в дискуссиях вокруг поставленной Дюркгеймом психосоциальной проблемы (которая могла возникнуть лишь после того, как психическое и социальное были расчленены и осмыслены в различных категориях, благодаря чему научная мысль устремилась к проблеме социализации), наметило новые способы объяснения человеческой психики, соотносимой теперь не с абстрактно-физической или биологической, а с культурно-исторической средой.

Индивидуальное сознание включалось в социальный контекст. Поиски в новом направлении свидетельствовали, что назревают важные сдвиги в структуре научно-психологического познания. Уже сложившиеся компоненты этой структуры не удовлетворяли исследователей социально-психологических аспектов человеческого поведения. Возникает потребность преодолеть антагонизм индивидуального и социального, который был характерен для картины человека у Дюркгейма, Фрейда и др.

Критикуя Дюркгейма и Фрейда, П. Жаке развивал мысль о том, что первичным является реальное действие, производимое в условиях сотрудничества между людьми. В дальнейшем, по Жаке, это действие из реального становится вербальным, сокращается, переходит во внутренний план — план беззвучной (внутренней) речи и, наконец, превращается в кажущийся бесплотным умственный акт: Все внутренние операции суть преобразованные внешние, притом, подчеркнем еще раз, совершаемые, согласно Жаке, не изолированными персонажами, а индивидами в ситуации сотрудничества.

Введение фактора сотрудничества в характеристику действия предвещало сдвиг в системе психологических категорий, которая до того оттачивалась на исследовании процессов поведения и сознания у отдельных индивидов.

В групповом акте сотрудничества имелся особый аспект, центрация на котором вела к выводу о том, что

во взаимодействии индивидов присутствует не только социологическая основа (на которую указывали дюркгеймовские «коллективные представления»), но также психологическая, не сводимая к уже известным психологическим понятиям. Ведь «коллективные представления» и другие социологические новшества касались общественно-го сознания, а не индивидуального. Характеризовались социальные нормы, но не отношение к ним отдельного лица. Между тем это отношение, проявляющееся в поведении (внешнем и внутреннем) конкретной личности, представляет такую же реальность человеческого существования, как и сами общественные связи и институты.

Стремясь к новым категориальным схемам в социологии, Дюркгейм привнес за несбытанные старые, до социологические схемы психологии. Способ, каким «коллективные представления» управляют поведением индивида, мыслился его последователями (например, Фулье) по типу так называемого идеомоторного акта, механизм которого оживленно обсуждался в тогдашней литературе, в особенности в связи с обостренным интересом к феноменам гипноза и внушения. Предполагалось, что представление о действии, став достаточно сильным, автоматически переходит в реальное, мышечное действие. Это и есть идеомоторный акт. Согласно Фулье¹, «коллективным представлениям» присуща такая же сила, как и индивидуальным (в случае идеомоторного акта). Она и побуждает членов общества следовать групповым нормам. С этой точки зрения механизмы индивидуального и коллективного действия рассматривались как идентичные.

Введенный Жюане принцип сотрудничества подрывал предположение об их идентичности и вносил важный для категориального развития психологии момент.

Что означал указанный принцип? То, что поведение на «фазе человека» не только строится на основе образа (хотя бы «коллективного»), но также имеет «энергетический» (мотивационный) заряд и реализуется посредством системы внешних и внутренних операций, но также включает в качестве констатирующего фактора отношение между участниками сопряженной деятельности (категория общения). Анализ понятия об этом отношении дает основание трактовать его как особый аспект психи-

ческой деятельности человека, не раскрываемый ни в социологических категориях, ни в психологических категориях образа — действия — мотива.

Возникла потребность в новой психологической категории, способной обобщить богатство психических явлений, выражающих позицию индивида, его внутреннюю установку по отношению к другим людям и социально-культурному контексту общения с ними.

Своеобразие этой новой категории (для обозначения которой применим термин «психосоциальное отношение») обусловлено тем, что взаимодействие между людьми как социальными существами совершается иначе, нежели физическое или биологическое взаимодействие (служившее, как мы знаем, исходным для категориальной триады: образ — действие — мотив). Проникновение в глубь психической реальности неотвратимо должно было столкнуть научную мысль с новым типом взаимодействия и, соответственно, произвести преобразования на категориальном уровне.

Долгое время психические процессы экспериментально изучались на изолированном индивиде. Но уже в конце прошлого века были предприняты первые попытки проверить в лабораторных условиях влияние на реакции индивида воздействий других людей (помимо экспериментатора). Сравнивалась, в частности, быстрота выполнения простейших заданий подростками в двух ситуациях: в случае, когда они работают порознь и когда соревнуются¹. Экспериментатор предполагал, что само по себе восприятие других детей, занятых одной и той же работой, служит стимулирующим («динамогенным») фактором².

¹ N. Triplett. The dynamogenic factors in pacemaking and competition. «American Journal of Psychology». 1897, v. 9.

² В 20-х годах в социальной психологии началось экспериментальное изучение изменений в деятельности индивида под влиянием самого факта присутствия при этом других индивидов, совершающих аналогичную деятельность. Немецкий психолог Меде обратил внимание на то, что в стандартных психологических опытах (на определение порогов чувствительности, времени реакции и т. д.) результаты разнятся, когда испытуемый выполняет задание индивидуально и когда другие в его присутствии делают то же самое (W. Moede. Experimentelle Massenpsychologie. Leipzig, 1920). Эта экспериментальная модель была воспринята (посредством Г. Мюнстерберга) американскими психологами (Флойд Олпорт и др.). (F. H. Allport. Social Psychology, 1924).

¹ A. Fouillée. Morale des idées-forces. Paris, 1908.

И действительно, половина испытуемых показала лучшие результаты. Однако у части детей (25%) показатели в условиях группы ухудшились. И этот факт не могла объяснить популярная в то время концепция идеомоторного акта, которой руководствовался в описанных опытах экспериментатор, предполагавший, что «идея» (воспринимаемое каждым из испытуемых движение своих сверстников) непременно оказывает «динамогенное» влияние. Почему же у части подростков соревнование с другими детьми снизило результаты? Здесь на поведение повлиял психосоциальный фактор. Эти подростки заняли определенную позицию по отношению к группе. Они стремились к лидерству, и это отрицательно сказалось на эффективности их действий. Стало быть, не образ («идея»), а психосоциальное отношение выступало в качестве детерминанты двигательного эффекта.

С этой необычной детерминантой столкнулись также клиницисты, изучавшие гипноз и внушение. Когда было отвергнуто популярное в свое время представление Месмера об источнике гипнотических влияний, английский врач Брэд выдвинул гипотезу, сходную с уже знакомой нам концепцией идеомоторного акта. При гипнозе, полагал Брэд, сознание сужается, концентрируясь на одной идее («монопонизм»). Не встречая препятствий, эта внутренне фиксированная идея вызывает соответствующее ей внешнее движение.

Напсийская школа (Льебо, Бернгейм), сблизив гипноз и внушение, также была склонна трактовать внушение по типу идеомоторного процесса. Однако внутри этой школы сложилось понятие, выходящее за пределы представления об автоматической связи образа и действия. Таковым было понятие о «раппорте» — особом отношении между гипнотизером и гипнотизируемыми, без которого внушение невозможно. Чтобы управлять поведением другого, достаточно «впечатать» в его сознание идею, автоматически переходящую в движение. Необходимо, чтобы у этого индивида возникла внутренняя установка, благодаря которой становится возможным контакт с врачом и подчинение его командам.

Напсийская школа не дала объяснения феномену «раппорта». Обратившие же на него внимание психологи

попытались подвести его под свои понятия, о категоризации ограничений которых уже говорилось. Так, Мак-Дауэлл утверждал, что в данном случае выступает в игру «инстинкт покорности». Фрейд говорил об «идентификации» (гипнотизируемый идентифицирует себя с гипнотизером подобно тому, как ребенок якобы идентифицирует себя с одним из родителей, стремясь стать объектом сексуального влечения со стороны родителя противоположного пола). Эти объяснения были попыткой втиснуть отношение, порождаемое общением между человеческими индивидами, в прокрустово ложе концепции инстинктов, ведущей свою генеалогию от переиссеченных на поведение людей квазибиологических представлений о мотивации. Но категория мотива сама по себе не могла отобразить своеобразие психологического аспекта взаимодействия (общения) людей как социальных индивидов. Требовалось включить в категориальный аппарат мышления особое звено, концентрирующее в себе проверенную научным опытом обобщенную информацию об этом аспекте.

Такое включение, естественно, не могло осуществиться мгновенно. Оно было длительным процессом, происходившим в гуще экспериментальной и клинической разработки конкретных психосоциальных феноменов. Сперва, как мы видели, к этим феноменам прилагались понятия, категориальный смысл которых не соответствовал обозначаемой ими реальности. На категории образа, напомним, базировалось учение о том, что социальное поведение строится по типу идеомоторного акта. За учениями об инстинктах подчинения, сексуального влечения и т. п. стояла категория мотива. Поиск Жане направляла категория действия, хотя это уже было особое действие, отличное от других психомоторных приспособлений. Его особенность указывала на психосоциальный план человеческой связи с действительностью, неуловимый, подчеркнем еще раз, категориальной сеткой, содержащей лишь такие «ячейки», как образ, мотив и действие (в их прежнем содержании).

Категория действия как акта, который у человека всегда совершается в социальном контексте, направляла не только мысль Жане. В Соединенных Штатах Америки в тот же период, когда зарождался бихевиоризм, складывается концепция ролевого поведения, разработанная

философом Джорджем Мидом¹. Ее называют иногда «социальным бихевиоризмом», и имеются веские основания связывать Мида с бихевиористским движением как в философском, так и в психологическом плане. Философский облик мидовского учения определялся той же идеологической атмосферой, в которой кристаллизовалась бихевиористская программа. Это была атмосфера, где доминировало прагматистское воззрение на человека как на существо, интеллектуальные функции которого служат единственному назначению — адаптации к среде с целью успешного, с точки зрения интересов индивида, выживания. Весь умственный механизм американских психологов был пропитан индивидуализмом. Порожденная же логикой научного исследования потребность в объективном анализе поведения преломлялась сквозь призму трактовки личности с позиций «меновой ценности» ее психических актов — на какие выгодные для себя внешние результаты «обменивает» индивид внутренние стремления и идеи. И поскольку индивидуально-внутреннее, согласно этой философии, для других безразлично, акцент перемещался на его «осознаваемые» внешние эквиваленты — телесные реакции.

Вместе с тем Мид подверг критике две стержневые установки ортодоксальной бихевиористской доктрины: индивидуализм и аутизм (т. е. отрицание реальной значимости внутренних психических процессов). Он противопоставил им положение об изначально социальном характере человеческого действия. «Мы пытаемся, — писал Мид, — объяснить поведение индивида в терминах организованного поведения социальной группы. Социальный акт необъясним, если его конструировать из стимулов и реакций... Он должен быть взят как динамическое целое, ни одна из частей которого не может быть рассмотрена либо понята сама по себе...»² Мид обвинил Уотсона в том, что

¹ Мид выступил как ведущий теоретик направления, на концепциях и подходах которого, по свидетельству А. Розе, «воспитывалась, вероятно, половина социологов в США» (A. Rose (ed). Human behavior and social processes. Boston, 1962, p. VII). Это направление не имеет определенного названия. Для его обозначения иногда используют такие термины, как «теория ролей» или «чужакская традиция» (поскольку его лидеры — Мид, Дьюи и Парк работали в Чикагском университете). Учитывая своеобразие подхода Мида, мы называем его концепцию теорией ролевой поведенческой.

² G. Mead. Mind, Self and Society. Chicago, 1934, p. 7.

тот сводит «переживаемый мир» к нервно-мышечному приспособлению¹. В плане логики развития науки намерение Мида «объяснить поведение индивида в терминах организованного поведения социальной группы», равно как и его установка на то, чтобы принять за причинный фактор человеческого поведения «переживаемый» (воспринимаемый, осознаваемый) мир, отражали неудовлетворенность утвердившимся на американской научной сцене «классическим» бихевиоризмом в связи с новыми тенденциями в психологических исследованиях (необходимость разработки понятий, которые позволили бы объяснить социальную детерминацию индивидуальной психики).

Однако сколь решительны ни были стремления Мида выйти на новые рубежи, сколь резкой ни являлась его критика «уотсонизма», на его «социальном бихевиоризме», как мы сейчас увидим, лежала густая все той же индивидуалистической трактовки поведения, а его попытка «реабилитировать» сознание не могла стимулировать объективное изучение богатства внутреннего мира человека. С этих позиций задача, над которой бился Мид, оставалась неразрешимой в принципе.

Тем не менее стремление справиться с ней представляло симптом новых веяний. Как и Жюльен, Мид центрирует свой анализ психологических предпосылок социальных отношений вокруг действия, а не образа (идеи, представления) или мотива (инстинкта, влечения). Социальный процесс — это групповое действие. Не общие для всех его участников представления или инстинкты должны быть приняты за исходное, а телесные реакции, которые, однако, имеют особый смысл, отличный от реакций типа «проб и ошибок» или условных рефлексов, а именно смысл коммуникативный. Элементарные формы коммуникации есть и у животных, и процесс общения у человека, полагал Мид, развивается из этих элементарных форм. Но он приобретает качественно новые особенности в силу того, что жест становится из бессознательного телесного акта значимым, превращается в символ. Общение посредством символов

¹ Это обвинение — плод неадекватной интерпретации схемы Уотсона, которой, как и всему бихевиористскому направлению, присущ антифизиологизм. Несводимость стимул-реактивного отношения (категория действия) к физиологическим процессам утверждалась за счет отрицания у этого отношения физиологической основы.

и есть, согласно Миду, конституирующее начало человеческой психики. В чем же своеобразие «значимого жеста» или символа? В том, что он, будучи обращен к другому индивиду с целью спровоцировать у него желаемую реакцию, имплицитно вызывает точно такую же реакцию у того, кто его производит.

Содержание значимого («сигнификативного») жеста (наиболее удобной формой реализации которого оказались движения органов речи) образуют те или иные реакции адресата. Но для того чтобы превосходить поведение адресата (ведь жест производится с целью воздействовать на это поведение), «отправитель» должен «влезть в его шкуру», занять его позицию, принять на себя роль другого. И в то же время в силу того, что в процессе общения автор жеста вынужден непрерывно учитывать восприятие своего сигнала другими, он смотрит на себя глазами других, т. е. как на социальный объект. Идея о том, что индивидуальное сознание (с его «внутренне наблюдаемыми» элементами, процессами, актами и т. п.), казавшееся пионерам экспериментальной психологии единственно возможным источником информации о психическом, вовсе не является, вопреки этой версии, первичным, что оно производно от сверхиндивидуальных психических форм, эта мысль приобретала в научной литературе первой четверти века все больший вес.

Своеобразие мидовского подхода определялось стремлением вывести индивидуальное сознание, самосознание и абстрактное мышление из «социального процесса», понятого как взаимодействие индивидов посредством речевых действий или «сигнификативных» жестов.

На историческом пути психологии было много попыток приписать языку роль демиурга человеческого в человеке. И если бы теория Миды исчерпывалась общим положением о преобразующем воздействии речевых коммуникаций на структуру интеллектуальных процессов, она вряд ли бы стала одной из ключевых для социальных психологов капиталистического Запада. Ее успех объяснялся тем, что в ней содержались новые моменты, стимулировавшие разработку категории психосоциального отношения. Важнейшим среди них являлось представление о ролевом поведении. Согласно ортодоксальному бихевиоризму, поведение строится из стимулов и реакций, связь которых запечатлевается в индивидуальном организме благодаря полезному

для него эффекту. По Миду же, поведение строится из ролей, принимаемых на себя индивидом и «проигрываемых» им в процессе общения с другими участниками группового действия.

Мид начал с положения о том, что значение слова для произносящего его субъекта остается закрытым, пока он не примет на себя роль того, кому оно адресовано, т. е. не установит отношение с другим человеком. Перейдя от вербальных действий к реальным социальным актам, Мид применил тот же принцип, что и в трактовке речевого общения: человек не может произвести значимое, всегда адресованное людям действие, не приняв на себя роли других и не оценивая собственную персону с точки зрения других.

Принятие на себя роли и ее «проигрывание» (имплицитное или эксплицитное) — это и есть психосоциальное отношение в его отличии от тех сторон психической реальности, которые фиксируются в категориях образа — действия — мотива.

Нераздельность различных сторон этой реальности обуславливает их внутреннюю взаимосвязь.

Психосоциальное отношение выражено в действиях, предписанных «сценарием» роли, мотивированных интересами участников социального процесса, и предполагает понимание ими (представленность в форме образа) значения и смысла этих действий. Иначе говоря, психосоциальное отношение невозможно вне образа, мотива, действия, равно как и они на уровне человеческого бытия непмыслимы без него. Так обстоит дело в реальности. Но чтобы эта реальность раскрылась перед научной мыслью и стала ее предметом, потребовался длительный поиск, в ходе которого удалось освоить наиболее крупные «блоки» психического, в частности, отчленив психосоциальное отношение от других разрядов психических проявлений и только тогда соотнести его с ними.

Разработка концепции ролевого поведения позволила по-новому подойти к вопросам развития психики. В этом плане Миды особенно заинтересовали детские игры, в ходе которых ребенок осваивает социальные роли и научается нормам (правилам) коллективного действия. Для описания этого процесса Мид вводит понятие «обобщенный другой», подразумевая своего рода «коллективный субъект», генерализованную систему установок и норм коллектива. Именно в форме «обобщенного другого», согласно Миду,

социальный процесс становится детерминирующим фактором индивидуального мышления¹, а также осознания человеком себя как носителя психических свойств, отличающих его от других членов сообщества. Индивидуальное сознание изначально межличностно. Его исходный пункт не интроспекция, а складывающаяся в процессе общения с другими людьми способность индивида взглянуть на себя «со стороны», воспринять себя как объект для «обобщенного другого».

Все это, сравнительно с тяготевшими над умами американских психологов — как бихевиористов, так и необихевиористов — теоретическими схемами, были новые объяснительные принципы, эвристический смысл которых определялся переходом от категории действия к категории психосоциального отношения. Психическое в человеке (в его отличие от других позвоночных) эксплицировалось теперь через такие детерминанты, как социальный процесс, ролевое поведение, символическая коммуникация, «обобщенный другой», культурная (построенная из значений и ценностей), а не физическая (построенная из раздражителей) среда. Все эти теоретические инновации переклочали анализ индивидуального поведения в русло выявления его зависимости от социогенных, а не биогенных факторов.

И все же концепция Мида не решала ею же поставленных проблем, и не только потому, что ее теоретические постулаты не были переведены автором с философского языка на язык эмпирической психологии, не «работали» на уровне конкретных методов². Слабость этой концепции определялась причинами как методологического, так и научно-категориального порядка.

В методологическом плане Мид исходил из идеалистического воззрения на общество, историю, культуру. Картина общества в его схеме выступала в неадекватном ракурсе,

¹ G. Mead. *Mind, Self and Society*, p. 155.

² В американской психологии 50—60-х годов возникло сильное движение за перевод идей Мида со спекулятивного языка на эмпирический. Это движение получило отражение в сводной работе «Человеческое поведение и социальные процессы» (*Human behavior and social processes*). An Interactionist Approach. Ed. by Rose. Boston, 1962), а также в книге Т. Шибутани «Общество и личность» (*Shibutani. Society and Personality. An Interactionist Approach to social Psychology*, 1961, N. Y., в русском переводе: Т. Шибутани. Социальная психология. М., 1969).

поскольку исчерпывалась взаимодействием исполняющих различные роли индивидов.

Конечно, существование индивидов и распределение в организованных группах функций между ними — это необходимая предпосылка социальной жизни. Но ее фундаментом, как показал марксизм, служат материальные, общественно-экономические связи людей, которые объективно складываются и изменяются по законам, не сводимым ни к индивидуальным, ни к межиндивидуальным действиям.

Законы общественного развития, соотношение производительных сил и производственных отношений, столкновения классов — таковы истинные основания ролевого поведения. Считать его причиной самого себя, как это сделал Мид, — значит склоняться к ролевому редукционизму, выводя все социально-исторические феномены из разделения и кооперации ролевых функций в различных объединениях людей.

Следует заметить, что само понятие роли (как и «социального процесса») у Мида крайне аморфно. Напомним, что оно зародилось у него в связи с объяснением речевой коммуникации, эмпирически же понятие роли подкреплялось только одной группой феноменов: ролевыми играми детей. Нерасчлененная трактовка этого понятия приводила к подмене социологического аспекта проблемы психологическим, тогда как категория роли (в отличие от категории психосоциального отношения) является именно социологической.

При всей расплывчатости термина¹ он соотносится с представлением о системе прав и обязанностей, на которую ориентируется личность, исполняющая в различных группах различные роли («руководителя», «мужчины», «рабочего», «члена семьи» и др.). Система же, о которой идет речь, существует только как компонент социальной структуры, ни в каких иных понятиях, кроме социологических, адекватно не объяснимой.

Один из современных приверженцев концепции Мида, А. Роуз, видит ее преимущество в том, что в ней социальная структура и социальное изменение нераздельны, общество рассматривается в непрерывной динамике, а

¹ См. L. Neuman and I. Hughes. *Problems of the Concepts of role. Social Forces*, 1951, 30, p. 149.

не с точки зрения гомеостатического равновесия¹. Однако динамизм концепции Мида не гарантировал воспроизведения в его схеме подлинной социальной динамики, которая может быть прослежена не иначе, как исходя из истории реальных форм человеческой деятельности. У Мида же историческая реальность испарилась, а ее место заняла фикция «чистого» внутригруппового взаимодействия.

Методологические установки Мида конвергировали с категориальными установками его мышления. Продвигаясь к разработке категории общения (психосоциального отношения) как качественно новой формы взаимодействия человеческих существ (отличной от взаимодействия биологических особей), Мид не смог реализовать новый категориальный синтез, касающийся системы категорий в целом.

В исследовании психосоциальной проблемы и попытках ее разработать, исходя из понимания общения как переменной особого рода, не сводимой к уже сложившимся категориям действия, мотива или образа², Мид, конечно, не мог оперировать этой новой категорией как самостоятельной формой, изолированной от других. С ее становлением связан поиск Мида, однако объектом его теоретического изучения было не психосоциальное отношение как таковое. Он изучал поведение в целом как реальный процесс, который не поддается анализу иначе, как посредством всего категориального аппарата, различные компоненты которого могут находиться на разных стадиях эволюции. На каком же уровне (если препарировать мидовское мышление) функционировали другие категории, отличные от зарождавшейся категории психосоциального отношения?

Начнем с категории действия. Специфика человеческого действия сравнительно с сенсомоторными реакциями животных определяется присущим только людям образом

жизни: не общением самим по себе, но общением, укорененным в трудовом процессе. Мид же в своих представлениях о действии оставался в пределах прагматистской его трактовки как индивидуального приспособительного акта. Хотя за исходное им принимались, во-первых, группа, а не индивид, во-вторых, символ как детерминанта, возможная только в социуме, а не физический стимул (для которого природа социума безразлична), — индивидуализм определял направленность его анализа. Недостаточно было на место природной физической среды подставить социальную (которую Дьюи, Мид и другие адепты «чикагской школы» понимали как сеть групповых отношений), чтобы стать на новый путь объяснения человеческого действия в его отличии от условных рефлексов, «проб и ошибок» животных.

Само действие на человеческом уровне по-прежнему истолковывалось у Мида по типу биологической адаптации, приспособления организма к среде (на этот раз квазисоциальной). Принцип адаптации, утвердившийся в биологии и подтолкнувший стремительное развитие психологии животных, переносился на поведение человека в условиях, качественно отличных от природных.

Зарождение категории психосоциального отношения, казалось, должно было внести новое содержание в категорию действия. Но ложность методологической позиции решительно препятствовала этому.

Сходная ситуация складывалась и применительно к категории мотива. Казалось бы, в условиях группового поведения людей должны преобразоваться не только механизмы общения между ними, но и побудительные силы действия. Однако, поскольку среди последователей Мида было принято думать, что социальная мотивация возникает по типу биологической, импульс к действию полагался скрытым в нарушении равновесия индивида с группой. Не ясно ли, что перед нами уже знакомый принцип гомеостаза, плодотворный для изучения регуляций внутри организма и бесполезный для объяснения созидательной деятельности человека, его вечной неудовлетворенности достигнутым, потребности в преобразовании мира и самого себя.

Что касается категории образа, то, хотя Мид и не присоединился к бихевиористским атакам на «ментализм» (утвердивший образ в качестве изначальной структурной

¹ A. Rose (ed). Human behavior and social processes, p. IX.

² Сторонники других категориальных установок — бихевиористских, гештальтистских, фрейдистских — предлагали свои варианты решения психосоциальной проблемы, рассмотрение которых поучительно еще и потому, что подтверждает несостоятельность категориального редукционизма. Так, в бихевиористских концепциях социального поведения предполагается, будто общие для человека и животных законы научения лежат также в основе социализации. Фрейдисты объясняют последнюю, исходя из своей трактовки мотивационных связей, гештальтисты — из принципа «поля».

ячейки сознания), его намерение показать, каким образом сознание субъекта формируется в социальном процессе, также оказалось ложно направленным. И главной причиной этого было не только уже отмеченное идеалистическое понимание социального процесса, но и драматистская трактовка образа, отрицающая его отражательную природу. Вслед за Дьюи и другими функционалистами Мид полагал, что образ — это продукт блокады «первичного приспособления», в результате которой намеченная цель и пути к ней переводятся в план воображаемого (представленного в значениях — образах) поведения. Образ, по Миду, незавершенное действие, а не воспроизведение независимого от субъекта реального предмета.

Итак, лишь по одному психологическому параметру (в исследовании общения) поведение выступало в концепции Миды в новом категориальном аспекте. Именно это и побудило американских психологов (неудовлетворенных ортодоксально-бихевиористским, фрейдистским и гештальтским подходами к психосоциальной проблеме) обратиться в середине нашего столетия к мидовской теории ролевого поведения.

Принятая Мидом за определяющий фактор духовного развития способность индивида общаться посредством сигнификативных жестов (символов), брать на себя роли других и смотреть на себя «со стороны» как на исполнителя ролей трактовалась в этой теории в качестве основы не только сознания, но и самосознания. Образ, в котором личность представляется самой себе (образ «Я»), формируется в группе и возникает лишь благодаря тому, что «обобщенный другой» как бы «введняется» в отдельный организм. Под влиянием каких причин возникают в таком случае индивидуальные различия? Почему, усваивая групповые установки и нормы, исполняя предписанные социумом роли, индивид в то же время приобретает особую внутреннюю «физиономию», свое «яго», которое он стремится отстоять и развить? Почему, с одной стороны, одна и та же социальная роль исполняется различными лицами по-разному, а с другой — и на выборе ролей, и на манере их «исполнения» лежит печать уникальной личности их исполнителя?

Это сталкивает с необходимостью провести еще одно членение, разграничить психику человека и психику животных не только по признаку детерминированности пер-

вой социальным процессом, но также в отношении самой человеческой психики применить такой принцип анализа, который позволил бы исследовать в различных категориях два, хотя и нераздельных, однако и не тождественных, аспекта: ролевой, коммуникативный и т. п. и личностный.

В качестве членов групп различной степени общности люди должны обладать определенными психическими свойствами: уметь исполнять роли других на «внутренней сцене», строить собственное поведение с расчетом на требования — ожидания коллектива, определять ситуацию с точки зрения группы, принимать ее установки, ценности и т. п. Входя в состав многих групп и соответственно меняя роли, индивид реализует все эти психосоциальные функции с различной степенью личной определенности. Эта «личность» его участия в социальном процессе (внутригрупповой жизни) указывает на особый уровень организации психического, для воспроизведения которого в форме научного знания категория «общения» должна быть отграничена от категории «личность» и сопоставлена с ней в единой целостной категориальной схеме.

Мы уже говорили о «ролевом редукционизме» Миды в том смысле, что многообразие реальных социально-экономических процессов сводилось им к ролевому поведению. Применительно к психологии редукционистская установка Миды выразилась в том, что из поля его «категориального зрения» выпала личность как особая психическая реальность. Она исчезла в пестром мелькании формул ролевого поведения, переходящих на социальном форуме от одного индивида к другому.

Процесс общения у Миды выступает в качестве генератора собственно человеческих свойств. Им порождается не только способность мыслить в абстрактных понятиях¹, но и осознавать себя в качестве особого лица, отличного от других, некоей самости.

Однако оставался открытым вопрос, касающийся несовпадения между личностью как исполнительницей ролей (согласно заданной социальной программе) и личностью как агентом, заряженным самостоятельной активностью и мыслящим себя в качестве такового.

¹ Идея о том, что эта способность связана с социальной сущностью индивида, давно уже была в обращении благодаря открытию корреляции между речью и мышлением.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И КАТЕГОРИЯ ЛИЧНОСТИ

В мидовской концепции не было категориальных ресурсов, которые позволили бы справиться с этим вопросом. Однако вопрос был поставлен. Дюркгейм своим учением о несводимости «коллективных представлений» к индивидуальным открыл проблему, разработка которой стимулировала в дальнейшем становление категории психосоциального отношения как отличной от категории образа. Проблема формулировалась так: если в мышлении человека наряду с индивидуальными представлениями функционируют коллективные, то каково отношение между ними.

Речь шла именно об отношении, ни один из терминов которого (ни процессы индивидуального сознания, ни общественные нормы и структуры), будучи взят сам по себе, не сталкивал исследовательскую мысль с этой проблемой.

Дюркгейм следовал «менталистской» традиции, Мид — бихевиористской, в русле которой «стимул-реактивное» отношение превратилось в психосоциальное, регулируемое соответственно тому, что подразумевается ролью и ожидается группой.

Из потока такого рода действий и возникает — согласно Миду — интимный внутренний мир человека, его «Я» (Self), его самость.

Но социальная природа личности так же мало может быть раскрыта, исходя из теории о ролевом поведении, как и из учения о «коллективных представлениях». Нельзя проникнуть в эту природу, игнорируя общественно-историческую практику. Подобно тому как Дюркгейм своим а-психологизмом, оказавшимся неприемлемым для научного объяснения человеческого поведения, побудил тем не менее искать пути разработки категории психо-социального отношения, присущая мидовскому мышлению неотчужденность этой категории от категории личности породила неудовлетворенность ролевым редукционизмом, игнорированием личностного начала человеческой активности. В плане категориального становления психологии назревала потребность расчленить коммуникативное (ролевое, психосоциальное) и личностное. Под давлением идеалистической методологии эта потребность, как мы сейчас увидим, получила выражение в направлениях, отвергнувших саму возможность научно-причинного объяснения человеческой личности.

Любое социальное действие человека предполагает его умение ориентироваться в индивидуальнo-личностных различиях между окружающими. Вопросы, касающиеся этих различий, повседневно решаются людьми в практике общения. Переход от житейских-интуитивных решений к научным был связан с вычленением из экспериментальной психологии (которая занималась общими для всех людей законами и свойствами) особого направления — дифференциальной психологии, главная задача которой формулировалась как эмпирическое и количественное исследование того, каким образом варьируют эти общие свойства в психической организации различных индивидов.

Но что же является связующим началом самой этой организации? Ведь человек не конгломерат разрозненных признаков, не мозаика неравномерно распределенных по отдельным индивидам психических элементов. И в практике общения люди усматривают в этой мозаике более или менее целостный образ, который позволяет отличать одного субъекта от другого со стороны не только его внешней, но и внутренней физиономии.

В поисках оснований такой целостности В. Штерн (1871—1938) предложил идею персонологического подхода.

Психология, с его точки зрения, должна базироваться на персонологии — особой дисциплине, предметом которой служит персона как «живая, индивидуальная, уникальная (eigenartige) целостность, стремящаяся к цели, открытая по отношению к миру». Персонология охватывает не толь-

ко психологический аспект поведения. Она — основа всех наук о человеке — биологии, физиологии, медицины. Персоне, по Штерну, свойственна психофизическая «нейтральность». Это означает, что психическое и органическое в ней должны трактоваться не как разные сущности, а как различные стороны или проявления одного в то же время. Вводя идею «нейтральности», Штерн рассчитывал разрубить гордиев узел психофизического дуализма, присущего учениям о личности, которые, сперва разъяв в человеке физическое (тело) и психическое (способности, характер и т. д.), затем пытаются соотнести их в формулах различных теорий.

Решение, к которому пришел Штерн, было, однако, мнимым. Изучение корреляций между индивидуально-вариативными психическими и физиологическими признаками человека не могло быть заменено простой прокламацией того, что за этими различиями скрыта нейтральная по отношению к ним сущность (персона). Однако в перспективе категориального развития психологии теоретическая декларация Штерна выражала получившую идеалистическое осмысление потребность в разработке категории личности. Выводы психологического понимания личности из более широкого — персологического, Штерн в метафизической и идеалистической форме, по существу, высказал идею о том, что личностно-психологическое раскрывается лишь в контексте целостного учения о человеке. Утверждая, что личность неповторима, открыта по отношению к миру, он в идеалистической форме ставил вопрос не только о различиях между людьми по таким (взятым порознь или в различных сочетаниях) параметрам, как быстрота реакции, эмоциональность, объем внимания, память, конкретность мысли и т. д., но и о различиях, обусловленных целостностью личности как особой системы, не сводимой к своим компонентам. Ставился также вопрос о способности этой системы активно воздействовать на внешний процесс, а не только испытывать влияния внешних или внутренних стимулов.

Мы уже отмечали, что научное мышление только там успешно осваивало психическую реальность, где ему удалось преодолеть презумпцию ее «бесподобности», несопоставимости ни с одним из порядков других явлений бытия, но — преодолеть с антиредукционистских позиций. Мы, в частности, видели на примере становления катего-

рии психосоциального отношения, как научной мысли приходилось преодолевать не только биологический (ср. учение Мак-Дауголла об инстинктах), но и социологический (ср. учение Дюркгейма о «коллективных представлениях») редукционизм. Психосоциальное отношение (выраженное в феноменах общения, индивидуального стиля ролевого поведения и др.) оказалось столь же реальной детерминантой системы отношений между человеком и миром, как образ, действие, мотив.

В ходе исследования индивидуальных различий все ливственнее выступала значимость еще одной детерминанты, несводимость которой к другим создавала потребность в категориальной «перецентрировке» психологического познания. В условиях господства идеалистической методологии эта потребность не могла быть реализована, о чем и свидетельствует персологизм Штерна. Его понятие о «персоне» было крайне аморфным, рыхлым и не приобрело серьезного объяснительного значения, несмотря на многолетние усилия Штерна воздвигнуть на его основе систему общей психологии¹. Вместе с тем в русле развития идеалистических учений о личности персологизм Штерна может рассматриваться как один из источников и провозвестников идей, которые в современную эпоху консолидировались на Западе в психологических направлениях, известных под именами «персологическое», «гуманистическое», «феноменологическое», «экзистенциальное» и др. Другим провозвестником послужило учение о личности У. Джемса (1824—1910). Если у Штерна личность трактуется как «тотальная индивидуальность», то Джемс, отнеся к ней «все, что человек считает своим», выделяет четыре формы «Я» (Self): материальное «Я» («мое тело, одежда, имущество и т. д.»), социальное «Я» («все, что относится к притязаниям на престиж, дружбу, положительную оценку со стороны других»), духовное «Я» («процессы сознания, психические способности») и, наконец, чистое «Я» или чувство личной идентичности, основой которого служат органические (висцеральные и мышечные) ощущения².

Отказавшись от тотальной модели личности и заменив ее дифференцированной (в которой личностное начало

¹ W. Stern. Allgemeine Psychologie auf personalistischen Grundlage. Hamburg, 1935.

² W. James. Principles of Psychology, vol. I. N. Y., 1890.

оказывалось выстроенным из нескольких систем отношений между «Я» и теми ценностями, к которым оно устремлено), Джемс сделал шаг вперед от чисто гносеологического понимания «Я» в качестве «голого» субъекта познавательной активности к его системно-психологической трактовке, к поуровневому анализу этого сложнейшего образования. Понятие о социальном «Я» (которому Джемс отвел в намеченной им иерархии среднюю позицию между «Я» материальным и «Я» духовным) указывало на включенность индивида в сеть межличностных отношений. Эта форма «Я» определяется, по Джемсу, реакциями других лиц на мою персону, их признанием меня в качестве отличного от других. И так как их реакции могут существенно различаться, то выходило, что каждый человек обладает множеством социальных «Я». Вместе с тем, поскольку индивиды, в мозгу которых запечатлевается мой образ, живут не сами по себе, а в качестве членов определенных социальных групп, все мои социальные «Я» распадается на ряды соответственно числу групп, мнением которых я дорожу и в глазах которых стремлюсь утвердиться.

Эта концепция Джемса оказала существенное влияние на американскую социологию и социальную психологию. В частности, под влиянием Джемса социолог Чарльз Кули выдвинул понятие об отраженном или зеркальном «Я», подразумевая тот образ нашего «Я», который складывается в сознании другого и в который мы как бы «смотримся», соотнося его с нашим собственным представлением о себе¹.

Далее, в джемсовой идее о том, что социальное «Я» человека определяется мнением тех групп, которые для него не безразличны, содержалось зерно будущего понятия о референтной группе — социальном объединении, с установками и суждениями которого соотносятся (позитивно или негативно) ценностные ориентации индивида².

Выделяя социальное «измерение» личности, Джемс столкнулся с тем же вопросом, который, как мы видели, оказался тупиковым для Мида, а именно с вопросом о том, как связаны психосоциальное и личностное в человеческом поведении. Оба американских психолога исходили из праг-

матистской философии с ее идеалистическим воззрением на социальный процесс. Различия между ними в плане психологической ориентации касались оттенков, а не принципа. Для Джемса социальное «Я» определялось социальным восприятием (мое представление о самом себе зависит от информированности о тех впечатлениях, т. е. умственных образах, которые сложились обо мне у других) для Мида — социальным поведением (я играю одну роль за другой и благодаря этому научаюсь смотреть на себя глазами других).

Человек, действительно, познает себя и познается другими в общении с людьми. Но, во-первых, общение укоренено в образе жизни людей, в их деятельности, и поэтому неверно думать, что оно образует некую замкнутую на себя форму, источник движения которой скрыт в ней самой. Во-вторых, включенность индивида в разнообразные системы «коммуникативных сетей» не означает его расщепленности на множество «Я» по числу этих систем.

Джемс опустил всю сложность проблемы, для продвижения в которой его методологические средства были явно непригодны. Ведь человек не только фиксатор производимых им на окружающих впечатлений и не только исполнитель предназначенных для него социальной матрицей ролей. Он притязает на то, чтобы утвердить себя и реализовать среди других в качестве отличной от них личности. Он не только иерархия нескольких «Я» (как представлялось Джемсу), каждое из которых состоит из объектов и ценностей, принимаемых за «свои»¹, но и активное существо, устремленное к расширению круга этих объектов, т. е. обогащению собственной личности. В его стремлении к успеху важную роль играет не только его «зеркальный образ», но и его самооценка. Все эти вопросы: сложность строения личности при сохранении ею идентичности, ограничение во внешнем и внутреннем мире «своего» от «не своего», соотношение в личности актуального и потен-

¹ Следуя Джемсу, Г. Олпорт ввел в качестве нейтрального, не отягченного традиционными ассоциациями, термин «проприум» (от латинского proprium — характерный, специфический, собственный) для обозначения тех ценностей и убеждений человека, которые конституируют ядро его личности, в отличие от других, не входящих в «проприум» ценностей и объектов, составляющих периферию психической жизни индивида. (G. Allport. *Becoming-Basic Considerations for a Psychology of Personality*. New Haven, 1955).

¹ С. Н. Cooley. *Human nature and the social order*. Glencoe, 1956.
² Термин «референтная группа» был предложен американским психологом Хвманом (Н. Н. Human. *The Psychology of status*. «Archiv of Psychology», № 269), а понятие о ней развито в работах Т. Ньюкомба, Р. Мертона, Г. Келли и др.

циального, воздействие самооценки на регуляцию поведения, — указывали на то, что здесь перед исследователем природы человека открывается новый «материк», научное освоение которого требует более сильной «разрешающей способности» категориального аппарата психологического мышления.

Логика познания побуждала расчленивать (и соотносить) психосоциальное и личностное. Но классово-идеологический характер учения Джемса и его последователей препятствовал позитивному решению этой задачи. Расчленение двух категорий свелось к их противопоставлению, и в итоге личностное было выведено за пределы научного анализа в сферу религиозных медитаций.

Обсуждая важнейший в теории личности вопрос о самооценке, о факторах, определяющих чувство собственного достоинства, удовлетворенность или неудовлетворенность человека жизнью, Джемс предложил ставшую популярной формулу: Самоуважение = $\frac{\text{успех}}{\text{притязания}}$. Что означа-

ла эта дробь? Степень самоуважения ставилась в зависимость от возрастания числителя либо от уменьшения знаменателя — уровня притязаний. Иначе говоря, предполагалось, что оценка личностью самой себя будет возрастать как при действительном успехе, так и при отказе от стремлений к нему. Джемс отдавал предпочтение второму пути: «Всякое расширение нашего «Я» составляет лишнее бремя и лишние притязания»¹.

Этот вывод звучал парадоксально в сопоставлении с прагматическими установками Джемса, с его исходным стремлением утвердить культ действия и личного успеха. Однако за внешней парадоксальностью здесь имелась определенная логика. Если успех понимать чисто формально — только как стремление оказаться впереди других, быть «номером один» среди окружающих безотносительно к содержанию достигаемых целей, — то ни о каком обогащении личности, ее «расширении» путем практических действий в реальных социальных ситуациях и речи быть не может. Джемс понимал успех именно формально, точнее, его сознание фиксировало общепринятое понимание успеха. И Джемс делает совершенно логичный вывод о бессмысленности расширения эмпирического социального

¹ У. Джемс. Психология. Пг., 1922, стр. 139.

«Я»¹, перенося источник подлинных ценностей личности в область религии². Эмпирическому социальному «Я» он противопоставляет «особое потенциальное социальное «Я», которое реализует себя лишь «в социуме мира идеального»³, в общении со Всевышним, с Абсолютным Разумом. «Этот вид личности и есть окончательный, наиболее устойчивый, истинный и интимный предмет моих стремлений»⁴. Речь идет, таким образом, о некоем особом социальном «Я», отличном от эмпирического социального «Я» с его референтными группами, уровнем притязаний, мотивом достижения успеха и т. д. Но очевидно, что отнести это особое «Я» к разряду социальных можно только номинально, поскольку оно проявляет себя, по терминологии Джемса, «в социуме мира идеального», т. е. в сфере, лежащей за пределами действительных общественных отношений.

Для теорий, сложившихся в условиях классового антагонизма, истинно личностное в индивидуе проявляется лишь тогда, когда преодолевается тяготение «социального поля». В действительности же, с точки зрения Маркса, только в обществе и в практической деятельности по его преобразованию личностное начало человеческого бытия может получить высшее выражение.

Расщепление психосоциального и личностного и, в результате, искаженное представление как об одном, так и о другом препятствовали продуктивной разработке этих категорий. В своем анализе психосоциального уровня деятельности индивида Джемс выдвинул ряд положений, коррелировавших с ее реальными, доступными эмпирическому исследованию, особенностями. Здесь он предвосхитил

¹ Близкую к джемсовской трактовку социального действия как, в сущности, бессмысленного по своему объективному результату, в дальнейшем отстаивал экзистенциализм. «Энциклопедия Британика» отмечает, что если для марксиста образцом мужества служат Прометей, то для экзистенциалиста — Сизиф («Encyclopedia Britannica», 1964, p. 967).

² Прямая связь прагматизма с религией подчеркнута В. И. Лениным. Отмечая реакционность прагматизма, который «превозносит опыт и только опыт... и... преблагословенно выводит изо всего этого бога в целях практических, только для практики, без всякой метафизики, без всякого выхода за пределы опыта», Ленин цитирует Джемса как типичного представителя прагматизма (см. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 363).

³ У. Джемс. Психология, стр. 143.

⁴ Там же.

вошедшие в современную психологию понятия об уровне притязаний, мотиве достижения успеха, самооценке и ее динамике, референтной группе и др. Что же касается личностного уровня, то здесь его мысль поглощал мистический туман, закрывавший горизонты научно-психологического познания.

Вместе с тем стремление Джемса трактовать личность как духовную тотальность, создающую себя «из ничего», оказалось в дальнейшем созвучным умонастроениям приверженцев экзистенциализма. «Именно Джемс был тот, кого мы сегодня должны назвать экзистенциалистом», — утверждает один из американских авторов¹. По мнению Р. Мэй, Джемс предвосхитил сформулированное Ж.-П. Сартром кредо экзистенциализма: «существование (экзистенция) предшествует сущности (эссенции)».

Сартр (как и М. Хайдеггер, К. Ясперс и другие лидеры экзистенциализма) выступил в существенно иных, нежели Джемс, общественно-исторических условиях. Это был период между двумя мировыми войнами, когда значительная часть интеллигенции в капиталистических странах переживала духовный кризис, утратив перед лицом эскалации милитаризма и фашизма веру в исторический прогресс и в человеческий разум. Личность, каковой она дава в формах естественнонаучного и социального познания, истолковывалась как ирреальная проекция подлинного (экзистенциального) «Я», провизанного ощущениями тревожности, «заброшенности», трагизма и бессмысленности существования. Подобный взгляд на человека и получил впоследствии резонанс в психологических кругах, где его сторонники образовали направление, выступившее под именем экзистенциальной или «гуманистической» психологии и объявившее себя «третьим путем» по отношению к бихевиоризму и фрейдизму.

Центром направления стали Соединенные Штаты Америки, а лидирующими фигурами — К. Роджерс, Р. Мэй, А. Маслоу, Г. Олпорт. «Американская психология, — отмечал Г. Олпорт, — имеет мало собственных оригинальных теорий. Но она сослужила большую службу тем, что способствовала распространению и уточнению тех научных вкладов, которые были сделаны Павловым, Бине, Фрейдом, Роршахом и др. Теперь, я предсказываю, мы можем

сослужить аналогичную службу в отношении Хайдеггера, Ясперса и Бинсвангера»¹.

К. Роджерс, Г. Олпорт, А. Маслоу и др. выдвинули свои тезисы в 50-х—60-х годах нашего столетия, т. е. в иных условиях, чем их философские учителя. Научно-техническая революция, усиливая в небывалых масштабах власть людей над природой, в условиях общего кризиса капиталистической системы влечет за собой отрицательные последствия не только в отношении внешней среды, но и внутреннего, психического мира индивида. Дегуманизация личности в капиталистическом обществе ложно интерпретируется в том смысле, будто ответственность за это лежит не на его классовой природе, а на науке, в частности на научном (объективном, экспериментальном) познании человека. Наука и базирующаяся на ней техника ассоциируются с опасностью глобальной войны, истреблением окружающей среды, с разрушением физического и психического здоровья. Это дает повод для негативного отношения к науке вообще (т. е. антисциентистское движение). Ряд философов, психологов и психиатров на Западе обрушивается на «бихевиориальные» (поведенческие) науки, усматривая в их выводах главную угрозу и препятствие на пути реализации личностью своих потенциалов. В этой атмосфере и складывается экзистенциальная психология, которая провозглашает поход за человека как целостную, уникальную личность во всей полноте ее внутреннего опыта, в ее «открытости» миру и непрерывной самоактуализации. Подчеркивается, что все позвоночные меньше отличаются друг от друга, чем одно человеческое существо от другого.

Влияние экзистенциалистской философии на новое направление не означает, что оно явилось лишь ее психологическим дубликатом. В качестве конкретно-научной дисциплины психология решает собственные теоретические и практические задачи, в контексте которых и следует рассматривать обстоятельства зарождения новой психологической школы.

Каждое новое направление в науке определяет свою программу через ее противопоставление установкам уже утвердившихся школ. В данном случае, экзистенциальная психология усматривала неполноценность других психоло-

¹ In: «Existential Psychology». Ed. by R. May. N. Y. 1969, p. 5.

¹ In: «Existential Psychology». Ed. by R. May, p. 94.

гических направлений в том, что они избегают конфронтации с действительностью в том виде, как ее переживает человек, что они игнорируют такие конституирующие признаки личности, как ее целостность, единство, неповторимость. В результате картина личности предстает фрагментарной и конструируется либо в виде «системы реакций» (Скиннер), либо как набор «измерений» (Гилфорд), особых агентов типа *ид*, *эго* и *супер-эго* (Фрейд), ролевых стереотипов (Ньюкомб) и т. д. Кроме того, личность лишается своей важнейшей характеристики — свободы воли — и выступает только как нечто определяемое извне: раздражителями, силами «поля», бессознательными влечениями, ролевыми предписаниями. Ее собственные стремления сводятся к попыткам разрядить (редуцировать) внутреннее напряжение, достичь «уравновешенности» со средой; ее сознание и самосознание либо полностью игнорируются, либо рассматриваются как звукомаскировка «грохотов бессознательного».

Экзистенциальная психология выступила с призывом понять человеческое существование во всей его непосредственности на уровне, лежащем «ниже» той пропасти между субъектом и объектом, которая якобы была создана философией и наукой нового времени. В результате, утверждают психологи-экзистенциалисты, по одну сторону этой пропасти оказался субъект, сведенный к «рацио», к способности оперировать абстрактными понятиями, по другую — объект, данный в этих понятиях. Исчез и человек во всей полноте его существования, исчез и мир, каким он дан в переживаниях человека. С воззрениями «бихевиориальных» наук на личность как на объект, не отличающийся ни по природе, ни по познаваемости от других объектов мира вещей, животных, механизмов, — коррелирует и психологическая «технология»: разного рода манипуляции, касающиеся обучения и устранения аномалий в поведении (психотерапия). Среди энтузиастов экзистенциальной психологии большинство составляли именно психотерапевты. В практике работы с людьми им приходилось ориентироваться на некоторые наличные общепредставления о природе психической жизни и причинах ее патологии, выбирая в основном между бихевиористскими и фрейдистскими интерпретациями. У бихевиористов, как мы уже знаем, эти причины сводились к образованию связей (путем подкрепления) между раздра-

жителями и двигательными ответами, у фрейдистов — к особенностям психосексуального развития. Но ведь на практике психотерапевт имеет дело с самобытной личностью, способной выбирать ценности и реализовывать свой «жизненный план», а не с ее двигательными реакциями или сексуальными влечениями как таковыми. И эта практика заставляла искать новые пути решения проблемы личности. Экзистенциальная психология выступила в качестве одного из таких путей.

В своей критике экзистенциальная школа обнажает действительную слабость главных психологических течений капиталистического Запада и, прежде всего, бихевиоризма (который трактует человека либо как «большую белую крысу», либо как «маленький компьютер») и фрейдизма (поставившего сознательное человеческое «Я» в рабскую зависимость от безличного, безымянного «Оно»). В конструктивном отношении моделям «расщепленного», «фрагментарного» человека экзистенциальная психология противопоставляет идею нерасчлененной личности, ее «Я» (Self), ее «самости». Само по себе постулирование ценности «персоны» не расширяет возможности научно-психологического объяснения — необходимо, чтобы постулат был превращен в проблему. Человек рождается на свет как целостный организм, личностью он становится под действием факторов, которые требуют специального научно-психологического анализа. Это же следует сказать и об активности личности, не идентичной общей активности организма, ибо в ней представлен новый уровень детерминации жизнедеятельности, рационально постигаемый исходя из общественно-исторической практики. Между тем, согласно экзистенциальной психологии, грань между человеческим миром и миром животным кладет не реальная система отношений людей с действительностью, а интенция сознания, неисполнимая потребность личности в самоактуализации, в самосоздании своего «феноменального мира». Главная установка, по словам наиболее крупного представителя экзистенциальной психологии, Карла Роджерса, должна состоять в «непрерывном фокусировании на феноменальном мире». Понятие о «феноменальном мире» игнорировали бихевиористы, которым оно казалось ненаучным, мешающим строго-причинному объяснению поведенческих актов и управлению ими. Напротив, сторонники Роджерса доказывают, что без него нельзя описать

объективно наблюдаемое поведение, подобно тому как реакции дальтовика необъяснимы, если не соотнести их с особенностями его цветоравличения.

Идея «феноменального мира» не была новинкой в психологии, хотя различные школы и привносили в это понятие специфический категориальный смысл. Структуралисты считали, что в «феноменальном мире» индивиду открываются ощущения и их сочетания, гештальтисты — целостные образы в их динамике, фрейдисты — иллюзии, возникающие в угоду бессознательному. Во всех случаях за термином «феноменальный мир» стояла категория образа. В экзистенциальной психологии этот термин приобрел иное категориальное содержание: он указывал на категорию личности. Утверждалось, что при интенции на своем «феноменальном мире» индивид открывает «Я» как целостность, силу переживаний которой он стремится поддерживать и увеличивать. На этом основании Роджерс и построил свою психотерапевтическую концепцию, которая была названа «терапия, центрированная на клиенте». Психотерапевт бессилен изменить поведение невротика, тренируя его на манер того, как Скиннер учил голубей играть в пинг-понг. Равным образом фрейдистская процедура освобождения субъекта от гнета снов, разрывающих «бедное эго», бьет мимо цели. По Роджерсу, подлинный успех ждет психотерапию на пути активизации конструктивного начала человеческого «Я», когда в человеке, обратившемся за помощью к психиатру, видят не пациента (больного), не объект терапевтических манипуляций, а «клиента», который сам берет на себя ответственность за решение собственных жизненных проблем, вместо того чтобы перелagать это на психотерапевта, выполняющего лишь консультативные функции¹. Американский психолог Первин отмечает, что идеи Роджерса приобрели большую популярность среди учителей, духовенства, бизнесменов и всех тех, кто по характеру своей деятельности непосредственно связан с людьми и с необходимостью воздействовать на их поведение. Преимущество этих идей усматри-

¹ Чтобы успешно помочь клиенту, психотерапевт, по Роджерсу, должен выработать по отношению к нему «безусловное положительное отношение» (unconditional positive regard). Только в теплой эмоциональной атмосфере он сможет понять, как его пациент переживает и организует свой мир; с другой стороны, лишь в такой атмосфере клиенту легче интегрировать собственную личность.

вается в следующем: предполагается, что эффективное воздействие на поведение индивида возможно лишь с учетом, во-первых, его собственной точки зрения на мир (а не только внешне наблюдаемых реакций); во-вторых, его отрeфлектированных личностных переживаний (а не бессознательных, внешних по отношению к личности, влечений); в-третьих, конструктивных, творческих начал в его поведении (а не просто желания избавиться от напряжения).

В плане категориального развития психологического познания экзистенциальное направление обнажило трудности, связанные с разработкой категории личности, с ее консолидацией в структуре этого познания в особую форму отражения «личности» психического, — форму, отличную от других категорий (мотива, психосоциального отношения, действия и др.) и, вместе с тем, внутренне связанную с ними. Однако под предлогом борьбы с «дегуманизацией», «деперсонализацией» психики экзистенциальное направление отвергает ее причинное и объективное исследование вообще. Личность, ее творческая «экзистенция», с одной стороны, и плод вековых усилий множества творческих личностей — научная картина мира и человека, — с другой, противопоставляются как две враждебные силы. Прокламируя их несовместимость, экзистенциальная психология в трактовке человека и методов его познания и самопознания неотвратимо приходит к иррационализму. Обрывается связь со всей могучей традицией причинного изучения человека, которой психология обязана своими лучшими достижениями. Утверждается связь с другой традицией — религиозной.

В рамках экзистенциальной психологии существует мнение, что в сердцевины личности можно проникнуть лишь посредством особой установки, которая несвойственна «западному уму» (ориентированному на внешние, материальные, преходящие ценности) и которая издавна культивировалась на Востоке, в частности древнеиндийской философией и дзэн-буддизмом. Подразумевается трансцендентная направленность восточной философии, которая учит освобождению от всех желаний и привязанностей, ориентируя человека на познание абсолюта и интенсивный поиск смысла существования. Ряд концепций экзистенциальной школы возник под непосредственным влиянием этих идей, которые были переведены на язык психологии. Такова, например, концепция «экзистенци-

МАРКСИЗМ И РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

альной психотерапии», разработанная В. Франклом, которого считают основателем третьей венской (после Фрейда и Адлера) школы психоанализа. Франкл исходит из предположения, что коренной потребностью человека является «воля к смыслу» — стремление раскрыть смысл своего существования. Если эта потребность не удовлетворяется, то, согласно Франклу, возникает невроз, характеризующийся «бегством от свободы и ответственности». Задача психотерапевта в соответствии с этим — помочь пациенту восстановить свободу и ответственность, реализовать духовные потенции с помощью экзистенциальной ориентации.

К дзэн-буддизму апеллирует в своей книге «Психология науки» (1966) и А. Маслоу, который рассматривает творчество ученого как трансцендентный акт.

Появление экзистенциального направления — один из симптомов серьезного методологического кризиса в исследованиях личности в капиталистических странах. Претендуя на разработку учения о целостной личности, не сводимой к различным «Я», к фрагментам психофизиологических корреляций и т. д., экзистенциальная психология мистифицировала эту целостность, трактуя личность как глобальную иррациональную сущность.

Выход из методологического тупика намечился на рубежах, утвержденных марксистской философией, принципы которой придали совершенно новую направленность исследованиям человека и его психической деятельности.

Мы неоднократно имели возможность убедиться, что развитие психологического знания связано множеством неразрывных, хотя зачастую и незримых нитей с эволюцией философских идей.

Изучение психологии познания, деятельности, личности всегда находилось в прямой зависимости от философских решений. Это верно применительно ко всей истории психологических идей — как для длительного периода, когда психология трактовалась в качестве одной из философских дисциплин наряду с онтологией, гносеологией, логикой и др., так и для XX столетия, когда она окончательно укрепилась в качестве независимой от философии дисциплины. Ее независимость отнюдь не означала (вопреки иллюзиям тех, кто, подобно Уотсону, Скиннеру и многим другим, предполагал, будто точное знание о психике достижимо лишь путем эмансипации от любых теорий) разрыв с философской традицией. Без методологического стержня невозможно никакое научное исследование. Как и все другие области знания, психология имеет собственные конкретно-научные, нефилософские теории. В определенных аналитических целях можно рассматривать эти теории безотносительно к их философскому контексту. Но в фактической истории научного познания они вне этого контекста не могут ни возникнуть, ни развиваться.

Мы уже знаем из обзора основных психологических направлений этого столетия, насколько сильным являлось влияние позитивистской философии на функционализм, бихевиоризм, гештальтизм, к каким тупикам и контрверзам эта философия приводила.

Но нельзя расстаться с одной философией, не имея опоры в другой. Идеалистической философии в современную эпоху противостоят могучий противник — философия марксизма. Возникнув в прошлом веке как мировоззрение революционного рабочего класса, она производила, по мере того как нарастал кризис господствующей социально-экономической системы, все более глубокое воздействие на умы, на идеологическую атмосферу, на политическую борьбу и ход истории.

Прежний материализм исходил из природы как таковой, объясняя ее явления со времен Гоббса и Спинозы в категориях механического движения. Организм человека, включая психические функции, считался также подчиненным принципам этого же движения.

Представление о том, что нет другого источника ощущений, мыслей, двигательных актов, кроме внешних толчков, испытываемых человеческим телом при его неисчислимых столкновениях с другими телами природы, было привлекательно для естественнонаучного ума тем, что включало духовные явления во всеобщую взаимосвязь материальных процессов. На этом представлении базировались, как мы знаем, две главные теории, строго причинно объяснявшие поведение человека: ассоциативная и рефлексорная. Теории, о которых идет речь, воплощали первоначально принцип детерминизма в его механическом выражении. Затем в середине прошлого века эти теории трансформируются под влиянием успехов эволюционной биологии. Организм выступил теперь не в виде механического устройства с жесткой конструкцией и программой, а как гибкая адаптивная система, непрерывно варьирующая свое поведение соответственно собственным потребностям и запросам внешней среды. На смену механическому детерминизму пришел биологический. Взаимодействие организма с миром мыслилось выходящим на иных началах, чем законы механики. Но и теперь человек рассматривался только как продукт природы. Соответственно и в его психических функциях не видели иного основания, кроме биологического. Поведенческие акты и животных, и человека отождествлялись, подводились под одни и те же законы.

Учение Маркса озаменовало качественно новый этап. Оно открыло особый, специфически человеческий план детерминации психических процессов. В нем вместо чело-

века, хотя и интерпретированного предшествующим материализмом как реальное земное существо, однако отнесенного только к миру механики и биологии и потому неизбежно абстрактного, выступил человек общественный — продукт и субъект истории.

Чтобы совершились эти сдвиги в концепции человека, недостаточно было свитезировать рациональные элементы материалистического антропологизма Фейербаха и идеалистического историзма Гегеля. Требовался принципиально новый способ исследования общества и сознания.

Уже в 1843 г. Маркс пишет, что его не удовлетворяют афоризмы Фейербаха, так как «он (Фейербах. — *Ред.*) слишком много напирает на природу и слишком мало — на политику. Между тем, это — единственный союз, благодаря которому теперешняя философия может стать истинной»¹. Теперь Маркс, по словам В. И. Ленина, «выступает уже как революционер, провозглашающий «беспощадную критику всего существующего» и в частности «критику оружия», апеллирующий к массам и к пролетариату»².

Гегелевское отождествление бытия и мышления, сводившее на нет революционный смысл диалектики, подменявшее реальное отрицание существующего диалектикой в сфере чистой мысли, отвергается не с точки зрения абстрактного фейербаховского антропологизма, а с позиций классовой борьбы пролетариата.

Классовый подход, выраженный в марксистском воззрении на человека, обусловил в философском плане новое понимание активности психики, притом активности не только внешней, но и внутренней — познавательной. Активная сторона познания не могла быть осмыслена предшествующим материализмом из-за ограниченности его детерминистических схем. Если трактовать человека только как объект, только как тело, взаимодействующее с другими телами природы, то познавательное отношение к миру неизбежно выступит в форме созерцания тех впечатлений, которые одно тело испытывает при воздействии на него другого.

«Главный недостаток всего предшествующего материализма — включая и фейербаховский, — указывал Маркс в «Тезисах о Фейербахе», — заключается в том, что предмет,

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 257.

² В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 26, стр. 47—48.

действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика...»¹ Созерцательный подход, как мы видели, неотвратимо следовал из механической концепции детерминизма. Несовместимая с этой концепцией активность человека была гипостазирована идеализмом в самостоятельную духовную силу. Поскольку же физическому миру подобные силы несвойственны, а в каких других детерминистических понятиях, кроме описывающих процессы механического порядка, не существовало, психическая активность (как и активность живого вообще) витала по ту сторону причинного объяснения.

Острое выражение получил конфликт между механическим детерминизмом и принципом активности субъекта в философии Канта. У него вещи воздействуют извне на воспринимающий субъект (здесь принцип причинности строго выдерживался), но все знание о вещах, начиная от их пространственно-временных параметров, конструируется самим субъектом.

В век господства механического детерминизма философия Канта тяготела над экспериментальным изучением работы органов чувств. Продукты этих органов — ощущения — рассматривались как результат внешних воздействий. Здесь еще мысль естествоиспытателя опиралась на принцип причинности: внутреннее производится внешним. Но за пределами этого уровня, там, где выступает организованная активность субъекта, где знание о мире приобретает упорядоченный, осмысленный характер, почва детерминизма уходила из-под ног.

Ситуация менялась, когда на смену механическому детерминизму пришел биологический. Поскольку организм представлялся теперь изначально активным (и для этого дарвинизм нашел естественные основания), психическая активность могла быть понята в качестве укорененной в своеобразной детерминации живого. Как мы уже отмечали, именно под впечатлением успехов биологии сложились прагматистская версия об активности человеческого поведения, ставшая идейной подоплекой функционализма, бихевиоризма и ряда других психологических школ. История этих школ, их внутренняя методологическая слабость и распад могут рассматриваться как одно из неоспоримых

свидетельств неспособности прагматизма служить опорой позитивного, научного объяснения реальной активности человека, характерной как для внешнего, так и для внутреннего аспектов его поведения.

Прагматизм пытался интерпретировать предмет не только в форме созерцания, но и в форме чувственной деятельности. Однако исходным для этой концепции являлось отождествление практики с индивидуальным приспособлением организма, а жизненной активности человека — с решением сугубо утилитарных задач. Это неотвратимо отбрасывало к идеалистическим представлениям о том, что конструктором познаваемого объекта является субъект. От того, что последний «материализовался» из бестелесной мысли в систему телесных действий, субъективное начало не лишалось приоритета.

Марксизм выработал строго материалистический подход, позволивший понять предмет не в форме объекта созерцания, а в форме человеческой чувственной деятельности — практики. В плане логики перехода к новым уровням детерминистического объяснения это означало скачок от биологического детерминизма к историческому.

Активность сознания приобрела историческую направленность у Гегеля. Но историческая необходимость, выступая как движение «чистой» идеи, утратила свою реальную основу. Детерминистическое понимание истории, открытие действительных законов общественного развития принадлежали Марксу. Одной из предпосылок такого понимания являлось преодоление натуралистической трактовки человека. Движение мысли Маркса в этом направлении запечатлели его незаконченные «Экономические-философские рукописи 1844 года». Они наметили новые вехи в развитии представлений о детерминации психической деятельности человека.

Маркс взял в качестве исходного пункта, подобно предшествующему материализму, реальный, а не идеальный мир и реального индивида, а не чистое сознание, но взаимодействие между ними было раскрыто принципиально иначе, а именно как предметная деятельность, преобразующая и внешнюю природу, и самого автора деятельности — человека.

Таким образом, впервые в истории материалистической мысли было выдвинуто учение о том, что сознание — продукт опосредствованного (а не непосредственного) взаимо-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 1.

действия человека с природой. Опосредствующим же фактором является общественно-историческая практика, процесс производства. Область психического выступала теперь не как совокупность феноменов сознания, а как совокупность человеческих сущностных сил, развиваемых и воплощаемых в предметной деятельности.

Преобразующее воздействие предметной, т. е. исторической, а не органической деятельности, захватывает не только высший познавательный уровень отношения к миру, но и самые коренные чувственные основы существования индивида.

Богатство чувств не присуще людям изначально, от природы. Для него необходимо опредмечивание человеческой сущности. Только «благодаря предметно развернутому богатству человеческого существа развивается, а частью и впервые порождается, богатство субъективной человеческой чувственности: музыкальное ухо, чувствующий красоту формы глаз, — короче говоря, такие чувства, которые... утверждают себя как человеческие сущностные силы... *Образование* пяти внешних чувств — это работа всей до сих пор протекшей всемирной истории»¹.

Из этого положения следовало, что историчны по своей природе не только мысли, но и ощущения, а их развитие у человека обусловлено не только тенденциями биологической эволюции, но и закономерностями культурно-исторического порядка. Тем самым формирование психики отдельного индивида ставилось, начиная от ее сенсорных корней, в зависимость от истории общества, истории культуры.

Подчеркивая общественную сущность психической жизни индивида, которая остается таковой даже тогда, когда он не является непосредственным участником общения, Маркс писал: «Но даже и тогда, когда я занимаюсь научной и т. п. деятельностью, — деятельностью, которую и только в редких случаях могу осуществлять в непосредственном общении с другими, — даже и тогда я занят общественной деятельностью, потому что я действую как человек. Мне не только дан, в качестве общественного продукта, материал для моей деятельности — даже и сам язык, на котором работает мыслитель, — по и мое собствен-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 593—594.

ное бытие есть общественная деятельность; а потому и то, что я делаю из моей особы, я делаю из себя для общества, сознавая себя как общественное существо»¹.

В последующих произведениях Маркса — «Немецкой идеологии», «К критике политической экономии», «Капитале» и др. — вывод о единстве труда, познания и общения получает развитие на основе законов исторического материализма. Совместно с Марксом глубокий анализ этого вывода дал Энгельс, применявший его к проблемам антропологии и исторического развития сознания.

Поскольку деятельность выступает в марксистской философии как социально-историческая, а не биологическая категория, постольку она не может оцениваться как идентичная понятию о поведении, сложившемуся под влиянием введения в психологию новых биологических идей.

Исходя из учения о предметной деятельности, марксизм принципиально иначе, чем предшествующие теории, истолковал не только генезис, структуру и динамику познавательных процессов. Он выдвинул новое воззрение на человеческую личность в целом, ее потребности и способности.

Роль потребностей как движущих сил человеческого поведения подчеркивалась материалистической философией со времен Демокрита. Но впервые марксизм раскрыл исторический характер потребностей, диалектику взаимодействия потребностей и производства.

Изменениями в материальной жизни общества был объяснен и процесс формирования способностей из природных задатков. Маркс в «Экономическо-философских рукописях 1844 года» обратил внимание на мысль А. Смита о том, что различие природных дарований у индивидов есть не столько причина, сколько следствие разделения труда. Эта мысль обогатилась в «Нящете философии» и «Капитале» конкретным содержанием. Так, в «Капитале» была показана зависимость развития способностей от специфики трудовых операций в исторически сложившихся формах производства. Тем самым вводился новый фактор, неизвестный прежним психологическим теориям (в том числе материалистическим), которые ограничивались в своем объяснении индивидуальных различий обращением к природным предпосылкам и воздействиям среды.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 590.

Внутренний, психический мир личности выступил как производное от системы ее реальных, действенных, общественных по своей сущности связей с внешним миром.

Сама личность определялась как изначально социальное явление. «...Сущность «особой личности», — подчеркивал Маркс, — составляет не ее борода... не ее абстрактная физическая природа, а ее *социальное качество*»¹.

Обратим внимание на то, что Маркс противопоставляет социальному качеству личности не телесный субстрат ее жизни, а «абстрактную физическую природу».

Диалектический материализм преодолел дуализм духовного и телесного, тяготевший над всеми предшествующими концепциями человека, выдвинув учение о том, что сама человеческая природа социальна. «Человек, — писал Маркс, — является непосредственно *природным существом*. В качестве природного существа, притом живого природного существа, он... наделен *природными силами, жизненными силами*, являясь *деятельным* природным существом»².

Философия марксизма создала основу для переосмысления традиционных представлений об ощущении и волевом акте, влечении и личности. Сам способ объяснения этих явлений становился иным в силу того, что такие стержневые для любых уровней психологического анализа принципы, как принцип детерминизма и принцип развития, обогатились новым содержанием. Социально-историческая детерминация отлична от механической или биологической. Но именно она раскрывает причинные факторы психической деятельности человека. Вместе с тем качественно новое в этой деятельности развивается путем преобразования природных свойств в природно-социальные.

Применительно к психологии социально-историческая детерминация означает развитие тех форм регуляции внешнего и внутреннего поведения, на которые указывает термин «сознание».

Мы уже знаем, что психология становилась самостоятельной наукой по мере того, как опыт открывал своеобразие психических явлений сравнительно с физиологическими, а категории научного мышления это своеобразие запечатлевали.

Вместе с тем сама психическая реальность имеет сложное строение. С переходом к человеку она обретает новую сущность. Категории действия, образа, мотива действительно не только для человеческой психики. Но применительно к ней они наполняются призывами, указывающими на ее особую природу и детерминацию. Эту природу и привычно обозначать термином «сознание».

Понятие о сознании сложилось до марксизма, зафиксировав специфически человеческую способность отражать мир не только в чувственных, но и в умственных (идеальных) образах, постигать посредством этих образов не только внешнюю, но и внутреннюю «среду» — собственную жизнь личности, и активно регулировать на этой основе свое поведение.

Все эти признаки не являются фиктивными. Но для их детерминистического, а стало быть, и научного познания психологическая мысль до марксизма не была подготовлена. Они принимались за первичное, ни из чего не выводимое. Мы видели, что одна из главных линий прогресса психологии состояла в преодолении этого представления. Сложившееся в различных психологических школах понятие об автоматической связи между стимулом и реакцией, о трансформации гештальта, о разрядке энергии влечения — все это были попытки бихевиоризма, гештальтизма, психоанализа искоренить мифологическую трактовку действия, образа, мотивации. Однако, повторяем, категории, о которых идет речь, являются общепсихологическими. Они характеризуют психическую регуляцию поведения всех живых существ, а не только человека. Перед детерминистическим объяснением человеческого сознания указанные концепции были бессильны. Не потому ли они либо вообще отрицали сознание как предмет психологического исследования (бихевиоризм), либо представляли его орудием бессознательного (психоанализ), либо сводили к самоорганизации гештальтов, лишая тем самым всякого значения активность субъекта (гештальтпсихология)? Свообразие психической жизни человека как субъекта практической и теоретической деятельности в этих категориях не могло быть объяснено. Ведь их подоплекой служила либо биологическая (бихевиоризм, фрейдизм), либо квазифизическая (гештальтизм, «теория поля») детерминация.

Нужно было перейти к детерминации социально-исторической. А это, в свою очередь, предполагало новую

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 242.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, стр. 631.